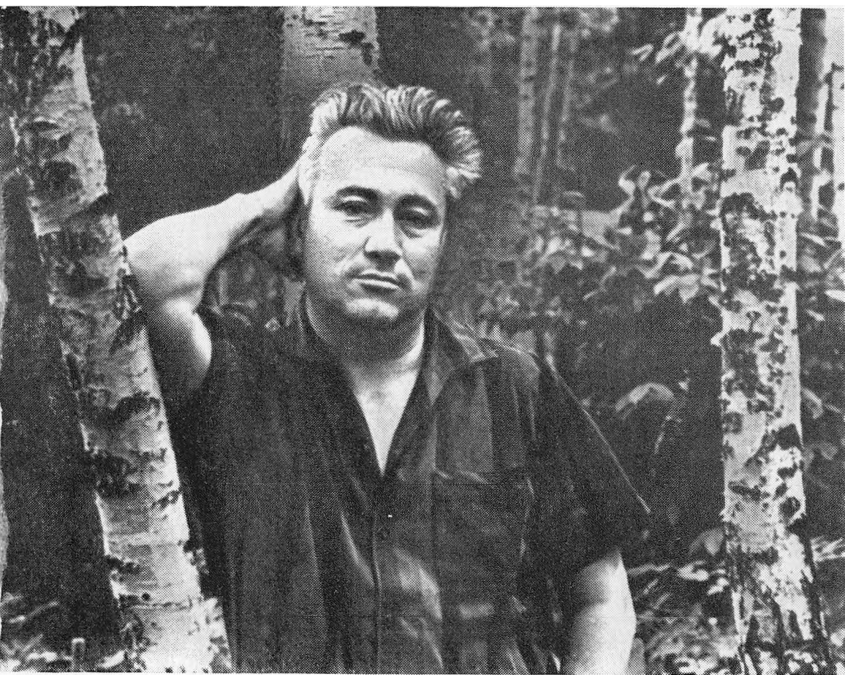


Юрий Нагибин • Не дай ему погибнуть

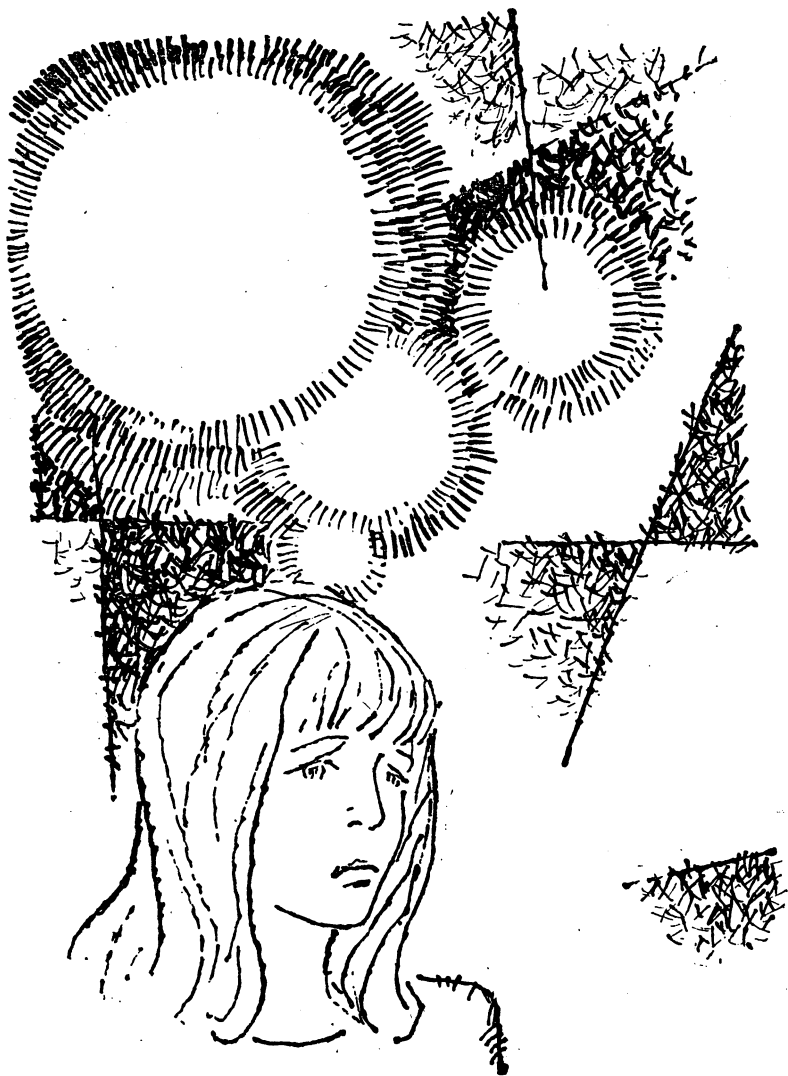
Юрий Нагибин











Ю р и й    Н а г и б и н



Не дай ему погибнуть

Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия»  
1968

P2  
H16

## ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

В 1928 году весь мир был потрясен трагической судьбой итальянского аэронавта Умберто Нобиле и его спутников, потерпевших аварию у берегов Шпицбергена. И так как это не часто случается в человечестве, весь мир стал на вахту спасения, длившуюся полтора месяца. Коротковолновики Европы, Америки и Азии просиживали дни и ночи напролет у своих приемников, обыскивая эфир, тщетно пытаясь поймать позывные гибнущих людей. К Шпицбергену на всех парах, на всех парусах устремились норвежские и шведские суда. Скандинавские, французские, итальянские летчики вылетели на воздушный поиск. Молодое Советское государство снарядило для спасения пленников Ледовитого океана ледоколы «Красин» и «Малыгин», на борту находились полярные асы Бабушкин и Чухновский...

Вместе с другими людьми самозабвенно следил за борьбой смельчаков восьмилетний мальчик, воображавший себя поочередно то фанатичным Амундсеном, то отважным Чухновским, то романтическим Мальмгреном, то суровым Самойловичем. Этим мальчиком, почти исчезнувшим из моей памяти, был я сам.

Я не пифагореец, но следует признать: порой жизнь возвращается на круги своя. Спустя тридцать семь лет мне предложили написать сценарий о спасении экспедиции Нобиле. Конечно, я с радостью и волнением согласился. К тому времени сценарная работа

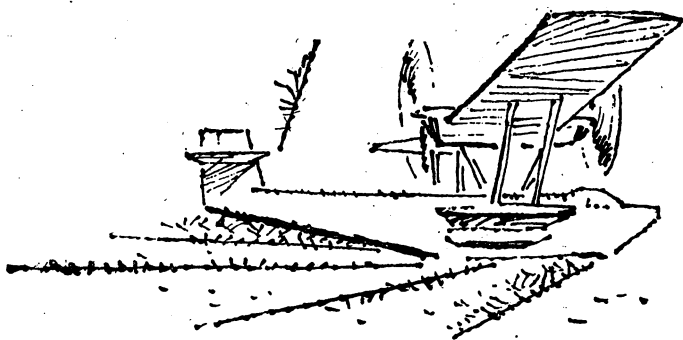


заняла в моей литературной жизни почти такое же место, как и рассказовое творчество. Произошло это не случайно. Все мои рассказы и немногочисленные повести локальны, а мне захотелось пошире охватить жизнь, чтобы зашумели на моих страницах ветры истории и народные массы, чтобы переворачивались пласты времени и совершались большие, протяженные судьбы. Для этого надо писать роман. А сценарий, орудующий веками и толпами, содержит не более ста страниц, то есть остается в пределах любимой мною малой формы...

И вот словно незримый мост перекинулся между настоящим и далекими днями детства. Все, чем я жил тогда, с прежней силой вспыхнуло в душе. Я наикнул на пожелтевшие, источающие тонкий аромат тления страницы старых газет и журналов, жадно глотал пыль архивов, а затем пустился в странствия по стране и за ее рубежи искать участников и свидетелей знаменитой ледовой эпопеи. Из этих рассказов возник не только сценарий, но и большинство рассказов, составляющих сборник. Вошли сюда и другие вещи, не связанные с арктической темой: рассказы, очерки. Но при всем жанровом разнообразии сборника он представляется мне единым, ибо речь тут идет о людях, родственных по духу.

Ведь героем может быть и совсем тихий, ведомый лишь родственникам да соседям городской или сельский житель, если он верен своему человеческому назначению, как старая мадемуазель, чью маленькую судьбу искромсали железные гусеницы нашего грозного века. И мне нестрашно собрать под одной обложкой истории знаменитых и вовсе незначительных людей, ибо каждый Человек несет в мир свои неповторимые краски, свою ноту, свой свет и свое тепло.

*Юрий Нагибин*



Не дай ему погибнуть.



В один из майских дней 1928 года молодой, но уже всемирно известный ученый и путешественник Финн Мальмгрен вышел из моторной лодки возле загородного дома Руала Амундсена. Вернее будет сказать, что дом этот действительно некогда принадлежал Амундсену, но затем пошел с торгов и был приобретен его другом, послом Гадэ, чтоб у великого путешественника было пристанище. С Мальмгреном была его невеста Анна, стройная и крепкая девушка.

В свои тридцать два года Финн Мальмгрен выглядел едва ли не юнее Анны: худенький, тонкой кости, с мальчишеским, заодно-нежным лицом и светлым хохолком волос.

Они стали подыматься по крутизне берега к дому. Под ними синели тихие воды фиорда, над ними возносились шатром зеленые кроны сосен. Звучала тихая музыка, кто-то в доме играл венский вальс.

Мальмгрен заботливо поддерживал Анну, помогая ей одолевать подъем.

— Почему ты так тяжело дышишь? — с тревогой спросила Анна.

— Волнуюсь...

— Не притворяйся!.. У тебя больное сердце, тебе нельзя путешествовать!

Мальмгрен принужденно засмеялся.

— Что за ребячество!.. Я действительно взволнован предстоящей встречей. Меня не запугаешь великими путешественниками, ведь я провел детство в доме твоего отца. А Норденшельд звучит, ей-богу, не хуже, чем Амундсен. Но в старике есть что-то особенное... демоническое, не знаю, как еще сказать. Недаром ему так охотно подчиняются люди, вещи и обстоятельства...

Они одолели подъем и стали на краю берегового обрыва. Отсюда музыка стала куда слышнее.

— Хочешь, я пойду с тобой?

— Ну что ты, Анна! Тогда я совсем пропал, он отъявленный женоненавистник. Но не бойся за меня. — Мальмгрен улыбнулся прекрасной, нежной улыбкой. — Помнишь у Стриндберга: «Слабый от любви». Конечно, я кажусь тебе слабым. Но, поверь, другие этого вовсе не считают.

— Нет, Мальмгрен, ты и мне не кажешься слабым, — со вздохом сказала Анна, — иначе ты никуда б не уехал.

Мальмгрен засмеялся, коснулся губами ее волос и побежал к дому. Она потерянно смотрела ему вслед, словно расставаясь с ним навсегда.

Мальмгрен легкой поступью шел навстречу ликующей звучащей вальсовой музыке. Он поднялся на крыльцо, миновал прихожую и остановился на пороге гостиной. За пианино сидел пожилой, худощавый, элегентный человек в светло-сером костюме, белой рубашке с туго накрахмаленным стоячим воротничком и галстук-«бабочке». Он был дома, этот человек, но выглядел так, что хоть сейчас на дипломатический прием. Амундсен не заметил прихода Мальмгрена и обнаружил его, лишь доиграв вальс до конца и услышав неожиданные аплодисменты.

— А, Мальмгрен! — произнес он, и его суровое, в жестких складках лицо тронула не лишенная тепла улыбка. — Какими судьбами?

— Приехал проститься.

Амундсен помрачнел.

— Значит, вы все-таки летите с этим...

Предупреждая возможную резкость, Мальмгрен сказал быстро:

— Генерал Нобиле так добр, что берет меня с собой.

— При чем тут доброта? Ему выгодно иметь на борту хоть одного настоящего полярника!

— А кто пилотировал «Норвегию», на которой Руал Амундсен перелетел Северный полюс? Нобиле, не правда ли?

— Что с того?

— Значит, и без меня на борту «Италии» будет настоящий полярник! — Мальмгрен улыбается, но в голосе его нет улыбки, в нем звучит волевой напор человека, убежденного в своей правоте.

— Вы заблуждаетесь, — надменно сказал Амундсен. — Знаете, кто он такой? Первоклассный инженер и конструктор, посредственный пилот, неумный честолюбец. Настоящий полярник лепится из другого теста.

— Будьте же справедливы наконец! — возмущенно вскричал Мальмгрен. — Вспомните, сколько времени и сил убили вы, чтобы достичь Северного полюса! У вас были блестящие помощники: Омдаль, Вистинг, Элсуорт, Лейф Дитрихсен и сам Рийсер-Ларсен. Но вы осуществили свою мечту, лишь когда появился Нобиле с его дирижаблем, знаниями и опытом...

— ... и присвоил себе весь успех моей экспедиции, — угрюмо закончил Амундсен. — Довольно об этом! Теперь я понимаю: вы надеялись примирить меня с вашим новым патроном. Намерение, быть может, благородное, но мальчишеское и вздорное. В моем возрасте трудно ссорятся и еще труднее прощают обиды.

— Я сам не знаю толком, какая сила гнала меня сюда, — задумчиво сказал Мальмгрен. — Увидеть вас перед отлетом, поблагодарить за прежние экспедиции, проститься? Да, но не только это. В глубине души мне верилось: если вы заключите мир с Нобиле, это будет хорошо для всех, кому дорога Арктика, для нашей экспедиции, словно добрая примета.

Что ж, ангел с оливковой ветвью из меня не получился.

— Нет! — жестко заключил Амундсен. — И помните на будущее: никогда не становитесь между мной и моими врагами.

Амундсен поднялся, Мальмгрен последовал его примеру и вдруг в каком-то юношеском порыве обнял старого, одинокого, беспощадного к себе и к другим человека.

Ни один мускул не дрогнул на лице Амундсена, добрый порыв молодого ученого остался без ответа.

...Дирижабль «Италия» в полете. Командирская гондола. Мальмгрен в летном костюме у метеорологических приборов. Над картой северного полушария склонился командир «Италии» Умберто Нобиле, маленький, смуглый, с красивыми глазами и белозубой улыбкой; он прокладывает курс воздушного корабля — жирная черная линия приближается к отметке Северный полюс. У рулей управления — капитаны Мариано и Цаппи; у приборов для измерения давления — инженер Трояни, похожий на воробышка; у руля высоты — громадина механик Чечиони; над рацией склонился чернявый симпатяга Биаджи; толстый Бегоунк возится с электроскопом; высокий стройный старший лейтенант Вильери принимает из люка, ведущего в корпус дирижабля, какие-то тюки и ящики и складывает их в угол гондолы, к подножию огромного дубового креста.

— Биаджи, — слышится голос Нобиле, — передайте всему миру, что мы подходим к Северному полюсу!..

...Радиостанция Парижа:

— Отважные аэронавты «Италии» приближаются к Северному полюсу!..

Радиостанция Лондона:

— Эти смелые люди вскоре увидят ту заветную точку, что издавна привлекала к себе путешественников и ученых, романтиков и поэтов, авантюристов и честолюбцев!..

Радиостанция Рима:

— Их были сотни отважных, но лишь единицы

сумели достичь полюса: адмирал Пири, Бэрд, Амундсен — Элсуорт — Нобиле на дирижабле «Норвегия», построенном итальянским аэронавтом, и снова генерал Нобиле, наш мужественный соотечественник!..

...Огромное небо над пустынной архангельской стороной, воют волки у околицы забытого богом поселка Вознесенские Вохмы — это название можно разобрать на похилившейся фанерке, прибитой к верстовому столбу.

В домике барачного типа, в общей кухне, немолодая женщина возится с примусом, упорно не желающим разгораться. Распахивается дверь, и в кухню врывается долговязый юноша с комсомольским значком на старенькой курточке. Он забыл снять радионаушники, и за ним вьется провод.

— Анна Мартыновна, ура! — ликует Шмидт. — Потрясающее сообщение: Нобиле над Северным полюсом!

— Ну и что? — занятая своим хозяйским делом, рассеянно спросила Анна Мартыновна.

— Достигли-таки! — восхищенно потирает руки Шмидт. — И подумайте: в труднейших метеорологических, — он с особым смаком выговаривает это слово, — условиях!

— А ты-то чего радуешься? — удивленно взглянула на долгоязого энтузиаста Анна Мартыновна. — Тебе что за корысть?

— Да как же?.. — растерялся Шмидт. — Полюс ведь, не Сенькин бугор!.. Вы только представьте себе, Анна Мартыновна, под вами Северный полюс!.. — и он мечтательно прикрыл глаза.

...Под тяжестью массивного дубового креста согнулся генерал Нобиле. Это зрелище невольно приводит на память Голгофу: так же гнуло долу Спасителя, когда он шел в свой последний крестный путь.

— Дар его святейшества несколько обременителен, — тихо говорит Мальмгрен Бегоунуку.

— Папа Пий так и сказал с присушим ему юмором: «Учтите, генерал, крест господень — тяжкая ноша!» — шепотом отвечает Бегоунек.

При этом разговоре сын лютеранской Швеции и



сын страны Яна Гуса хранят серьезное, почти благостное выражение лица, чтобы не оскорбить религиозных чувств итальянцев.

Но вот крест доставлен к двери. Старший лейтенант Вильери привязывает к нему трехцветную, как итальянский флаг, тряпку, призванную облегчить плавность спуска.

— Мы снова над Северным полюсом! — объявляет стоящий у штурвала инженер Трояни.

Нобиле дает знак своему заместителю капитану Мариано, тот распахивает дверь гондолы, и громоздкий дар Пия XI летит в белую бездну, шлейфом развевается за ним тряпка в национальных разводах.

— Да здравствует генерал Нобиле! — слышится звучный возглас.

Это крикнул горбоносый капитан Цаппи. Заиграл граммофон народную итальянскую песню «Кампано да Эстинацо». Дирижабль шел с приглушенными двигателями, и песня широко и ясно звучала над белым безмолвием. Младший лейтенант Ардуино разлил по рюмкам яичный коньяк — церемония встречи с полюсом состоялась, и все разошлись по своим делам.

— Немногие люди на земле могут похвастаться, что дважды видели полюс, — любезно сказал генералу Бегоунек.

— Во всяком случае, Рекламундсену это не удалось! — сверкнул глазами Нобиле.

— Простите, генерал, но мне бы не хотелось, чтобы в моем присутствии так говорили о капитане Амундсене, — решительно заявил Мальмгрэн.

— При всем моем уважении к вам, доктор Мальмгрэн, я не намерен поступаться своими чувствами, — резко сказал Нобиле. — В конце концов это он бросил перчатку!

— Порой большее мужество — не принять вызова...

— И молча сносить, когда тебя поносят перед всем миром? — горько сказал Нобиле. — Он договорился до того, что я не умею водить машину, не то чтобы дирижабль, и лишь вмешательство Рийсер-

Ларсена предотвратило катастрофу. Он распространил эту клевету обо мне, создателе и командире «Норвегии»! А кем был он сам во время нашего полета к полюсу? Чем-то средним между пассажиром и балластом.

— Это была экспедиция Амундсена, — сухо сказал Мальмгрен. — Точнее, Амундсена — Элсуорта. А мы с вами были их служащими.

— Нет, тысяча раз нет! — вскричал Нобиле. — То была экспедиция Амундсена — Элсуорта — Нобиле! Пусть мне платили жалованье — разве в этом дело? Моя воля управляла в воздухе, а Руалу Амундсену оставалось получать почести на земле. Я никогда не устану говорить, что то была и моя экспедиция, и наш нынешний полет подтверждает мою правоту... Вся беда в том, что Амундсен не терпит равенства, — закончил он устало.

Пока шел этот разговор, из корпуса дирижабля в гондолу спускали тюки с продовольствием и снаряжением, складную палатку, рацию, аккумуляторы.

Из люка высунулась голова профессора Понтремолли.

— Скоро нас будут высаживать, генерал?

Нобиле поглядел в иллюминатор гондолы, его примеру последовал Мальмгрен и Бегоунок. Внизу все было заволочено густым, непроницаемым туманом. Трое людей понимающе-грустно переглянулись.

— Боюсь, это придется отложить до другого раза, милый Понтремолли! — сказал Нобиле. — Лед не проглядывается.

— Тогда я пошел спать, — проворчал огорченный профессор.

— Раз высадка отменяется, — сказал вахтенный офицер Мариано, — куда вести корабль?

— На юг, разумеется... — думая о своем, рассеянно отозвался генерал.

— С Северного полюса все пути ведут на юг, — улыбнулся Мариано. — Какого курса держаться?

— Двадцать пятого меридиана восточной долготы, — ответил Нобиле.

— Разве мы летим не назад в Кингс-Бей? — уди-

вился Бегоунок и растерянным движением поправил очки.

— В Кингс-Бей, — коротко ответил Нобиле.

— Тогда это напоминает способ, каким brave солдат Швейк пробирался к фронту.

— Вы хотите сказать, что это окольный путь? — слегка покраснел Нобиле.

Бегоунок кивнул.

— Зато он ведет через неисследованную арктическую область.

Мальмгрен, отлучавшийся к приборам, вернулся и стал прислушиваться.

— Вам двоим я могу сказать правду, — продолжал Нобиле без прежнего задора, почти печально. — Мне нужно во что бы то ни стало открыть хоть островок, хоть голую скалу, чтобы на картах появилась «земля Муссолини». Тогда я заткну рот моим врагам из министерства авиации и, может быть, организую еще одну научную экспедицию. Ведь это нас с вами интересует наука, а их только сенсация, только материал для широковещательных победных реляций.

— Генерал, — послышался голос Мариано, — туман сгущается с каждой минутой.

— На проводах антенны вырос лед. Связь потеряна, — доложил Биаджи.

— Продолжайте идти заданным курсом! — приказал Нобиле своему заместителю.

— Нас относит к юго-востоку!

— Придется отложить поиск неведомых островов до другого раза, — тихо сказал генералу Мальмгрен.

— Неужели и тут неудача? — прошептал Нобиле.

— Жизнь шестнадцати человек дороже всех «земель Муссолини», — настойчиво произнес Мальмгрен.

— Капитан Мариано, — Нобиле заставляет свой голос звучать твердо, — прямой курс на Кингс-Бей!

— Есть!

— Руль!.. Заклинило руль!.. — отчаянно закричал Трояни, стоявший у руля высоты. Маленький, худенький, он беспомощно дергал рукоять.

Старший лейтенант Вильери бросился к Трояни

и сильным ударом освободил рулевое управление. Дирижабль пошел ровно.

Нобиле стал бросать на лед стеклянные шары, наполненные цветной жидкостью, чтобы определить степень сноса дирижабля. Шары при падении на паковый лед разбивались, оставляя красивые яркие пятна. И тут раздался голос Чечиони, следящего за вариометрами:

— Мы слишком тяжелы! Мы падаем полметра в секунду!

Нобиле видит, как приближается испещренный трещинами лед, и кричит:

— Балласт за борт! Выключить все моторы! Иначе мы взорвемся!

Два мотора тотчас остановились, но левый продолжал работать. Мариано высунулся из иллюминатора и крикнул Каратти:

— Выключи мотор!

Но моторист не расслышал его из-за шума.

— Сбросить гайдроп! — командует Нобиле.

Нервный и порывистый, он в эти критические минуты отлично владеет собой, все его приказы отличаются безукоризненной точностью.

Чечиони кинулся к тросу, на котором висел гайдроп — массивная цепь, но трос заело. Бегоунок поспешил ему на помощь.

— Рубите трос! — кричит Нобиле.

Наконец-то смолк и третий мотор, но это уже не помогает. Дирижабль, задрав нос в мутной, туманной наволочи, продолжает падать. Нобиле забирает у штурвального руль высоты. При этом взгляд его падает на иллюминатор. Со страшной скоростью «Италия» несется навстречу паковому льду. Но отсюда кажется, будто тысячи ледяных кусочков с острыми иглами мчатся навстречу дирижаблю. В кабине тихо, лишь слышно, как настойчиво и хладнокровно Биаджи тюкает ключом радиотелеграфа, пытаясь пробить ставший глухим простор.

Задняя гондола ударилась о лед и отлетела прочь вместе с находившимся в ней мотористом Помеллой. Облегченная корма задралась, а нос резко накло-

нился, и со страшным грохотом командирская гондола разбилась о ледяной валун.

На льду осталось девять неподвижных тел. Оболочку дирижабля с уцелевшими моторными гондолами несло прочь. На мостике у левого мотора стоял, точно окаменев, красивый, рослый Ардуино. Оболочка скрылась в тумане, затем вдалеке поднялся к небу темный столб дыма...

...Над стиранным бельем, над пеленками, развешанными для просушки, над темной дырой двора в бедняцком квартале Рима, над мусорной кучей и детьми, играющими в пыли, над безногим инвалидом, потягивающим «кьянти» из оплетенной бутылки, над яростной ссорой двух молодых женщин летит звонкий, радостный крик.

— Мой муж на Северном полюсе!.. Слышите, соседи?.. Джузеппе на Северном полюсе! — Это кричит молодая смазливая Анита Бучелли-Биаджи с площадки лестницы, идущей по внешней стене дома. Возле нее крутится мальчик, разительно похожий на радиста «Италии», а черная шаль Аниты прикрывает громадный живот, предвещающий Биаджи вторичное отцовство.

В ответ на крики Аниты двор, словно по мановению волшебного жезла, заполнился мужчинами и женщинами разного возраста.

— Почем знаешь, Анита?

— Прибегал синьор Паскуале из министерства авиации — мой Биаджи сам передал об этом по радио!

— А где находится Северный полюс?

— Далеко, на самом севере!

— Севернее Милана?

— Куда там! На макушке земли!

— А чего Джузеппе туда понесло?

— Их там целая компания: генерал Нобиле, синьор Мариано, Чечioni... Они должны скинуть флаг.

— Зачем?

— Тогда Северный полюс будет принадлежать Италии!

— А Биаджи дадут чин старшего сержанта! —

крикнул безногий. — Анита, с тебя стаканчик вина!

— Заходите все! — расщедрилась Анита. — Не каждый день мой Биаджи летает на Северный полюс!..

...Осло. От набережной к центральной части города идет пожилой худощавый эlegantный человек в темном костюме, стоячем крахмальном воротничке с загнутыми уголками, галстук-«бабочке» и черном котелке — герой Арктики и Антарктики Руал Амундсен.

За его спиной сверкает под майским солнцем зеркало Осло-фиорда, пестреют разноцветные нарядные суденышки: моторные, весельные, парусные лодки, катера, ботики. К торговому порту держит путь трудяга-лесовоз, весь в красном окисле, с черными от копоти трубами. Большие серые чайки залетают на городские улицы и, покружившись среди рослых плакучих берез, возвращаются в гавань.

Погруженный в думы, Амундсен идет, не замечая узнающих взглядов прохожих, переходит полные движения улицы, не оглядываясь по сторонам и словно вручая шоферам и возницам заботу о своей безопасности. Он сворачивает в тихую красивую улицу, ведущую к королевскому дворцу, и внезапно останавливается, привлеченный резким, звучным голосом аукционщика:

— меховая малица и унты, в которых Амундсен достиг Южного полюса, — восемьсот крон!..

Амундсен со странной улыбкой входит в помещение аукциона.

— Восемьсот крон — раз, восемьсот крон — два...

— Восемьсот пятьдесят крон! — слышится из зала.

— Восемьсот пятьдесят крон — раз, восемьсот пятьдесят крон — два...

Этот аукцион привлек большую толпу. Среди подлежащих распродаже китайских ширм, персидских ковров, старинной мебели, второсортных картин и скульптур, севрского и копенгагенского фарфора, люстр и бра с молотка пойдут вещи, принадлежав-

шие Руалу Амундсену: различные предметы с корабля «Мод» — от солонки до градусника, от обрывка паруса до ружья путешественника; медали всевозможных географических обществ, которых был удостоен отважный исследователь, чучела птиц и зверей, различные коллекции.

Амундсен стоит за колонной, прислушиваясь к торгам. Жители Осло, которых трудно обвинить в расточительности, сейчас не скупаются, и на жестко изрезанном морщинами лице путешественника горечь сменяется насмешливой удовлетворенностью.

— Руал, зачем вы здесь? — послышался голос, и возле Амундсена оказался крепкий, плечистый, седеющий человек с хорошим, обветренным лицом.

— Тсс! — Амундсен приложил палец к губам. — Я случайно проходил мимо. А что вы тут изволите делать, капитан Вистинг?

— Простите меня, я не мог смириться, чтобы ваши медали попали в чужие руки.

— Я не возьму их назад, зарубите себе на носу! — сверкнул глазами Амундсен, затем, смягчившись, добавил: — Довольно и того, что я занимаю чужой дом.

— Этот дом построен вами, Руал! И когда паршивец Леон пустил его с молотка, вашим друзьям ничего не оставалось, как откупить его для вас.

— Оставим брата в покое, он только довершил начатое другими.

— Оставим. Вы свободны сейчас? Хотите, поедem в Хольменколен?

— Меня ждут во дворце.

— Тогда до вечера.

Друзья обмениваются рукопожатием, и Амундсен, незамеченный, уходит...

...Королевский парк вольно распахнут во все четыре стороны. Тут нет ни ограды, ни ворот, лишь сбоку от дворца, возле маленькой караулки, имеющей чисто декоративное значение, под ленивыми взглядами нескольких зевак игрушечно-нарядный часовой выполняет изящные балетные па.

По дорожкам парка катаются на трехколесных

велосипедах дети; на газоне, низко и твердо подстриженном, кто в тени рослых деревьев, кто в солнечных просветах, нежатся молодые граждане Осло, длинноногие, загорелые, мускулистые. Девушка расчесывает пышные светлые волосы, откидывая их с лица против солнца, отчего в пушистой копне вспыхивает золотое пламя. Старушка крошит хлеб на берегу маленького пруда, у ног ее вступили в яростную потасовку голуби, чайки, дикие утки.

Амундсен вежливо обходит дерущихся птиц. Прямо ему под ноги кинулась крякуша с хлебной коркой в клюве, преследуемая другими утками. Амундсен притронулся к котелку, любезно пропустил утку и двинулся дальше. Ему любы и дороги все эти малости родной жизни: суета детей, старух, птиц, весенняя томность юношей и девушек, свежесть берез и кипарисов, соседствующих лишь в Норвегии.

Он приближается к караулке. Молодой воин, выполняющий дозорный танец, узнает великого путешественника. Скованный ритуальными движениями, он платит дань уважения Амундсену, придавая особую радостную готовность своему лицу. Амундсен, угадавший душевное движение часового, приветствует его так же, как уток в парке: он притрагивается пальцами к полям котелка.

Вид этого воина настроил Амундсена на боевой лад. Он продолжает путь, напевая мелодию военного марша. Под этот марш он подымается по тронутым мохом ступенькам широкой каменной лестницы и входит во дворец. Здесь его уже ждали и сразу провели в кабинет короля.

Навстречу путешественнику подымается во весь свой двухметровый рост король Гакон. Донкихотская худоба в сочетании с непомерным ростом не лишает короля достоинства осанки, изящества суховато-четких движений.

— Рад видеть вас, капитан Амундсен! — говорит король с тем характерным датским акцентом, от которого он не мог избавиться до конца жизни.

— Ваше величество, я отнюдь не претендую на этот высокий чин! — с улыбкой сказал Амундсен.



Король сделал удивленное лицо.

— Это не по-норвежски! У нас каждый человек, проплывший хотя бы от Осло до Ставангера, требует, чтоб его величали капитаном. А вы, насколько мне известно, плавали несколько дальше.

— Когда я слышу обращение «капитан», мне хочется отрывать билеты и дергать веревку звонка.

— Что так?

— Я подолгу жил в Америке. Там все кондуктора «капитаны».

Король засмеялся.

— Продолжим партию, Руал? — он кивнул на шахматный столик.

В кабинет вбежал красивый пятнистый дог и, как старого друга, приветствовал Амундсена, грациозно подымаясь на задние лапы, чтобы лизнуть гостя в лицо.

Король и Амундсен садятся за шахматы.

— Как вы расцениваете успехи «Италии?» — спросил король.

— Я молю бога, чтоб он даровал ее экипажу благополучное возвращение, — чопорно произнес Амундсен.

— Самое трудное осталось позади, — заметил король.

— Нет, ваше величество! — со сдержанной страстью произнес Амундсен. — Это пагубное заблуждение, разделяемое, к несчастью, многими. Самое трудное — это вернуться. Я не был бы Амундсеном, если б не думал прежде всего о возвращении. Сколько раз ничтожная мелочь — забытая впопыхах коробка спичек или щепотка соли, отсутствие запасной пары сапог — приводила людей к гибели.

— Нобиле прошел вашу школу.

— Он не прошел никакой школы! — резко произнес Амундсен. — Эгоцентрик до мозга костей, он не способен усваивать чужой опыт.

— Мне кажется, вы несправедливы к вашему бывшему спутнику. И знаете, Руал, эти ожесточенные нападки на него огорчают ваших почитателей.

— Простите, ваше величество, я не признаю компромиссов в отношениях с людьми.

— Оставим это... Вы позволите — один интимный вопрос?

— Сколько угодно, мне нечего скрывать.

— Почему вы так одиноки?.. Почему у вас нет жены, детей?

— Сейчас слишком поздно думать об этом.

— Да вы стоите любого юноши!.. Ну, а прежде?

— Прежде было слишком рано...

— Между «слишком рано» и «слишком поздно» люди успевают обзавестись семьей.

— А я в эту пору, ваше величество, обручился со льдом. От этого союза детей не бывает. И пока другие создавали себе подобных, я, единственный на земле, осуществил полный арктический цикл. Я водрузил норвежский флаг на обоих полюсах, — продолжал он с волнением и гордостью, — пронес его северо-западным и северо-восточным Великими морскими проходами...

— Да, вы сделали более чем достаточно для славы Норвегии и славы века! Вы, как никто другой, заслужили отдых! — с жаром сказал Гакон.

— Я не совсем понимаю...

— До нас дошли слухи, что вы снова распродаетесь, стало быть, готовитесь к новой экспедиции?

— О нет! — с горечью сказал Амундсен. — На этот раз речь идет лишь о выплате старых долгов. Я все еще не могу расплатиться за Северный полюс. Только не думайте, что я жалуясь, ваше величество, я объясняю...

— Благодарю вас за откровенность. Тем проще окажется наш разговор. Вы хорошо знаете, Руал, что я самый бессильный монарх в Европе. Стортинг оставил мне лишь одну обязанность — представительство и одно право — бесплатный проезд в трамвае. Но при всей своей строптивости, упрямстве и скупости стортинг не откажет в обеспечении национального героя Норвегии. Вы должны жить в своем доме, в достатке и душевном покое. Но стортингу необходима уверенность, что деньги налогоплатель-

щиков пойдут по прямому назначению, а не на новые рискованные предприятия.

— Что я могу сказать? — грустно начал Амундсен.—Состоятельным человеком вступил я в жизнь, бедняком приближаюсь к ее концу. Нет, я хотел бы стать бедняком, потому что я нищий. Путешествия разорили меня. Сейчас в мире все открыто, и мне, в сущности, нечего делать на этом свете, кроме одного: расплатиться с кредиторами. Я не хочу предстать пред лицом господ бога несостоятельным должником. Благодарю вас за великодушное предложение. Если уж Нобиле способен летать к полюсу, значит героическая пора в исследовании Арктики миновала.

— Счастлив, что вы идете мне навстречу, Руал. Я буду считать мое скромное царствование удавшимся, если у вас будет покойная, величавая старость, чуждая суете повседневных забот.

Открылась дверь, и к королю с пакетом в руках скользнул бесшумный секретарь. Гакон взял бумаги, быстро проглядел их и нахмурился.

— К сожалению, вы оказались слишком хорошим пророком, — сказал он Амундсену. — Дирижабль «Италия» пропал без вести.

— Я надеюсь на лучшее, — холодно произнес Амундсен, — это просто рекламный трюк.

— Увы, это правда, — вежливым голосом сказал секретарь.

— Жаль, там на борту есть человек, из которого мог бы выйти толк...

...Чуть пошатываясь, Биаджи подошел к мотористу Помелле, неподвижно сидящему на льдине, и тронул его за плечо.

— Рад за тебя, старик. А мы-то уж думали, ты отдал концы.

Помелла не отозвался, продолжая так же отсутствующе вглядываться в какую-то ему лишь зримую даль.

— Помелла!.. Помелла!.. Не валяй дурака! —

Биаджи легонько шлепнул его по щеке, и моторист, словно кукла, свалился на бок.

— Он мертв! — закричал Биаджи. — Помелла мертв!..

Но, еще не оправившись от шока, люди никак не отозвались на его крик. И Вильери, и Трояни, и Чечioni лишь глянули в сторону Биаджи и продолжали заниматься своим делом. Вильери тащил мешок с провизией, выпавший из гондолы дирижабля; Трояни возился с рацией: коротковолновый передатчик и аккумуляторы тоже благополучно «прилеплились»; Чечioni, примостившись на валуне, упаковывал сломанную ногу в самодельные лубки.

Лишь раненый Нобиле, которого Мариано и Бегоунок перетаскивали в красную палатку, сказал хрипло:

— Что-то случилось с Помеллой... Помогите сперва ему.

— Он уже не нуждается в помощи, — ответил Мариано.

— Тогда предайте тело земле.

— Льду, хотите вы сказать...

И тут Нобиле увидел свою собачку, фокстерьера Титину, живую и невредимую.

— Титина!.. Титина!.. — позвал он слабым голосом. — Пойди сюда, моя собачка!.. Моя маскотта!..

Но, странно поджав хвост и прижав уши, собачка поползла прочь от хозяина. «Маскотта» (талисман аэронавта) чуралась его рук. Нобиле закрыл глаза.

Его внесли в палатку, осторожно опустили на брезент. Мариано сразу вышел, Бегоунок чуть замешкался.

— Вам что-нибудь нужно, генерал? — спросил он сочувственно.

Нобиле едва приметно повел головой: нет. Бегоунок последовал за Мариано.

— Титина! — прошептал Нобиле. Он попытался приподняться, но боль в поврежденной руке, сломанной ноге и смятой грудной клетке опрокинула его навзничь.

В палатку вошел бледный, ни кровинки в лице, Финн Мальмгрен, вывихнутая рука беспомощно повисла вдоль левой, отбитой при падении половины тела.

— Благодарю вас за путешествие, генерал. Я ухажу под воду, — сказал он без всякой рисовки, а равно и без упрека.

— Вы с ума сошли! — хрипло произнес Нобиле.

— Арктика не любит слабых, — непонятная, будто издалека, улыбка непроизвольно подергивает уголки бледных губ Мальмгрена. — Я знал, что рано или поздно так будет, и был готов к этому.

— Сядьте, Мальмгрен, и объясните, что все это значит. Откуда у вас, спутника Амундсена, такая чисто женская слабость?

— Все очень просто, генерал, — спокойно сказал Мальмгрен. — Я не имел права на Арктику: у меня слабые легкие и больное сердце. Но я не мог жить без севера. И я сказал себе: когда-нибудь жалкий организм подведет тебя, но ты не станешь обузой для спутников, ты уйдешь.

— Мне хуже, чем вам, поверьте, Мальмгрен, — глухо заговорил Нобиле. — Но я буду держаться до конца... Вы здесь нужнее меня, нужнее любого, вы единственный опытный полярник среди нас.

— Какая от меня польза?.. — Мальмгрен приподнял руку, отпустил, рука плетью упала вниз.

Трудно сказать, чем кончился бы их разговор, но тут снаружи послышался восторженный голос Биаджи:

— Она дышит!.. Богом клянусь — дышит!..

Откинулась брезентовая дверца палатки, показалось раскрасневшееся лицо Мариано.

— Мой генерал, рация работает!

— Помогите мне встать, — попросил Нобиле.

Мариано с помощью Мальмгрена подхватил генерала и потащил его наружу.

Вокруг рации, над которой хлопочет радостно возбужденный Биаджи, собираются потерпевшие. Подошел Вильери и Бегоунок, скинув на лед тюки с провизией, подполз на руках сильный, рослый Че-

чиони, волоча толстую ногу в лубках. Подошел с самодельным ломом в руках Цаппи. Мальмгрен и Мариано принесли генерала Нобиле. Лишь Помелла все так же сидел на ледяном валуне, ожидая погребения.

— Сомневаюсь, чтоб эта жалкая коробочка принесла нам спасение, — нервно дергая худой шеей, сказал инженер Трояни.

— Ваш скептицизм едва ли уместен, — возразил Нобиле. — «Читта ди Милано» для того и стоит в Кингс-Бее, чтобы поддерживать с нами постоянную связь.

Биаджи произвел настройку. Желая проверить работу рации, он включил прием. В мертвой тиши слышно, как в наушниках возник слабый треск, усилился, сменился ровным шумом, затем в мерном дыхании воздушного океана возникла музыка: увертюра из «Севильского цирюльника». Оркестр сменился рыдающим голосом не то Федры, не то Андромахи, мгновенно исчезнувшим в джазовой песенке: «Вас махст ду мит дем кни, либер Ганс?», и тут молодая Страна Советов заявила о себе отчетливым голосом диктора, передающего материалы для газет: «О-сва-и-ва-я все большие пло-ща-ди, мы стре-ми-тель-но...»

— Нельзя сказать, что мир сильно обеспокоен нашей судьбой, — снова заметил Трояни.

Биаджи убрал прием и заработал телеграфным ключом. Тоненький лучик протянулся в безбрежность мирового пространства и забегал там, сиюсь найти защиту и помощь:

— Спасите наши души! «Италия», Нобиле. Спасите наши души!..

...Кингс-Бей. Радиорубка на борту «Читта ди Милано» — плавучей базы «Италии». С палубы доносятся звуки гитары. Молоденький матросик канючит, чтобы радист передал радиотелеграмму его невесте:

— Дорогой друг, всего несколько слов: люблю, скучаю, твой навеки, Луччино.

— Черт бы вас всех побрал! — ругается радист. — У каждого невеста или кузина, жена или старая ма-



манами несется крик о помощи, к «Читта ди Милано» взывают гибнущие люди, но призыв их остается без ответа. Сигнал «SOS» не может пробиться сквозь песню, которую некогда так сладко пел сам великий Карузо.

Биаджи выпустил телеграфный ключ и закрыл лицо руками.

Вдруг раздается шум, писк и проникновенно звучит голос диктора: «Чтобы не допустить повышения цен на овощном и фруктовом рынке, французское правительство решило снизить пошлину на ввоз».

Очнулся от полузабытья капитан Цаппи. С каким-то звериным воем заметался он по льдине. Арктический кризис неизбежен, рано ли, поздно человек, стремящийся проникнуть в тысячелетние тайны севера, переживает его, иногда бурно, иногда тихо, в душевной депрессии. У Цаппи, человека безмерно жадного к жизни, темпераментного и лишённого сдерживающих центров, этот кризис наступил раньше, чем у других, и вылился в нервную бурю.

Мариано кинулся к нему, обнял, прижал к себе. Что касается остальных, то, подавленные неудачей с рацией, они даже внимания не обратили на поведение Цаппи. Каждый оставался в той позе, в какой застал его последний щелчок ключа Биаджи.

— Мы должны уйти, Мариано, — бормотал Цаппи, порывисто цепляясь за одежду друга. — Мы должны добраться до Большой земли, иначе мы погибнем, все погибнем!..

Мариано, видимо, умеет ценить дружбу. Большой, сильный, волевой человек, он утешает Цаппи почти с женской нежностью, гладит по голове.

— Успокойся, Филиппо, нас не оставят в беде. Рано или поздно мы свяжемся с «Читта ди Милано», за нами пришлют самолеты, и мы снова увидим Италию и наших близких.

Цаппи затихает.

Биаджи первым преодолел оцепенение. Он провел рукой по глазам, будто снял незримую паутинку, и



вновь заработал ключом, бормоча сквозь стиснутые зубы:

— Спасите наши души!.. «Италия», Нобиле. Спасите наши души!..

Так началась легендарная полуторамесячная бесменная радиовахта...

...В узком пространстве красной палатки вповал спят люди. Спят тяжело, неудобно, мешая друг другу, что-то бормоча сквозь сон, то жалобно, то испуганно вскрикивая, издавая болезненные стоны. И даже Титине, примостившейся на голове Бегоунека, вернее на его меховой шапке, снятся тревожные собачьи сны — она вздрагивает, сучит лапами, тоненько поскуливает.

Ворочается капитан Цаппи. Его жизнелюбивая и агрессивная натура не может мириться с теснотой. Вот он, не просыпаясь, отстранил голову лежащего рядом Мариано, подвинул легкого Трояни, больно оттолкнул сломанную ногу Чечиони. Тот нехорошо застонал сквозь сон. Цаппи отвоевал себе свободное жизненное пространство. Но тут снаружи донесся характерный тюкающий звук, и Цаппи, мгновенно проснувшись, вылез из палатки.

Трудолюбивый Биаджи продолжал сражаться с молчанием вселенной.

— Ну что? — спросил Цаппи и, полуотвернувшись, стал мочиться на лед.

— Все то же... — покачал головой Биаджи.

— Встать, когда говоришь с офицером! — рявкнул Цаппи.

Скрывая усмешку, Биаджи отложил наушники и поднялся.

— Связи нет, господин капитан ди корветто! — доложил он, комически вытянувшись.

Цаппи удовлетворенно поглядел на желтую дыру, которую он прожег в сухой корке снега, и по-прежнему раздраженно сказал:

— Чему тебя учили?.. Дай сюда!.. — он схватил наушники и занял место Биаджи.

Даже тишина, простершаяся вокруг красной палатки, глухая, плотная тишина, словно ватой забившая пространство между серыми облаками и льдом, была как-то озвучена по сравнению с тем зловещим безмолвием, в которое погрузился капитан ди корветто, когда надел наушники. Не стало ни шороха тающих льдинок, ни близкого дыхания Биаджи, ни сонных шумов внутри палатки, ни тайных звуков скрытого движения ледяных полей. Пустота... Безнадёжная, мертвая пустота!..

Кровь отлила от массивного лица Цаппи, он громко, грубо выругался и сорвал наушники с головы.

Из палатки на крик вышел Мариано. Цаппи кинулся к нему, схватил за руки и повлек в сторону, за ледяные валуны. Биаджи поглядел вслед офицерам, вздохнул, надел наушники и вновь трудолюбиво заработал ключом.

— Ты знаешь меня, — взволнованно говорил Цаппи своему другу, — я не трус. Но это пассивное ожидание невыносимо! Я чувствую, что схожу с ума!

Мариано молчит, потупив голову.

— Вспомни, ты обещал моим родителям: Филиппо вернется... Вернется живым и невредимым... Ты обманул их!..

— Но что я могу сделать? — беспомощно произнес Мариано.

— Все! Генерал тоже ранен. Ты его заместитель. Возьми на себя ответственность. Скажи: мы не ба-раны на бойне, чтобы покорно ждать смерти. Мы должны бороться за нашу жизнь...

— Но как?.. Как?..

— Попробуем достичь Большой земли. Пусть Биаджи продолжает вопить о помощи, мы не имеем права полагаться на других. Мы должны действовать. Самое страшное — пассивность, это уже смерть. Бог не для того чудом сохранил нас...

— А как быть с ранеными? — перебил Мариано.

— Не знаю, Адальберто! Пусть ковыляют, пусть ползут следом за нами или пусть остаются и ждут,

когда мы придем подмогу... — Цаппи вдруг замолчал, взглядываясь в даль. — Что это?.. Смотри, смотри, Мариано!.. — закричал он не своим голосом.

На горизонте, в бесконечной дали, туманно, неясно, будто во сне, вырисовывается берег...

...«Читта ди Милано». Радиорубка. Белокурый и симпатичный радист Педретти взволнованно убеждает начальника радиорубки Баккарини:

— Уверяю вас, это Биаджи! Я узнал его почерк!

— Вот что значит злоупотреблять «кьянти»! — зевая, говорит начальник. — Оно вовсе не такое уж безобидное, наше доброе итальянское вино!

— Я не пил ни капли. Вчера я тоже был на вахте. Я узнал Биаджи. У каждого из нас есть свои приметы, по которым мы безошибочно узнаем друг друга.

— Тогда ты просто переутомился. Тебе надо отдохнуть.

— Я прошу вас доложить капитану...

— Не учи меня! Стану я тревожить капитана Романью из-за твоих дурацких выдумок!

— Неужели вам не жалко нашего друга Биаджи?

— Знаешь, что сказал капитан Романья ди Манойя? Он сказал: во время катастрофы Биаджи высунул голову в иллюминатор и был убит на месте.

— А он-то почему знает? — потрясенно спросил Педретти.

Начальник одарил его долгим, утомительным взглядом.

— Биаджи не такой парень, чтобы уцелеть, когда гибнут товарищи.

— Но почему капитан решил...

— Ты мне надоел! — перебил радиста Баккарини. — Если тебе еще раз померещится почерк Биаджи, скажи, чтоб он назвал номер своего военного билета... — И, довольный собой, начальник радиослужбы покинул рубку.

...На льдине изобретательный Чечиони с помощью Бегоунека мастерит сани из дюралевого каркаса гондолы. Сейчас он привязывает к полым трубкам каркаса железные листы, сделанные из канистр.

— Бегоунок, — просит Чечиони, — дайте еще проволоки.

Бегоунок выполняет его просьбу. Чечиони крепче привязывает листы.

— Отличные сани! — радуется механик. — На них хоть снова на полюс! Надо доложить генералу, что транспорт готов.

— Я бы сперва убедился в их прочности, — посоветовал Бегоунок.

— Ох уж эти ученые! Вечно во всем сомневаются!

Чечиони чуть привстал и всей тяжестью рухнул в сани. Послышался треск, и механик оказался на снегу, вокруг валялись обломки саней.

— Нечего себя обманывать! — грустно сказал Бегоунок. — Затея с санями — просто ребячество!

— Тогда нам придется разделиться, — сказал подошедший Мариано. — Одна группа пойдет вперед за помощью, другая останется с ранеными.

— Это безумие! — вскричал генерал Нобиле. Откинув дверцу палатки, он наполовину высунулся наружу. — Разделение экспедиции — гибель. Всякий раз, когда так делали, погибал один или оба отряда.

— А вы знаете какой-нибудь иной путь к спасению? — холодно спросил Мариано.

— Вы хотите бросить нас с генералом! — на истерической ноте заговорил рослый механик.

— Если так, — порывисто вскричал Нобиле, — то уходите! Я никого не держу. Пусть каждый поступает по своей совести!

— Не хочу подыхать как собака! — закричал Чечиони, поддаваясь тому мгновенному безумию, которым север рано или поздно поражает почти каждого из своих непрошенных гостей. — Только подлецы бросают раненых! Запретите им уходить, генерал! Дезертиров расстреливают на месте! К стенке их, к стенке!..

— Успокойтесь, Чечиони, вас не бросят, — мягко и серьезно сказал Бегоунок. — Я, например, остаюсь.

— Я тоже остаюсь с генералом, — сквозь зубы проговорил Вильери.

— А для меня нет выбора, я слишком плохой ходок, — по-птичьи двигая шеей, сказал инженер Трояни.

— Ну что? — обратился Нобиле к Мариано. — Вы снимаете ваше предложение, капитан? Или пойдете вдвоем с Цаппи? Два таких опытных полярника, чувствующих себя в царстве льда как на виа Корсо!..

— С нами пойдет доктор Мальмгрен, он весьма опытный полярник, — последовал ошеломляющий ответ.

— Как, и вы, Мальмгрен? — это прозвучало почти как знаменитое: «И ты, Брут?»

Мальмгрен наклонил голову.

— Можно вас на два слова, доктор? — тихо сказал Нобиле.

Мальмгрен подошел к генералу, остальные из деликатности отвернулись.

— Это что — новый способ самоубийства? У вас же нет сил.

— У меня хватит сил дойти до берега, — спокойно возразил Мальмгрен. — Мне гораздо лучше, я почти владею рукой.

— Поклянитесь, Мальмгрен, что с вашей стороны это не просто самопожертвование.

— Я не суеверен, генерал, и не придаю значения клятвам. Могу лишь повторить: я иду, потому что в походе буду нужнее, чем здесь, потому что верю в свои силы...

Суматоха, возникшая в лагере, помешала Нобиле закончить разговор с Мальмгреном. Сперва мимо них в палатку кинулся Вильери, за ним Мариано. Оба выскочили с ружьями в руках и куда-то понеслись.

— Медведь!.. Медведь!.. — звучат возбужденные голоса.

— Он пытался опрокинуть антенну! — слышится голос Биаджи.

Затем раздаются ружейные выстрелы, глухой рев, и теперь уже виден белый медведь, спокойно уходя-

щий прочь от лагеря. Снова выстрелы, посвист пуль, ледяные брызги вокруг медведя...

...А Мальмгрен словно не замечает всей этой суматохи. Взгляд его далек и странно сосредоточен, будто ему зримы сейчас иные пределы. Да так оно и есть: он видит Упсалу, старые, высокие деревья, над вершинами которых кружатся горластые галки, башню кафедрального собора с часами, как доброе лицо друга, а внизу маленькую девичью фигурку в белом платье. Девушка идет мимо деревьев, из тени в солнечный просвет, и снова в тень, и снова в просвет.

— Анна! — негромко окликнул ее стоящий у ледяного валуна Мальмгрен.

Девушка остановилась, как раз на границе тени и света, и обернула к своему суженому лицо, полное заботы и тревоги.

— Анна, прости меня. Я не могу поступить иначе. Я должен сопровождать этих людей, ведь они не знают, что такое север. Если я пройду хоть часть пути, то все равно принесу пользу, если останусь здесь, буду лишь обузой для товарищей. Пойми, Анна, что при всей моей любви к тебе, я не могу иначе...

Он замолчал, а в глазах Анны Норденшельд зажглась та боль, которую она пронесла через всю жизнь.

— Ах bestия, ушел!.. — голос генерала вернул Мальмгрена к действительности.

Он увидел медведя, не спеша ковыляющего прочь от лагеря, кинулся в палатку, схватил кольт и двинулся наперерез зверю.

И Нобиле и его спутники видели опасное состязание шуплого человека, плохо владеющего одной рукой, с громадным зверем в бело-желтой шубе. Медведь, поначалу не столько обозленный, сколько безмерно удивленный выстрелами, криками, всей неумелой охотничьей кутерьмой, теперь понял, что неведомые существа, проникшие в его обиталище, несут с собой злое, гибельное. Его не задело, лишь слегка опалило выстрелами, но, свирепый по при-

роде, он был в ярости. И все же сперва он не принял вызова и стал уходить от Мальмгрена, покачивая мохнатым задом. Швед гнался за ним, перепрыгивая через валуны, карабкаясь на ледяные кручи и соскальзывая вниз, быстрый, легкий, изящный. Подойдя к медведю на выстрел, он вскинул кольт и старательно прицелился. Пуля угодила в толстый загорбок. Словно поняв, что бегством не спасешься, медведь повернулся и пошел на Мальмгрена. Тот ждал его, переложив револьвер в большую руку, чтобы дать отдохнуть рабочей руке.

Приблизившись метров на десять, медведь заревел, поднялся на задние лапы и горой вырос над охотником.

— Стреляйте!.. Стреляйте!.. Черт вас побери! — не выдержав, закричали в голос Нобиле и Мариано.

Вильери вскинул ружье. Бегоунок вовремя отвел ствол, выстрел старшего лейтенанта мог поразить скорее охотника, нежели зверя.

Медведь подходил все ближе. Когда он оказался в трех-четыре шагах, Мальмгрен хладнокровно переложил кольт в здоровую руку и, почти не целясь, послал пулю ему в голову.

Медведь зашатался и рухнул к ногам охотника. К убитому зверю сразу устремились люди.

Мальмгрен подошел к Нобиле.

— Вы убедились, что я в неплохой форме, генерал?

— Я полагаю, теперь вы сможете уделить нам немного продовольствия? — сказал Мариано. — У вас не будет недостатка в пище. — Он кивнул на гигантскую тушу.

— Это судьба, — тихо сказал Нобиле и отвернулся.

Подошел Биаджи, туго подпоясанный, за плечами мешочек, в руках металлическая трубка на манер альпенштока.

— Куда вы собрались, Биаджи? — спросил Вильери. — Лучше помогите освежевать медведя.

— Я ухожу с господами офицерами, — с несвойственным ему вызовом ответил Биаджи.

— Вас никто не отпускал, Биаджи, — заметил Вильери.

— Старший офицер, синьор Мариано, хотел взять меня с собой.

— Старший офицер — генерал, он остается.

— Генерал сказал: пусть все поступают как хотят! — все более возбужденно говорит Биаджи: видимо, пришла его очередь сорваться. — Он тоже ушел бы, да ходить не может. Если старшие офицеры бросают лагерь, чего спрашивать с простого сержанта? У меня дома жена на сносях, маленький сын, я не хочу, чтобы они оказались на паперти! — по загорелому лицу Биаджи катятся слезы.

— Без рации нам капут, — побледнев, сказал Чечиони.

— Тогда я останусь, — громко сказал Мальмгрен. — Я не могу брать с собой человека, с которым остающиеся связывают надежды на спасение.

Биаджи поглядел на Мальмгрена, утер слезы, высморкался и, ни слова не сказав, отшвырнул альпеншток, скинул с плеч мешочки и пошел к рации.

С тремя туго набитыми мешками подошел Цаппи. Он не терял времени даром и собрал в поход всех троих. Увидев, что Биаджи остается, он сказал сочувственно и бестактно:

— Ей-богу, жаль Биаджи, такой здоровый и умный парень!..

— Помолчите, Филиппо, — сухо сказал Мариано.

Мариано и Цаппи надели заплечные мешки. Когда же навесили мешок Мальмгрена, он, не выдержав тяжести, упал на большую руку.

— Тут больше двадцати килограммов, — скрывая боль, оправдывался он. — Надо было предупредить...

Мариано молча переложил часть груза в свой рюкзак, и, скупно попрощавшись с остающимися, группа тронулась в путь.

Нобиле поглядел на печально ссутулившегося у рации Биаджи и позвал его слабым голосом:

— Биаджи!.. Сержант Биаджи, подойдите сюда!..

Биаджи подошел.



— Биаджи, как только вы свяжетесь с «Читта ди Милано» или с любой радиостанцией, вам будет вручена премия.

Открытое лицо Биаджи осветилось наивной, доверчивой улыбкой.

— А какая премия, мой генерал?

— Секрет. Но премия замечательная. — И Нобиле добавил с шутливой значительностью: — Из резерва главного командования.

Биаджи покрутил головой и весело направился к рации.

Приникнув к биноклю, Вильери страстно следит за уходящими товарищами. В окулярах до сих пор отчетливо видны их фигуры и как одолевают они ледяные нагромождения, обходят польньи; видно, как легко, бодро идут Мариано и Цаппи, как тяжело ковыляет за ними Мальмгрен. Вот он оступился, упал, Мариано помог ему подняться. Они идут дальше и дальше, их фигуры все уменьшаются, становятся черными точками на белизне снега и, наконец, вовсе исчезают из виду...

...Мощнейшие радиостанции мира обыскивают эфир в надежде поймать сигналы «Италии».

Сидят ночами у своих приемников коротковолновики Германии, США, Италии, Франции, Швеции, Норвегии, Англии, Канады, Японии, Советского Союза. Одни сидят у сильных, совершенных по тем временам установок, другие — у трогательных самоделок. В их лице все человечество стало на радиовахту спасения...

...Мелкий дождик уныло барабанит в окна невзрачных домишек поселка Вознесенские Вохмы, затерявшегося посреди лесов Архангельской губернии. Время позднее, но белая ночь осеняет этот северный край, и потому над лесами его и мшарниками, озерами и болотами, над тесовыми крышами изб брезжит прозрачный сумрак.

Над своим жалким, собранным с миру по нитке приемником склонился белокурый юноша, комсомолец Шмидт. Приемник хрипит. Шмидт ищет на столе среди всевозможных шурупов, проводов, болтов,

гаек, старых радиоламп, инструментов, но не находит нужной ему детали. Он встает, костлявый, пощеничьи неуклюжий, идет в общую кухню.

Шмидт шарит по столам, находит ежик, каким прочищают примусы, и хочет выдернуть из него несколько проволочек. Но тут в кухню, словно почуяв недоброе, врывается разгневанная хозяйка ежика.

— Ложи назад! — кричит она с порога. — Ишь, моду взял чужие ежики хватать!

— Да, Анна Мартыновна, мне только проволочку...

— Проволочку!.. Я, может, за этим ежиком в Архангельск ездила!..

— Я вам достану другой... право дело, достану!.. — лепечет Шмидт.

— Да у нас в Вохме их днем с огнем не найдешь!.. — гремит Анна Мартыновна.

На шум в кухню вышли соседи. Все осуждающе глядят на злоумышленника. Совсем затравленный, Шмидт, бормоча извинения, пытается улизнуть в свою комнату. Анна Мартыновна видит дыры на локтях его старенькой курточки, завитки давно не стриженных волос на тонкой юношеской шее, и ей становится жаль бедного энтузиаста.

— Постой! — сказала она властно. — Зачем тебе ежик?

— Для приемника... Барахлит приемник-то... Я ж, Анна Мартыновна, все Нобиле ищу...

— Ишь ты! Куда конь с копытом, туда и рак с клешней. Да ведь погиб он, твой Нобиль-то!..

— Это еще неизвестно, Мартыновна, — вмешалась соседка. — Может, он где на льдине плавает.

— Вот, вот! — обрадовался неожиданной поддержке Шмидт. — А у них рация должна быть. Знать бы только, где они находятся, их бы сразу спасли.

— Ну, если без моего ежика Нобиля спасти никак невозможно, тогда бери, — великодушно разрешила Анна Мартыновна, и осчастливленный Шмидт побежал к своей рации.

— Совсем повредился малый, — заметила соседка.

— Неужто лучше было бы, кабы он водку дул да в карты жарился? — возразила Анна Мартыновна.

— Да это верно. Смирный немчик, только блажной. Бывает, всю ночь радио гоняет, уснуть не дает.

Из комнаты Шмидта доносятся различные звуки: то щелканье ключа, то шумы вселенной: музыка, голоса, хаотичный рев, то печальное, нежное пиликанье чьих-то позывных, и снова музыка...

— Иной раз он красивое ловит: оперу или там балет, а бывает, все тюк да тюк, стучит, как дятел, аж голова трещит.

Распахивается дверь, на пороге потрясенный и бледный радиолобитель.

— Поймал!.. — говорит он заплетающимся языком. — «Италия»... Нобиле... Спасите наши души».

Он проходит мимо соседок, толкает дверь на улицу, в лицо ему ударяет ветер с дождем.

— Куда ты, непутевый? — кричит Анна Мартыновна. — Хоть бы плащ надел!

Но Шмидт не слышит. Анна Мартыновна берет в руки ежик и почтительно разглядывает.

— Ну, надо!.. На вид — тьфу, а поди ж!.. — непонятно только — относится это к Шмидту или к ежику.

...Местное почтовое отделение. Завитая барашком девица возвращает Шмидту составленную им телеграмму.

— Не приму.

— То есть как это?..

— Да вы что — смеетесь надо мной? — обиженно говорит девица. — Ишь чего придумал: «Москва, Кремль, Уншлихту»!

— А чего ж тут такого? — возмутился Шмидт. — Уншлихт — председатель комиссии по спасению Нобиле...

— Думаете, мы такая серость — газет не читаем?.. Да кто поверит, что вы Нобиле нашли! Лучшие специалисты стараются — и все даром...

— А я вот поймал!.. Ей-богу, поймал!.. Честное комсомольское. Вот вам крест!.. — Шмидт опускается на колени. — Прими телеграмму, девушка, будь матерью!..

— Когда пьешь, надо закусывать, — посоветовала девица.

— Ну ладно! — Шмидт вскочил. — Вы за это ответите! Там люди гибнут, а вы... вы!..

— Пойдите! — девица протянула руку к телефону, крутнула ручку. — Город!.. Город!.. — заголосила она с той характерной, противной интонацией, что почему-то считается обязательной у телефонисток для междугородных переговоров. — Город! Вознесенские Вохмы на проводе... Тут у нас любитель один требует, чтобы приняли телеграмму для товарища Уншлихта... Говорит, он Нобиле поймал... Что-о?.. Принять?.. Слушаю!..

...Газеты на русском, немецком, английском, французском, шведском, норвежском языках, и всюду на первой полосе крупным шрифтом помещены сенсационные сообщения о том, что молодой советский радиолюбитель поймал сигналы «Италии», и портрет Шмидта. Так выплыли из небытия забытые богом Вознесенские Вохмы, так стал, пусть ненадолго, знаменит скромный радиолюбитель комсомолец Шмидт...

...По набережной Осло идут трое: высокий, почти двухметрового роста, крепкий и гибкий, как сталь, легкий, как дух воздуха, Фритьоф Хансен, могучий, словно викинг из норвежских саг, герой и красавец Рийсер-Ларсен, курчавый, похожий на оперного тенора итальянский посол.

— Господин Хансен, — вкрадчиво говорит посол, — итальянское правительство настаивает на своей просьбе, чтобы спасательными работами руководил Рийсер-Ларсен.

— Есть более достойные кандидаты, — проворчал летчик.

— Вы отказываетесь? — вскинул голубые глаза Хансен.

— Когда речь идет о спасении людей, я не могу

отказываться. Но свое мнение я высказал! — раздраженно сказал Рийсер-Ларсен.

Они подошли к стоящей у причала парусной шхуне.

— Мои друзья по комитету спасения, господин посол, — любезно обратился Нансен к курчавому господину, — лучше чувствуют себя на воде, под парусами, чем в душном кабинете, поэтому я позволил себе собрать комитет в несколько необычных условиях.

Посол улыбнулся, поклонился и шаткой, неуверенной походкой направился по сходням на корабль.

— Я думаю, вы обойдетесь без меня, капитан, — грубовато-уважительно обратился к Нансену летчик.

— Вас разозлил этот господинчик?

— По чести — да! А кроме того, у меня назначено свидание.

Они обменялись рукопожатием, и Нансен лишь ему свойственной, летящей поступью поднялся на корабль.

Здесь собрались люди, открывшие новую эру в изучении Арктики.

— Знакомьтесь, господин посол, — представляет Нансен. — Отто Свердруп... Гаральд Свердруп... Капитан Вистинг... Руал Амундсен...

При последнем имени приторно-вежливая улыбка погасла на лице посла, он чопорно, чуть вкось наклонил курчавую голову.

Амундсен ответил холодным поклоном и отошел в тень.

— Господин посол! Дорогие друзья! — церемонно начал Нансен и тут же заговорил живо, непосредственно: — Хорошие новости, черт побери! Нас становится все больше. В поиски включились русские и уже отправили три ледокольных парохода: «Малыгин», «Ермак» и «Персей». На борту «Малыгина» — полярный ас Бабушкин...

— Простите, господин Нансен, — кисло сказал посол, — мне думается, несчастные мои соотечественники должны рассчитывать на помощь западного мира, а не на большевиков.

— Вот те раз! — по-мальчишески удивился Нансен. — Это почему же?

— Русские, конечно, могут сделать показной жест, но трудно заподозрить их в сочувствии итальянским военнослужащим.

— Вы не правы, господин посол, — в голосе Нансена поубавилось добродушия, — я знаю русских. Мне пришлось быть в России в тяжелейшую пору разрухи и повального голода....

— Ваша благородная деятельность по оказанию помощи голодной России общеизвестна, — с наилюбезнейшей улыбкой произнес посол.

Глаза Нансена сверкнули, а голос стал тем самым, который слышали на «Фраме» в тяжелые минуты.

— Я заговорил об этом вовсе не к тому, чтобы напомнить о своих заслугах. Могу вас заверить — русским в высшей мере присуще чувство международной солидарности. Оно не только в их идеологии — в их крови. Кто умеет с достоинством принимать чужую помощь, умеет и сам ее оказывать.

— Они правильно взялись за дело, — хриплым голосом отчаянного дымокура сказал коренастый, борода веером, Отто Свердруп. — Их летчик Чухновский выдвинул теорию, что лишь сочетание ледокола с самолетом принесет успех.

— Полностью согласен, капитан Свердруп, — подхватил Нансен. — Но что поделаешь, наша Норвегия — бедная страна. Она может дать корабли, едва ли способные осилить арктические льды, и самолеты с весьма ограниченным радиусом действия, правда, поведут их замечательные пилоты Рийсер-Ларсен и Лютцов-Хольм.

— Г-н Нансен, от имени итальянского правительства приношу глубочайшую благодарность, — сказал посол. — Вы перечислили все, что может сделать Норвегия в этих несчастных обстоятельствах.

— Поверьте, это не так мало для нашей страны! У нас есть летный клуб, но нет спортивных самолетов. Отдав на розыски два гидроплана, — Нансен усмехнулся в пожелтевшие от никотина усы, — мы до-

чиста обобрали наш военно-воздушный флот. И все же, — продолжал он серьезным, глубоким голосом, — это не то великое усилие, какое вправе ждать от страны, привыкшей быть первой во всем, что касается Арктики.

— Я полечу на поиски Нобиле, — слышался спокойный голос Амундсена.

Посол вздрогнул и потупился.

— Спасибо, Руал, я ждал этого, — просто сказал Нансен. — У вас есть самолет на примете?

— Нет.

— У вас есть средства?

— Нет.

— На что же вы рассчитываете?

— На то, что в мире всегда найдется безумец, готовый поставить на такую старую лошадь, как я.

— Вы полетите, Руал! — убежденно и тепло сказал Фритьоф Нансен.

...На бульваре, что на Карл-Иоганне, возле Национального театра, за крайним столиком летнего открытого кафе сидит Рийсер-Ларсен со своей невестой. Богатырь летчик кажется странно беспомощным рядом с маленькой, хрупкой девушкой, то и дело прижимающей носовой платок к льдисто-холодным глазам.

— Я больше не верю тебе, — сквозь слезы говорит девушка. — Ты опять нарушил слово! Наша свадьба откладывается уже в четвертый раз.

— Но, дорогая, что я могу сделать? — оправдывается Рийсер-Ларсен. — Кто-то должен спасти гибнущих людей!

— «Должен»! Я слышать не могу это слово! То ты «должен» лететь с безумным фанатиком Амундсеном к полюсу, то ты «должен» лететь с ним же через полюс. Но этот маньяк по крайней мере норвежец! А почему именно ты «должен» выручать какого-то авантюриста-макаронника? Что, у итальянцев нет своих летчиков?

— Но, дорогая, нельзя же...

— Можно! Если ты настолько человек долга, то вспомни, наконец, о своем долге в отношении меня! —

и, вдруг изменив тон на нежный и печальный, она сказала: — Ты просто не любишь меня.

— Не смей так говорить! — почти грубо крикнул Рийсер-Ларсен.

Девушка оценила искренность и силу чувств, проравшихся в его резкости.

— Тогда поклянись, что это последняя отсрочка.

Рийсер-Ларсен поднял руку.

— Клянусь, — сказал он торжественно. — Как только я покончу с этим делом, мы обвенчаемся.

— Если ты меня опять обманешь, я выйду за другого, — полушутя, полусерьезно предупредила девушка...

...В красной палатке люди едят обед, состоящий из пеммикана. С отвращением отправляя в рот зеленую массу, Бегоунек говорит:

— В детстве я увлекался книжками про индейцев. Там всегда едят пеммикан. Как аппетитно звучало это слово... Неужели благородные индейцы ели такую гадость?

— Что вы, Бегоунек! — возмутился Чечиони. — Вы слишком плохого мнения о краснокожих. Титина!.. Титина!.. — позвал он, протягивая на ладони комочек пеммикана, но собака заворчала и отползла прочь.

— Мой генерал!.. Мой генерал!.. — в палатку ворвался Биаджи. — Я заслужил премию, генерал!

— Вы связались с «Читта ди Милано»? — в волнении вскричал Нобиле.

— Да! Давайте премию, генерал!

— Вы сообщили им наши координаты?

— Нет, только номер своего военного билета.

— Вы бредите?

— Ничуть! Они потребовали, и я...

— Вы стали жертвой чьей-то глупой шутки!

— Вот еще! Я узнал почерк Педретти, моего дружка. Они, видать, не верят, что это мои сигналы, ну и решили проверить.

— Боже мой! Какие идиоты! Какие опасные идиоты! — Нобиле заломил руки. — Я узнаю в этом почерк капитана Романьи... Но вам все равно полагает-



ся премия. — Он достал из-под надувной подушки большую, толстую плитку шоколада и протянул ее радисту.

— Боже мой! — Биаджи потрясен. — И все это мое? Если б бедная Анита видела! Сроду мне не доставалось даже маленькой плиточки. Это лучшая минута моей жизни. Наконец-то я налопаюсь шоколада! — И тут он замечает жадные взгляды товарищей по несчастью. Как зачарованные глядят они на шоколад. Чечиони облизывает губы, Трояни глотает слюну, Бегоунк растерянно улыбается, лишь Вильери мужественно отвернулся.

Глубоко вздохнув и подавив разочарование, Биаджи стал ломать шоколад и по кусочку раздавать товарищам. Но процедура дележа показалась ему чересчур мучительной.

— Нате вам всю плитку, — сказал он, — дайте мне кусочек...

...Химеры собора Парижской богородицы с неизменной печалью и злобой взирают на темную воду Сены, отражающую вечерний свет фонарей. На набережной в маленьком бистро за круглым колченогим столиком расположилась группа французских летчиков: знаменитый ас первой мировой войны майор Гильбо, один из лучших французских бортмехаников, пожилой морщинистый Брази, добродушный радист Валетта.

— Ну, долго вы еще будете томить нас неизвестностью, командир? — обращается к Гильбо бортмеханик.

— Что за нетерпение, Брази! Разве вам не нравится сидеть просто так, без всяких забот, пить вино и смотреть на Сену?

— Чтобы в момент полной расслабленности получить удар ниже пояса? — нахмурился Брази.

Гильбо засмеялся.

— Какая пронизательность!

— Да уж мы достаточно изучили вас, — проворчал Брази. — Выкладывай, Валетта!

— Сдается нам, командир, что вы изменили планы, — радист отпил вина, чтобы прочистить горло. —

И собираетесь лететь не на поиски Нюнгессера и Колио, а совсем в другую сторону.

— Ну, а если так? Со времени исчезновения наших друзей прошло больше двух лет, им уже не можешь. А ведь есть люди, действительно нуждающиеся в помощи.

— Нобиле и его команда?

— Конечно.

— Не нравится мне это, — сказал Брази. — Не люблю, когда меняют планы в последнюю минуту. Это пахнет авантюрой. К тому же ни мы, ни наш «Латам» не знаем севера.

— Мы-то не знаем, — начал Гильбо, и тут внимание его привлек высокий летчик в кожаной куртке и пилотке, лихо надвинутой на левую бровь. У летчика были вздернутый нос, круглые рассеянные глаза и грустный рот.

— Сент-Экс! — закричал Гильбо.

Пилот растерянно оглянулся, увидел Гильбо и пошел к нему с протянутой рукой.

— Здравствуйте, Антуан, — сердечно сказал Гильбо. — По обыкновению, что-нибудь потеряли?

— Да, я потерял самое дорогое — золото человеческого общения. Гийоме надул меня и не пришел.

— Не льстим себя надеждой заменить его, но все же знакомьтесь: Брази, Валетта. Мой друг — Сент-Экзюпери, летчик и писатель.

— Бросьте смеяться, Гильбо. Писатель! Автор одного недоношенного рассказа.

— Мы встречались в Бизерте, — сказал Брази.

— Совершенно верно! Вы были там на «латаме-47»!

— Странное совпадение! — вскричал Гильбо. — Мы только что говорили об этой летающей лодке!

— В какой связи? — Сент-Экзюпери сел за столик и рассеянно взял чужой бокал.

— Я предлагал этим господам маленькое путешествие, но мне не удалось соблазнить их. А вы откуда сейчас, Антуан?

— Из Кап-Джуры, всего на несколько дней. Рас-

скажите мне о вашем путешествии, я безнадежно застоялся в пустыне.

— Речь идет о том, чтобы под командой славного Амундсена отправиться на поиски Нобиле.

Брази и Валетта выразительно переглянулись.

— Возьмите меня с собой! — вскричал Сент-Экзюпери. — Я люблю старика. Нет ничего бессмысленнее и возвышеннее этой одинокой фигуры. Каждый путешественник чего-то ищет, он один гоняется за призраками. Последний романтик века! Все остальные исследователи рядом с ним просто старьевщики. Возьмите меня, Гильбо, моя рассеянность в сочетании с вашей отвагой и его абстрактным практицизмом сотворяют чудеса!

— Кем я могу вас взять, Сент-Экс, бортмехаником, радистом?

— Простите, командир, эти места заняты, — хрипло сказал Брази.

— Я слышал, что бедняге Кувервилю ампутировали три пальца, — сказал Экзюпери. — Значит, вам понадобится второй пилот?

— Даже если бы ему ампутировали голову, Кувервиль все равно полетел бы.

— И был бы прав. В такой полет лучше отправляться без головы. Значит, сорвалось. Что ж, буду сидеть в Кап-Джуре, изображать движущуюся мишень для арабских пуль и дописывать никому не нужную повесть.

— Не прибедняйтесь! — возмутился Гильбо. — Я читал ваш рассказ, вы единственный человек, которому я позволил бы писать о летчиках!..

...В главном городе Шпицбергена Нью-Олесунде, насчитывающем не меньше двух десятков домов, непривычнолюдно и шумно. Кроме «Читта ди Милано», в бухте Кингс-Бей находятся шхуна «Браганца», норвежское судно «Хобби», шведские «Тания» и «Квест». Отсюда уже начали разведывательные полеты Рийсер-Ларсен и Лютцов-Хольм, итальянцы Мадалена и Пензо; сюда прибыла шведская летная группа в составе Турнберга, Кристеля, Лундборга и Шиберга; отсюда снаряжают санную экспедицию под начальст-

вом капитана альпийских стрелков Сора. Сюда съехались корреспонденты из разных стран.

Столовая, тонущая в клубах табачного дыма. Это скромное помещение с деревянными столами и лавками стало как бы ночным клубом нью-олесундских новожилов. Официально здесь пьют только какао из глиняных кувшинов, но, судя по красным лицам и шумному поведению присутствующих, сухой закон подвергается весьма серьезному нарушению.

Сюда только что зашли после полета Рийсер-Ларсен и Лютцов-Хольм, в летных комбинезонах и кожаных шлемах. Взяв по кувшину какао, они присели с края длинного стола. Особенно шумно ведут себя шведские летчики, представленные наиболее мощным отрядом.

— Ну и ну! — оглядев многолюдное сборище, с огорчением сказал Лютцов-Хольм. — Боюсь, что нам не видать приза!

— В данном случае это не самое важное, — сухо ответил Рийсер-Ларсен.

В шведской группе выделяется громким, уверенным голосом румяный пилот, являющий собой как бы среднеарифметический тип шведского мужчины тридцати лет: в меру высок, в меру упитан, в меру благообразен, без особых примет.

— Бросьте, Кристель! — насаждает он на другого пилота с милым, скромным лицом. — Я большевиков знаю как облупленных. Я давал им жизни под Мурманском и в Финляндии и надеюсь обставить их сейчас. Да и на что способна нищая Россия!

— Нищая Россия уже отправила три корабля, — заметил Турнберг. — Кстати, Бабушкин нашелся и снова ведет разведку.

— Бабушкин не страшен, он летает там, где Нобиле и в помине нет.

— Кто этот хвостун? — спросил Лютцов-Хольм.

— Лундборг.

— Большой летчик?

— Большой летчик — Турнберг, хороший летчик — Кристель, а Лундборг просто опытный и достаточно смелый пилот...

Входит журналист в коротких широких брюках — никкербокерах.

— Последние сообщения, господа! На поиски выходит советский ледокол «Красин», самый мощный в мире!

Лундборг привскочил.

— Кто там главным?

— Профессор Самойлович.

— Я не о том, — пренебрежительно отмахнулся Лундборг. — Кто на крыльях?

— Чухновский.

— Не знаю, — высокомерно уронил Лундборг.

— Напрасно, — сказал капитан Турнберг. — Я следил за его полетами на севере. Это опытный и знающий человек.

Летчик Кристель запеваёт песню, остальные шведы подхватывают:

Как хорошо мне с девочкой в кабине!..

Лундборг самозабвенно играет на губной гармонике. Глаза его так и горят.

— На льдине, верно, настроение несколько хуже, — заметил Лютцов-Хольм.

— Должен тебе сказать, — как-то очень серьезно проговорил Рийсер-Ларсен, — что меня вовсе не шокирует вульгарное веселье, царящее в этом караван-сараяе. При всем мелком, эгоистическом и вздорном, чего тут с избытком, людей по-настоящему радует, что они наконец-то делают общее дело, причем хорошее дело. Это не часто случается в человечестве. Люди разных наций порой объединяются для войны, но никогда для чего-нибудь путного...

...В Ленинградском порту снаряжается в дальний путь крупнейший в мире ледокол «Красин». Он стоит, большой, холодный, не горит еще огонь в его топках, не валит дым из высоких труб, и все же ему подчинена вся деятельная жизнь грузового порта. К ледоколу устремляются буксиры с баржами, грузовые пароходики, катера, угольщики. К нему подъезжают посуху колонны грузовиков-магирусов, тащатся подводы с продовольствием и снаряжением.

И на самом ледоколе идет напряженная жизнь: в бункера засыпают уголь; трюмы загружают продуктами, питьевой водой. Руководит погрузкой старпом Пономарев, небольшой, крепкий, с простым умным лицом.

— Бери воду, товарищ Пономарев!.. Акимыч, слышь, бери воду, с утра стоим! — зывают с водолея.

— Доставлены лыжи, где складывать? — орут с нижней палубы.

— Привезли винтовки!.. Принимай!.. — кричат с катерка.

— Копченая колбаса!..

— Динамит!..

— Консервы!..

Грузится корабль — через три дня выходить.

Капитан корабля, высокий молчаливый эстонец Эгги, стоит у сходней с погасшей трубкой в зубах. Сюда то и дело подходят разные люди, которым волей судьбы, а то и собственного настойчивого желания предстоит участвовать в походе «Красина».

— Корреспондент «Комсомольской правды», — представляется капитану один.

— На погрузку угля, — равнодушно командует Эгги.

— Корреспондент «Вечерней Москвы», — представляется другой.

— На погрузку угля!

— Оператор кинохроники!

— На погрузку угля!

Подошла маленькая, тонкая, белобрысая девушка лет восемнадцати.

— Я уже знаю — на погрузку угля! — опережая Эгги, сказала она.

— Документы! — с легким удивлением произнес капитан.

— Корреспондент «Труда» — Люба, — представилась девушка.

— Документы! — нетерпеливо повторил капитан.

Девушка протянула ему какую-то бумажку.

— Во-первых, вы внештатный работник, — без-

жалостно сказал Эгги, — во-вторых, у вас нет направления, в-третьих, не вертитесь под ногами.

К ледоколу подходит большая группа рослых людей, в их поры навечно въелась угольная пыль. У каждого деревянный сундучок; с такими вот немудреными, крепко сбитыми сундучками спокон веку отправлялись русские люди и на военную службу, и в далекое плавание, и в неизвестность на поиски лучшей доли.

При виде этой матерой компании просветлело суровое лицо капитана.

— Привет горячему цеху! — радостно произнес он. — Товарищу Косенкову, — добавил уважительно, протягивая руку огромному, с седым ежиком кочегару, похожему на стареющего циркового борца. — Как это тебя отпустили?

— Отпросился, — добродушно пробасил кочегар. — Надо ж людям помочь.

— А ну, повернись, сынку, экая на тебе смешная свитка! — весело сказал Эгги молоденькому кочегарику, одетому в кургузый пиджачок, купленный, видать, в заграничии.

— В самую точку! — радостно согласился кочегарик и взбежал по трапу.

— Так... — мрачновато сказал Эгги, разглядывая без особой приязни следующего кочегара: красивое, порочное, припухлое лицо, почти белые глаза в красных обводьях. — Спихнули тебя с «Седова», Балясный?

— Взаимное охлаждение, — нагло ответил Балясный. — Не сошлись характерами.

— Учти, Балясный, здесь ни буза, ни филон не пройдут. Не тот случай.

— Ладно, кэп, все будет как в детстве: светло и чисто.

— И ты, товарищ Филиппов, здесь? — с особым теплом обратился Эгги к осанистому, средних лет кочегару. — А мне сказали, в отпуск ушел.

— Меня почти что с поезда сняли, — с неторопливым достоинством отвечает кочегар. — Говорят, надо

Нобилия спасать. Слушай, капитан, успею я к своим старикам в Курщину на яблоки?

— Успеешь... к ранним сортам.

За кочегарами, стараясь держаться как можно уверенней, подходят два паренька.

— Вы кто такие?

— Стюарты, — пробормотали ребята.

— Значит, из английского королевского дома, — спокойно сказал Эгги. — А у нас советский корабль.

А ну, марш по домам!

— Товарищ капитан... — жалобно завели ребята.

— Я что сказал? Здесь не детский сад!..

По сходням спустился озабоченный Самойлович.

— Товарищ Эгги, Чухновский не появлялся?

— Ждем с минуты на минуту, — отозвался Эгги.

Люба, слышавшая этот разговор, оживилась и побежала к воротам порта.

На двух подводах везут к ледоколу разобранный на части «юнкерс»: отдельно крылья, отдельно фюзеляж.

Люба подбегает к летчикам, сопровождающим первую подводу.

— Скажите, вы не Чухновский? — обращается она к рослому пилоту.

— С вашего позволения, я Алексеев, — подчеркнуто вежливо отвечает летчик. — Начальник летной части Борис Григорьевич Чухновский пребывает в арьергарде. — Он указывает на худошавого стройного летчика, шагающего возле подводы с фюзеляжем.

Люба подбегает к Чухновскому.

— Борис Григорьевич, помогите мне!..

Гудки пароходов, сирена, шум порта заглушают слова, но видно, что Люба пытается убедить в чем-то Чухновского, а тот лишь улыбается в ответ да разводит руками. Люба отстает и понуро смотрит вслед летчикам, сопровождающим свой драгоценный груз на ледокол.

Чухновский уже подходил к трапу, когда за его спиной прозвенел отчаянно-жалкий голос:

— Товарищ Чухновский, возьмите меня с собой!



Летчик обернулся, на него с мольбой и доверием смотрели два ярко-синих глаза.

— Я, правда, собкор «Труда», мои заметки там печатались, — говорила девушка, не отставая от летчика. — И еще я на коротковолновика училась и курсы медсестер кончала... Я стираю очень-очень чисто и посуду хорошо мою, правда...

— Ну, вот и вы, — невозмутимо приветствовал Чухновского Эгги. — А мы уже заждались...

Застенчиво улыбнувшись, Чухновский ступил на трап.

— Товарищ Чухновский! — прозвенело отчаянно.

— Опять?.. — сурово сказал Эгги, заступив девушке путь.

— Пустите!.. Я с Борисом Григорьевичем!..

Чухновский обернулся.

— Похоже, что так! — он развел руками. — Это на редкость многогранный и дьявольски упорный товарищ, а такие нужны в экспедиции.

И Эгги отступил — ведь Чухновский был заместителем Самойловича.

Девушка гордо прошла мимо него, а потом совсем по-детски взяла Чухновского за руку, словно боясь, что ее вернут назад...

...Угольная гавань. Здесь стоит «Красин», убранный флагами. Огромная толпа провожающих, знамена, транспаранты: «Даешь Нобиле!»

Красинцы прощаются со своими близкими, друзьями...

...Ледовый лагерь. В красную палатку с радостным криком вбегает Биаджи:

— Генерал! Генерал! Счастливая весть. Амундсен вылетел нам на помощь. Завтра будет в Кингс-Бее.

— Благородное сердце! — с чувством сказал Нобиле, и у него пресеклось дыхание. — Передайте на «Читта ди Милано», чтоб все участвующие в спасении подчинялись Амундсену. Передайте, что мы гордимся его помощью.

Биаджи побежал исполнять приказание. Нобиле повернулся к Бегоунеку.

— Он победил, и я, право, не жалею о его победе.

Бегоунок хотел ответить, но какой-то странный шум привлек его внимание.

— Вы слышите?.. Или у меня слуховая галлюцинация?.. Вы слышите, генерал?..

Откинулась дверца палатки, показалось бледное лицо Вильери.

— Генерал, над нами самолет!

— Это Амундсен! — вскричал Нобиле.

Бегоунок и Вильери подхватили Нобиле и вытащили наружу.

— На самолете есть рация! — крикнул Биаджи. — Я держу с ними связь!

Из облаков прямо над льдиной вынырнул большой самолет «савойя». Он протащил по снегу свою тень, и все увидели на крыльях итальянские опознавательные знаки.

— Это Мадалена! — восторженно закричал Нобиле. — Только он рискует так низко летать!

Дружное «ура!» прокатилось над льдиной, люди кричали, размахивали флажками. А потом наступило горькое похмелье.

— Передайте, чтоб сбрасывали продукты! — приказал Нобиле радисту.

— А разве он не сядет? — разочарованно спросил Бегоунок.

— Вы что, не видите — это гидроплан. Для посадки ему необходима вода.

От самолета отделяются и падают на лед темные тюки, подпрыгивают, катятся по глади льда, некоторые разрываются, разбрасывая далеко окрест свое содержимое. Другие попадают в полыньи и скрываются в темной воде. И хотя над всеми тюками распахиваются маленькие парашютики, сила удара такова, что добро уничтожается прямо на глазах потерпевших. С болью видят они, как разбиваются вдребезги аккумуляторы, ломаются винтовки, разлетаются брызгами патроны, тонут в прорубях мешки с одеждой и продуктами. А самолет, помахав крыльями, ложится на обратный курс и вскоре исчезает в тумане.

Люди еще прислушивались к затухающему гулу

моторов, когда широкая трещина разломила льдину и маленький Трояни провалился в воду.

— Спасайте раненых!.. Продукты!.. Палатку!.. — закричал Нобиле.

Вода грозно вздувается в трещине, дающей новые излучины. Черная, напористая, она смывает тюки, сброшенные Маддаленой, подхватывает мороженую медвежатину, наваленную возле палатки, и уносит под лед. Она стремится слизнуть лагерь своим жадным языком.

— Бегоунок, тащите Чечиони! — крикнул Вильери. — Да пошевеливайтесь, тюфяк вы этакий!

Сам он схватил на руки Нобиле и перенес через трещину, затем вернулся назад и принялся валить палатку. Биаджи подхватил рацию. Трояни, вымокший до нитки, тащит тюки с продовольствием. Бегоунок подставил спину Чечиони. А трещина зримо превращается в канал, все трещит, рушится казавшийся таким прочным лед. Смертельная опасность нависла над лагерьем...

...По главной улица Тромсё идет Амундсен со своим другом и соратником по многим походам капитаном Вистингом. На Амундсене меховой комбинезон и унты, Вистинг в партикулярном платье и морской фуражке. Немногочисленные прохожие здороваются с Амундсеном, он отвечает им с обычной, чуть старомодной вежливостью. Они идут мимо двухэтажных каменных домов заполярного городка, по тротуару, сложенному из плитняка, и выходят к окраинной части, глядящей на узкий, как река, синесверкающий Тромсё-фиорд.

— Какое странное сегодня солнце, — сказал Амундсен. — Оно словно набухло кровью.

— Обычное июньское солнышко, — возразил Вистинг.

— И какой странный воздух, — словно не слыша, продолжал Амундсен, — он свеж и горек, как воздух на старом сельском кладбище.

— Обычный воздух, пахнувший морем, — Вистинг чуть помолчал, — Можно говорить с вами на чистоту?

— Конечно, Вистинг. Я не признаю другого разговора между нами.

— Вы мне не нравитесь, капитан. Я еще никогда не видел, чтобы вы пускались в путь в таком настроении.

— Не удивительно, друг мой. Я всегда был хозяином положения, а сейчас я беспомощен. Это не мое предприятие, Вистинг, и потому оно не может быть мне по душе.

— Тогда лучше не лететь!

— И оставить потерпевших без помощи? Нет, надо доигрывать до конца свою игру.

— Вы верите в предчувствия?

— Конечно! Сумма реальных неблагоприятий вызывает сомнение в счастливом исходе — это и есть предчувствие. Нельзя в Арктике летать в одиночку, к тому же на таком гробе, как «латам».

— Вы обязаны взять меня с собой.

— Самолет и так перегружен.

— В Арктике всегда летают с перегрузкой.

— Да, но не на «латаме», он просто не поднимется. К тому же у меня в отношении вас другие планы. — Амундсен подает ему запечатанный конверт. — Вы знаете мою щепетильность. Я сойду с ума в раю при одной мысли, что люди решат, будто я бежал туда от долгов. Здесь все распоряжения, касающиеся моих издательских и прочих дел, я полагаю, это даст возможность полностью удовлетворить кредиторов.

— Не беспокойтесь, капитан, — хрипло сказал Вистинг, — но...

— Нобиле — роковой человек, — очень серьезно сказал Амундсен. — Он распространяет вокруг себя ауру неудачи и гибели. — Я это почувствовал с первой встречи.

— Я не о том хотел сказать. Если вопреки предчувствиям вы благополучно приземлитесь в Кингс-Бее...

— Мы немедленно вызовем вас, — Амундсен улыбнулся, — и будем чередоваться в полетах. Но лучше проститься до иной, более дальней встречи.

Они обнялись.

— Неужели так все и кончается? — тихо спросил Вистинг.

— Разве это плохой конец? — почти надменно сказал Амундсен. — Море — самая подходящая могила для Амундсена.

— Но вы же не один! — возмутился Вистинг.

— Вы думаете, я что-нибудь скрыл от Гильбо, Дитрихсена и всех ребят? Только бабы и врачи боятся разговоров о смерти. Экипаж знает, на что идет.

— Простите, капитан!

Они свернули за кирпичную ограду, и взгляду их открылся Тромсё-фиорд, гигантская толпа на набережной, крошечная желтая точка самолета на сверкающей воде.

— Идем! — сказал Амундсен. — Отдадим последнюю дань суете жизни.

Они стали быстро спускаться к набережной. Здесь собралось почти все десяти тысячное население Тромсё: женщины держат на руках младенцев; опираясь на клюку и костыли, стоят древние старцы. Горят яркими красками национальные костюмы лапландцев: балахоны, расшитые красными и синими полосками материи, сарафаны со множеством юбок, башенные головные уборы и амулеты женщин. И вся эта пестрая толпа, увидев Амундсена, раздражается приветственными криками.

Команда самолета уже в сборе. Маленький человек с гладкой лысиной в ореоле легких седых волос подает Амундсену отчаянные призывные знаки.

— Мой друг аптекарь должен сделать традиционный снимок, — улыбнулся Амундсен.

Он подошел к экипажу и занял место в центре, по одну руку — Гильбо, по другую — Лейф Дитрихсен, по сторонам от них — де Кувервиль, Брази и Валетта. Солнце позолотило их сильные лица, и Вистингу на миг привиделась торжественная оцепенелость монумента, словно Амундсен и его товарищи стали памятником самим себе.

Суматоха прощаний, маленький духовой оркестр исполняет любимый марш Амундсена, и вот уже лодка несет экипаж «латама» к покачивающемуся на вол-

нах самолету. Амундсен мог быть доволен: жизнь в единстве людей и природы послала ему щедрую прощальную улыбку. Никогда еще так не сверкало море, не блистало солнце, не синело небо, не сияли добром и приветом человеческие лица.

Быстро и ловко члены экипажа поднялись на воздушный корабль. Взревели моторы, но их шум потонул в тысячеголосом «ура!».

Лишь с третьего захода перегруженный самолет взмыл в небо и стал быстро таять вдали. Стоящий рядом с Вистингом маленький аптекарь надрывно заплакал.

...Медленно, тяжело перебираются с одного ледяного валуна на другой Мариано, Цаппи и Мальмгрен. Их радужные надежды в короткий срок достигнуть Большой земли развеялись в прах. Лед, по которому они идут, не стоит на месте, он движется, отдаляется от берега, уже не различимого сквозь туман смутными очертаниями. Каждодневное мучительное продвижение вперед несчастных путников уничтожается попятным движением льда. Мальмгрен выбился из сил. Он то и дело спотыкается, падает. Мариано помогает ему подняться, в то время как Цаппи наблюдает за этим доброхотством с нетерпеливым раздражением. Кажется, что Мальмгрен пребывает в трансе, веки его полуприкрыты, тень близящейся кончины залегла под глазами.

Он снова падает и с силой ударяется левой половиной тела о ледяной торос. Мариано наклоняется над ним, но Мальмгрен не принимает помощи. Теперь глаза его широко открыты, он принял решение, и это сообщило ему короткую бодрость.

— Ну, я сделал все, что мог. Дальше я не иду.

— Перестаньте, Мальмгрен!..

— Слушайте меня внимательно. Со мной все ясно. Последнее, что мне осталось, — это не мешать вам. Разделите остатки моего пайка, возьмите теплую одежду и ступайте вперед.

— Довольно! — резко сказал Мариано. — Обопритесь на мое плечо.

Он попытался приподнять Мальмгрена, но по то-

му, как смертельно выбелилось его лицо, понял, что ему действительно не встать.

— Что с вами? — в отчаянии вскричал Мариано.

Вместо ответа Мальмгрен обнажил ногу, и Мариано с ужасом увидел отставшую кожу и гниющие мышцы.

— К тому же на этот раз я, кажется, доломал свою левую руку, — спокойно сказал Мальмгрен.

— Мы не можем бросить вас...

— Вы обязаны это сделать не ради себя, а ради тех, кто остался там.

— Я думаю, Мальмгрен прав, — тихо сказал Цаппи.

— Замолчите, Филиппо!.. Мы понесем вас!

— Нет! — вскричал Мальмгрен. — Послушайте, Мариано, я знаю север лучше, чем вы. Арктика не любит сентиментальности. Помогите мне добраться вон до того грота, там я и останусь.

Мариано молчит, из глаз его текут слезы и замерзают светлыми полосками на грязной, заветренной коже щек. Цаппи подходит к Мальмгрену и с удивительной ловкостью помогает ему встать и сделать несколько шагов к гроту — довольно глубокой, наклонно расположенной яме в ледяном торосе.

Но и на этом кратком пути Мальмгрен лишился сознания. Он пришел в себя, когда Цаппи почти уже опустил его в ледяную могилу.

— Не смейте! — яростно кричит Мариано и кидается к гроту.

— Спокойно, Мариано! — слышится по-новому властный голос Мальмгрена. Толкнувшись руками, он совсем сполз в яму. — Смерть от замерзания — легкая смерть, это просто сон, от которого не просыпаются. А снится тепло. Понимаете, как это чудно: уснуть в тепле!

— Можете говорить что вам вздумается, Мальмгрен, но без вас мы не уйдем.

— Уйдете! — Мальмгрен совсем скрылся в яме, затем оттуда вылетели его меховые унты и малица.

Мариано хотел швырнуть одежду обратно, но Цаппи помешал ему. Мариано опустился на снег и

закрыв лицо руками. Цаппи подошел к краю ледяной могилы.

— Что передать на родину, Мальмгрен?

— Если б вы были шведом, я просил бы вас поклониться Упсале, где я долгое время работал... Там высокие деревья и горластые галки, и еще я очень люблю бой старых соборных часов, но вы не швед, и все это вам ничего не говорит... — Мальмгрен выкинул наружу шерстяные брюки, свитер, шерстяную рубашку.

— Я не силен в пейзаже, Мальмгрен, что передать людям?

— Если бы вы были шведом, я просил бы вас просто посмотреть на одну маленькую девушку по имени Анна. Она учится в Упсале. Мне было бы радостно думать, что вы увидите ее под большими деревьями, и будут кричать галки, и отбивать время соборные часы. Но вы не швед, и все это вам ничего не говорит.

Он швырнул легкие суконные брюки, шерстяные носки, нательное белье. Лишь его голые руки мелькают над краем ямы.

— Это невыносимо! Одумайтесь, Мальмгрен! — закричал Мариано.

— Чепуха! Мальмгрен ведет себя как настоящий мужчина, а ты как слезливая баба! — накинулся на друга Цаппи. — Мы обязаны думать о наших товарищах, они ждут помощи. Бесчестно жертвовать ими ради нашей привязанности к Мальмгрену.

— Прислушайтесь, Мариано, — донеслось из ямы, и в голосе Мальмгрена отчетливо прозвучали насмешливые ноты.

Мариано громко зарыдал.

— Что передать вашей матери, Мальмгрен?

— Передайте мой компас. Слова не нужны, она и сама поймет, что со мной было все в порядке.

Мариано вдруг кинулся к яме, Цаппи загородил ему путь. Между ними происходит борьба. Физически более крепкий Мариано надорван морально, и Цаппи удается отшвырнуть его прочь от ямы. Мальмгрен слышит эту возню.



— Будьте мужчиной, Мариано! Уходите! Уходите, черт бы вас побрал!

— Уходим, уходим, дорогой Мальмгрен! — кричал Цаппи. — И в доказательство моего к вам безмерного уважения я подчиняюсь вам во всем. Вот я забираю вашу одежду, забираю ваши продукты и клянусь вам, мы выполним свой долг. Да хранит вас господы!

— Уходите! — глухо донеслось из ямы.

Подталкивая Мариано, Цаппи повлек его прочь. Некоторое время они шли не оборачиваясь, затем Мариано оступился, и это вывело его из оцепенения. Он посмотрел назад — торосы скрыли ледяную могилу. Мариано вздохнул, и шаг его стал тверже. Решив, что кризис миновал, Цаппи заговорил оживленно:

— Мальмгрен великолепно держался, я потрясен этим человеком...

— Ты можешь помолчать? — измученным голосом произнес Мариано. — Можешь ты помолчать или нет?

— Тише, тише, — успокаивающе сказал Цаппи. — Не распускайся.

Мариано зажал уши и опустился на ледяную глыбу. Цаппи остановился, скинул со спины мешки.

— Давай поделим его одежду!

— Не желаю!

— Вольному воля! — Цаппи стал натягивать на себя одежду Мальмгрена.

Отсюда снова стала видна ледяная могила. Мариано неподвижно смотрит в сторону. И, словно почувствовав этот взгляд, Мальмгрен высунул голую тонкую бледную руку и несколько раз махнул, словно говоря: уходите, уходите, уходите!..

Шатаясь как пьяный, Мариано встал и слепо побрел прочь...

...Девушка в красной юбке и белой кофточке, с яркими лентами в белокурых волосах с разбегу перепрыгнула через косматое пламя можжевельного

костра. Следом за ней пламя пронизал красивый, нарядный парень в лакированных сапогах. Неподалеку звучит музыка, там пляшут, водят хороводы... И вдруг что-то крикнула девчонка с береговой кручи. Молодые люди, разом разлучившись с весельем, бегут на берег моря. Сложив руки рупором, они кричат проплывающему мимо большому кораблю под советским флагом:

— Спасите нашего Амундсена!..

И красинцы, любующиеся с палубы праздником Ивана Купалы, слышат этот горестный призыв...

...По улицам городка к набережной бегут люди: мужчины, женщины, дети. Бегут рыбаки в зюйдвестках, моряки в бушлатах и флотских фуражках, продавцы в белых нарукавниках, чиновники в аккуратных пиджачках, школяры в замшевых штанах и свитерах. Вся эта толпа с ходу штурмует пристань и на весельных, моторных, парусных лодках устремляется к медленно входящему в фиорд «Красину».

— Спасите нашего Амундсена! — кричат из лодок. — Спасите Руала Амундсена!..

...Рыбаки на катере выбирают сеть. Серебряным водопадом низвергается на палубу жирная сельдь. И вдруг что-то крикнул их старшина — кряж с рыжей бородой на шее. Бросив сеть, рыбаки устремились к борту.

Старшина пустил мотор, и катер помчался по мелкой тугой волне навстречу густо дымящему «Красину».

— Спасите нашего Амундсена! — грубыми, простуженными голосами орут рыбаки. — Эй, на ледоколе, спасите нашего Амундсена!

И весь последующий путь, пока «Красин» не вышел в открытое море, сопровождала его эта мольба о помощи. Кричали молодые люди с озаренных кострами скал, кричали рыбаки с парусных шхун, охотники-промысловики с островов; казалось, самые скалы присоединяли свои тоскливые голоса к призыву спасти того, кто был славой, гордостью, честью Норвегии...

«Красин» достиг северных широт. Ледяные нагро-

мождения обступили ледокол. Лишь по бортам тянется узкий оком воды.

Стоя на капитанском мостике, Эгги командует:

— Полный назад!..

И почти вслед за тем:

— Полный вперед!..

Ледокол, получая разбег, ударял всей своей массой в толщу льда и проламывал его. Каждый такой маневр позволял выиграть всего несколько метров, и все же это было движением к цели.

— Полный назад!..

— Полный вперед!..

В радиорубке дежурный радист вручил Любе Воронцовой две толстые пачки телеграмм.

— Держи, это для Самойловича, это Чухновскому.

Люба побежала на палубу, где в это время находились начальник экспедиции и его заместитель по летной части. «Красин» продолжал таранить льды, сочетая короткий разбег с мощным ударом.

— Ого!.. — сказал Самойлович, просматривая телеграммы. — Целый воз добрых слов из Японии... Австралии... Канады... А вот отечественное послание: композитор предлагает создать оперу: «Красин» во льдах». Хорош я буду на оперной сцене!

— Не разделяю вашего веселья! — резко сказал Чухновский. — Меня все спрашивают об одном: почему не ведется воздушной разведки.

— Рано, Борис Григорьевич, рано, дорогой!

— Как бы не стало слишком поздно! Льдину относит к югу, начнется таяние льдов — каюк красной палатке! — сейчас Чухновский совсем непохож на того скромного до застенчивости человека, каким мы знали его вначале, он резок и напорист.

— О каком таянии вы говорите? Посмотрите кругом...

— Перед людьми стыдно!.. Летают все: норвежцы, шведы, итальянцы, финны...

— Честь и хвала их мужеству! — с силой произнес Самойлович. — Но все это кустарщина. Только сочетание ледокола с самолетом принесет успех.

Кто сказал это первый? Чухновский... Мы не имеем права на неудачу. И дело тут вовсе не в престиже — это убьет надежду в людях...

— Может, лучше вообще не летать? — горько сказал Чухновский.

— Ну зачем же так! — улыбнулся Самойлович. — Просто мы должны подойти как можно ближе к району дрейфа и действовать наверняка.

— Это все теория! — вскричал летчик. — А в это время Мальмгрен погибает от голода, Амундсена носит по волнам!.. — Чухновский не договорил.

Случилось нечто странное: ледокол вдруг резко повело влево, затем вправо, словно он лишился управления. Капитан Эгги в отчаянии схватился за голову.

Мимо пробежал встревоженный старпом Пономарев.

— Что случилось? — крикнул Самойлович.

Но старпом уже скрылся.

...Вильери и Бегоунек закрепляют красную палатку на новом месте. Чечиони разбирает уцелевшие продукты. Биаджи настраивает рацию. Они выиграли схватку со льдом, но какой ценой! Одежда порвана, обувь обросла наледью, руки и лица в кровавых ссадинах, большая часть продовольствия и снаряжения погибла.

Из палатки слышится громкий страдающий крик и бессвязное бормотание, в котором различимо лишь слово «рододендрон», произносимое с непонятной мучительной настойчивостью.

— Бедный Трояни! — проговорил Чечиони.

— Такая ванна не пройдет даром, — заметил Вильери.

— Рододендрон! — несется из палатки. — Красная крыша... красная крыша... рододендрон!..

Внутри палатки Нобиле подполз на руках к мечущемуся в жару Трояни и накрыл его медвежьей шкурой.

Открылась дверца — это Биаджи.

— Плохие новости, генерал: пропал Амундсен.

— Нет! — вскричал Нобиле и, словно защищаясь от удара, прикрыл лицо рукой.

— Об этом трещат все радиостанции мира.

— Идите... слушайте... и сообщите, что это неправда!..

Биаджи удивленно округлил глаза и скрылся.

Нобиле приподнялся на одной руке и, крестясь другой, зашептал, страдальчески кривя рот:

— Господи, только не это!.. Не дай ему погибнуть. Я со всем смирился, любую кару приму с радостью, только не дай ему погибнуть, не взваливай на меня эту ношу. Мне не поднять ее, господи!..

— Рододендрон! — отчетливо проговорил Трояни. — Помните... рододендрон!..

Голос его заглушил стремительно нарастающий гул самолетов, затем гул так же быстро смолк. Мертвая тишина. В палатку с поникшим видом входят Вильери и Бегоунок, все время трущий свои затронутые арктической слепотой глаза.

— Это норвежцы, — отвечая на молчаливый вопрос генерала, сказал Вильери. — Они не заметили нас.

— А что же Биаджи?..

— У них нет рации...

— И вы, моя радость, будете падалью!.. — продекламировал Трояни.

Бегоунок потрогал его лоб.

— Как печка...

— Генерал!.. Генерал!.. — в палатку ворвался Биаджи. — У меня всего две руки!.. Или связь, или посадочные знаки!..

Нобиле поднял голову, оторопело уставился на радиста.

— Какие знаки?

— Они просят посадку...

Слышен гул самолетов.

— Вы спятили, сержант, — вяло сказал Вильери. — Гидропланы не могут сесть на лед.

— У них лыжи. Это шведы!.. — возбужденно говорит Биаджи.

— Старший лейтенант! — оказывается, Нобиле владеет даром генеральского окрика. — Почему бездействуете? Немедленно подготовить все для посадки!

— Слушаю, мой генерал! — стряхнув оцепенение, звонко отозвался Вильери.

Биаджи и Вильери подхватили Нобиле и вытащили его из палатки. За ним последовал Бегоунок. Возле рации лежал Чечиони, окаменело уставившись вверх.

Вильери схватил куски материи и разложил их на льду в виде буквы «Т».

Один из шведских самолетов пошел на посадку, но в последний момент раздумал и взмыл вверх. Видимо, его смутила бугристая, торосистая поверхность льда. Обитатели красной палатки с трепетной надеждой следят за его маневрами. У Чечиони набегают слезы на глаза, но он не замечает этого.

— Установим порядок эвакуации, — сказал Нобиле. — Первым летит Чечиони, за ним Бегоунок...

— Простите, генерал, я уступаю очередь Трояни.

— Спасибо, Бегоунок, но... — Нобиле не договорил — наконец-то решившись, один из пилотов резко сбросил высоту и пошел на посадку. И вот уже самолет запрыгал по неровностям ледяного поля и, едва не опрокинувшись на крутой горбине, стал.

— Какой молодчина! — от души восхитился Нобиле.

— Классный пилот! — присоединился Вильери.

Он подхватил Нобиле под мышки и потащил к самолету. Трогательным и жалким было зрелище идущих навстречу своему спасителю людей: двое колченогих, один полуслепой, и все небритые, грязные, в рваной, испачканной кровью одежде.

Из самолета выскочил рослый румяный пилот в отличном меховом комбинезоне и, бросив своему напарнику: «Моторов не глушить!» — бегом устремился навстречу потерпевшим. Он не сразу узнал элегантного генерала в худом, бледном, заросшем черной бородой оборванце, а узнав, стал по стойке «смирно» и звучным голосом доложил:

— Старший лейтенант шведского королевского воздушного флота Лундборг!

Нобиле протянул летчику руку.

— Спасение, которым мы обязаны... — он не смог продолжать.

— Рад, что мне довелось это сделать первому, — улыбнулся летчик. — Кто из вас Джузеппе Биаджи?

— Я, господин капитан! — готовно откликнулся маленький радист.

— Поздравляю вас, дорогой Биаджи, у вас родилась дочь.

— О! — потрясенно сказал Биаджи. — Пока я тут бездельничаю, милая Анита не теряла времени даром...

Все кинулись к нему с рукопожатием, поздравлениями.

— Пусть первым летит Биаджи! — в порыве великодушия вскричал Чечиони.

— Нет, я отстою свою вахту до конца, — твердо сказал радист. — Первым полетите вы, кабальеро!

— Что? — грубо, покраснев, вскричал Лундборг. — Этот малыш? Да он весит полтора центнера! Мне не поднять самолет.

— У него сломана нога, — сказал Нобиле.

— Я вернусь без наблюдателя и заберу его. Надеюсь за сутки вывезти всех. Мне приказано, — твердо сказал Лундборг, — первым доставить генерала.

— Я не подчиняюсь тем, кто вам приказал! — надменно сказал Нобиле.

— Но вы должны подчиниться своему весу, генерал, — улыбнулся Лундборг. — Вы здесь самый легкий.

— Раз так, — сказал Нобиле с торжеством, — первым полетит Трояни, он еще легче меня!

— Нет, — раздался дрожащий голос, из палатки вышел закутанный в одеяло и шкуру, бледный, весь в испарине Трояни. — Когда у меня под сорок, я плохо переношу полет. Лететь должны вы, генерал, вы там нужнее.

— Нужнее?.. Для чего?

— Для организации спасения, — сказал Бегоунек. — Ведь есть еще группа Алессандрини, о которой вообще забыли.

— И группа Мальмгрена, — добавил Вильери.

— И группа Амундсена, — подсказал Трояни.

— Летите, генерал, — добрым голосом сказал Чечиони, — в случае чего вы позаботитесь о наших семьях.

— И новорожденную не забудьте, — добавил Биаджи.

Нобиле молчит.

— Это невеликодушно, генерал! Мы с Шибергом рисковали жизнью ради вашего спасения! — вскричал Лундборг.

— Надо полагать, что не ради моего лично? — с усилием произнес Нобиле.

— Ну, разумеется! — с излишней горячностью откликнулся Лундборг. — Даю слово офицера, что без промедления вернусь за этим великаном. Можешь собираться, приятель.

— Генерал! — проникновенно сказал Биаджи. — Сообщите моей семье, чтоб девочку назвали Италия. Все радости и горести моей жизни связаны для меня с этим словом. Пусть и она будет Италией, на радость и горе.

Нобиле молчит. Взгляд его с болью переходит с одного лица на другое. Он не в силах решиться на то, что молчаливо требуют от него эти люди: «Летите, генерал, вы там нужнее...»

...Моторный ботик отчаливает от пристани Нью-Олесунда. На борту в сопровождении двух морских офицеров Умберто Нобиле. Он смотрит на берег — ликующая толпа несет на руках его спасителя, капитана Лундборга.

...На «Читта ди Милано» ждут прибытия Нобиле. Палубы и пароходы запружены взволнованными матросами и новобранцами. Они жадно всматриваются в приближающийся к кораблю ботик. Внезапно раздается железный голос капитана Романьи:

— По каютам!

И палубы пустеют.

Первой по сходням взбежала на корабль Титина и стала обнюхивать ярко начищенные ботинки капитана. Поддерживаемый офицерами, поднялся Нобиле. Он недолюбливал капитана Романью, но сейчас в этой



кущей, затянутой в сверкающую золотом форму, почти квадратной фигурке как бы сосредоточилась вся официальная Италия. И генералу показалось уместным как можно сердечнее приветствовать воплощенный в капитане образ родины. Но Романья шагнул назад, не приняв объятий генерала, вытянулся во весь свой малый рост и сухо козырнул.

Нобиле ощутил стыдность своего неудачного порыва, он подобрался и сказал начальственным тоном:

— Я серьезно недоволен вами, капитан..

Романья холодно прервал его:

— Не здесь. Прошу пройти в каюту.

Сбитый с толку, Нобиле последовал за ним. Романья прикрыл дверь.

— Господин генерал, вас могут осудить, что вы вернулись первым. Было бы уместным объяснить это.

— Я не намерен отчитываться перед вами в своих поступках. Вы ведете спасательные работы из рук вон плохо. Теперь я возьму это на себя.

— Каждая ваша рекомендация, генерал, будет принята во внимание. — Нобиле сделал гневно-протестующий жест, но Романья не обратил на это внимания. — Но вам придется подчиниться строгому режиму: никаких корреспондентов, никаких заявлений в печати, никаких прогулок на берег. Короче, вы должны дать слово, что не сделаете шагу без моего разрешения.

— Я буду поступать так, как сочту нужным, — с достоинством ответил Нобиле.

— В таком случае я буду вынужден приставить к вашим дверям часового.

— Это что же — домашний арест?

— Я выполняю приказание свыше, — важно произнес карлик. — Вы не оправдали доверия дуче...

...На льдине томительное ожидание. Особенно взволнован Чечиони. Он уже приготовился к отлету: собрал свой тощий вещмешочек, половчее наладил самодельные костыли и даже умыл снегом лицо, обросшее бородой. Вовсю полыхают сигнальные костры, пуская в небо толстые столбы дыма, ярко чернеют на снегу посадочные знаки. Даже большой Трояни,

которому стало чуть лучше, выполз из палатки и при- тулился к теплому боку Бегоунека. Каждый шум: шорох снега, звон оплывающих сосулек, треск льдин — заставляет людей вздрагивать и с надеждой обращать взгляд к серо-заволоченному, в редких голубых по- лыньях небу.

— Нет, видно, он не прилетит, — покорным тоном произнес Чечиони. — Он спас генерала — с него до- вольно. Разве будет офицер рисковать жизнью ради рядового запаса второй категории?

— Но вы же награждены высоким орденом! — на- рочито серьезно сказал Вильери.

— А он знает об этом? — наивно спросил Че- чиони.

— Во всяком случае, он называл вас «кабалье- ро», — подтрунивает Вильери.

Как нередко бывает в минуты крайнего напряже- ния, они пропустили появление того, кого ждали с та- ким мучительным нетерпением. Вынырнувший из об- лаков самолет пронесся над самыми их головами и, сделав круг, пошел на посадку. К несчастью, рельеф льдины, находящейся в непрерывном скрытом движе- нии, изменился: ее пересекли трещины, избородили торосы.

Лундборг приземлился с обычным мастерством, но в самом конце посадочной площадки самолет налетел на ледяной валун и скапотировал.

Люди бросились к опрокинувшемуся кверху лы- жами самолету. Лундборгу повезло — он выбрался из кабины без единой царапины, но до слез разоча- рованный своей неудачей. В отчаянии опустил он на крыло, закрыл лицо руками и стал раскачи- ваться из стороны в сторону, как старый еврей на молитве.

— Будет вам! — участливо сказал Чечиони. Кол- ченогий великан мужественно подавил свое разоча- рование. — Вы живы, а это главное.

— Здесь не так уж плохо! — подхватил Бегоу- нек. — И мы все вас любим.

— Да и ваши товарищи не оставят вас в беде, — присоединился Вильери. — За вами прилетят.

— Кто? — Лундборг отнял ладони от лица. — У одного Шиберга самолет на лыжах. Но он рохля, баба, не рискнет приземлиться.

— «Красин» уже недалеко, — заметил Биаджи.

— Что? — взревел Лундборг. — Будь все проклято, будь проклят я, будь проклята эта проклятая льдина и тот день, когда я ввязался в эту проклятую авантюру!

— Опомнитесь, старший лейтенант! — возмутился Вильери. — Неужели вам так мучительно приветствовать советский флаг?

— Плевал я на флаг! Большевики вздернут меня за милую душу! Я участвовал в оккупации Мурманска, я бомбил их под Выборгом! Вильери, как офицер офицера, прошу: дайте мне револьвер, лучше пуля в лоб, чем удавка.

— Это все несерьезно, — вмешался Бегоунок. — Никто вас пальцем не тронет...

— Вы не знаете большевиков... — начал Лундборг.

— Держите! — Вильери кинул ему ружье.

— Охотничья двустволка! — с сомнением произнес Лундборг. — Так кончают с собой из-за неудачной любви лесные сторожа и браконьеры. Это недостойно офицера королевского воздушного флота... А губной гармоники ни у кого не найдется?

— Как не найтись! — Биаджи вынул из кармана гармошку, обтер, очистил от табачных соринки и протянул Лундборгу.

— Очень успокаивает, — вскользь произнес Лундборг и поднес гармошку к губам.

С изумлением глядели на него обитатели красной палатки. Все, кроме Бегоунка, люди южные, склонные к быстрой смене настроения, они все же отродясь не видели подобной неуравновешенности. Лундборг заиграл знакомую песенку о девочке, делящей одиночество пилота, но после первых же тактов слезы неудержимо брызнули из его глаз.

— Нет, не могу... Вильери, прошу вас, прикажите связаться с Турнбергом... пусть делает что хочет, но чтоб меня забрали отсюда! Иначе я наложу на себя руки...

— А мы-то считали вас героем! — разочарованно сказал Вильери.

— Я и есть герой, пока мне везет... Кстати, это не личная, а национальная черта.

— Биаджи, слышите?.. Выполняйте! Пусть поскорее вывезут этого плаксу! — громко сказал Вильери.

...В столовой Нью-Олесунда недавно вернувшиеся после очередного вылета Рийсер-Ларсен и Лютцов-Хольм пьют традиционное какао. Впрочем, традиция несколько нарушена тем, что Рийсер-Ларсен незаметно подливает в свою кружку виски из плоской фляги.

— Что это значит, капитан? — удивился Лютцов-Хольм.

— Похоже, я стал очередной жертвой сухого закона, — со вздохом ответил Рийсер-Ларсен. — Дела дрянь, мой друг. Нельзя вести поиски лишь в радиусе четырехсот километров. Амундсена надо искать дальше на север.

— Почему?

— Ты же знаешь, он всегда любил менять планы в последнюю минуту. Уверен, что они полетели не в Кингс-Бей, а на поиски группы Алессандрини, о которой все почему-то забыли. Но наши гробы туда не дотянут.

— Это единственная причина вашего огорчения, капитан? — участливо спросил Лютцов-Хольм.

— Ты проникателен, юнец! Я получил письмо. Она не хочет больше ждать. Она высмеивает наши мушиные полеты и называет их «попыткой с негодными средствами». Ей-богу, она права! Я начинаю подумывать, не махнуть ли мне домой. Я любил и люблю Амундсена, но ведь мы не ищем его, а просто выполняем обряд. И ради этого губить свое счастье!..

Двери распахнулись, и в столовую вошла пожилая, но моложавая дама, дорого и броско одетая: черное обтягивающее платье, норковый палантин, на тронутых сединой волосах — модная черная шляпка. У нее была девически стройная фигура, розовые щеки, хорошо очерченный рот, тяжелые серьги оттягивали чуть одряблевшие мочки ушей. Яркий облик дамы был

столь необычен для Нью-Олесунда, что взгляды всех присутствующих дружно обратились к ней.

— Чего уставились? — свободно сказала вошедшая. — Экая невидаль — пожилая дама из Нью-Йорка... Милая!.. — окликнула она пробегающую мимо кельнершу. — Чашку какао!..

— Слушаю, мэм!

— Кто из вас Рийсер-Ларсен? — спросила дама.

Из-за стола медленно выросла громадная фигура летчика. Дама задрала голову, будто пытаюсь увидеть крышу небоскреба.

— Хорош!.. Что надо!..

Кельнерша подала ей кувшинчик с какао. Мисс Бойд пригубила и плюнула.

— Бурда!.. Мне нужно такое какао, как у тех вон господ, — она показала на подвыпивших летчиков.

Рийсер-Ларсен достал из брючного кармана плоскую флягу и подлил даме в кувшинчик скотча.

— Благодарю, — дама отпила из кувшинчика. — Отойдемте в сторону.

А когда они отошли, она сказала совсем иным, нежным, страдающим голосом, и лицо ее стало печальным, почти красивым.

— Знаете ли вы, что такое любовь?

У летчика удивленно округлились глаза.

— Думаю, что знаю, миссис...

— Мисс, — поправила американца, — мисс Бойд. Тогда вы легко поймете меня. Всю жизнь я поклоняюсь Руалу Амундсену. Мы никогда не виделись, но ему, и только ему, принадлежит мое сердце. Я приехала сюда, чтобы спасти его.

— Это ваш «дорнье-валль» на пристани? — живо спросил летчик.

— Да, — без всякой рисовки подтвердила мисс Бойд. — Мне сказали, что это лучший самолет, и я купила его. Теперь дело за летчиком. Мне, конечно, нужен самый лучший, я признаю только первоклассные вещи.

— Спасибо, мисс. Будь я свободен...

— Я договорилась с вашим правительством: вас отпустят. Конечно, если вы согласны.

— Готов хоть сегодня начать полеты! — пылко сказал Рийсер-Ларсен.

— В таком случае закажите еще какао, мы скрепим наш союз...

...По льду, оскальзываясь, перебегают один из красинцев с охотничьим ружьем. Неподалеку недвижно стоит «Красин». Из труб сочится белесый дымок. Вмерзший в лед ледокол похож на холодный утюг. Выстрел. Тюлень не спеша поворачивает к охотнику маленькую голову и, словно из вежливости, ныряет в прорубь. Охотник бежит дальше. Снова неметкий выстрел, снова тихий всплеск воды, принявшей гладкое тело тюленя.

Тюлень проскользнул подо льдом к соседней полынье и замер от удивления: в зеленоватой воде двигались странные существа, не похожие ни на одного обитателя здешних малонаселенных мест: не рыбы, не тюлени, не моржи, не белые медведи. Выстрел уже пробудил безотчетный страх в тюленьем сердце, он почел за лучшее убраться восвояси.

Водолазы обследуют рулевое управление и винты ледокола. Один из них поманил тяжелой десницей другого, тот неуклюже приблизился: правая лопасть руля была снесена начисто. Водолазы еще поползли вокруг искалеченного рулевого управления и дернули сигнальные веревки.

На корме «Красина» помощники капитана, боцман, матросы с нетерпением смотрят на воду. Но вот будто закипела, вспенилась ледяная вода, появилась голова в круглом шлеме, затем вторая. Водолазов подняли на корму, сняли с них шлемы. Это были мастера подводных глубин Филиппов и старпом Пономарев.

— Все в точности! — были первые слова Пономарева. — Правой лопасти как не бывало!

— Вот человек! — с досадой, но и с легким восхищением сказал водолаз Филиппов. — Пока сам руками не потрогает, никому веры не даст.

— Верю всякому зверю: волку, ежу, а тебе пого-

жу! — невесело отшутился Пономарев и вдруг побледнел. — С непривычки, однако, трудновато!

Судовой фельдшер поднес водолазам по мензурке спирта. Филиппов истово принял свою порцию, а Пономарев отказался:

— Ну его, только башку туманит!..

...В кочегарке, у топок, не требующих сейчас особого внимания, идет перекур, сопровождаемый вялым трепом.

— Кто скажет, долго мы тут еще загорать будем? — вопрос задал в никуда кочегар Балясный. На широкой голой груди двухцветная — синь с розовым — наковка изображала русалку, держащую в поднятых руках, словно лозунг, скорбное признание: «У меня нет счастья в жизни». Под хвостом русалки была надпись: «Не забуду лета 1927 года». И диковато выглядел на этой фреске серебряный нательный крестик.

— Леший его знает, — отозвался кто-то, — говорят, руль вдребезги!..

— А кто скажет мне другое: на кой черт нам все это нужно?

— Чего «нужно»? — поинтересовался Филиппов.

— Фашистов спасти...

— А еще верующий! — Филиппов схватил Балясного за грязноватый бархатный шнурок, на котором висел крестик. — В святом писании что сказано? Возлюби ближнего своего, аки самого себя.

— Руки прочь! — Балясный ударом кулака отбросил руку Филиппова. — В священном писании не сказано, что фашисты мои ближние. Я пролетарский человек!

— В самую точку! — восхищенно воскликнул молоденький кочегарик.

— Ты — пролетарский человек?.. — взвился Филиппов. — Тебя за пьянство с «Седова» списали, а Эгги сдуру подобрал. От тебя сивухой и ладаном несет. Вишь ты, фашистов он не хочет спасти! А если бы ты в море загибался, стал бы ты у своих спасителей анкету спрашивать? Мол, какой вы нации, веро-

исповедания, партийной принадлежности?.. И если что не так, ты, может, лучше бы утоп?

— Да! — нахально сказал Балясный. — Я лучше бы утоп!

— Ну и дурак! — расстроился Филиппов.

— Зря ругаешься, Филиппов, — вмешался молчавший до этого старый кочегар Косенков. — Тут надо по человечеству рассудить. Почему мы знаем, кто из них фашист, а кто нет? И нешто мы фашистов спасаем? Людей... таких же людей, как мы сами, у которых жены, отцы с матерями, пацанье... И если мы их не спасем, сколько семей осиротеет!..

— В самую точку! — с прежним энтузиазмом одобрил кочегарик.

— И я о том же говорил, — заметил Филиппов, — только выразить не мог.

— Плачу и рыдаю, — насмешливо сказал Балясный, — но, может, хватит травить баланду? Никого мы не спасаем, просто болтаемся, как дерьмо в проруби!

— На этот раз согласен с тобой, божий человек! — сказал Филиппов. Он со злобой схватил робу, накинул на голое тело и кинулся к винтовой лестнице.

— Ты куда? — крикнул вдогон Косенков.

— Поговорить кое с кем по душам!.. — отозвался Филиппов.

— Поговорил один такой! — плюнул Балясный.

...На палубе Филиппову преградили дорогу летчики, выгружавшие на лед «юнкерс». Хотя им помогали многие члены команды, дело не больно спорилось. Пришлось Филиппову тоже приложить свою силу. Он подставил могучее плечо под самолетную плоскость и тут обнаружил, что рядом с ним подвизается в роли грузчика старпом Пономарев.

— Р-раз-два, взяли!..

— Долго еще загорать будем? — улучив миг тишины, крикнул Филиппов старпому.

— Р-раз-два, взяли!..

— Капитан приболел, — отозвался старпом.

— Еще раз, взяли!..



— Знаем, как он приболел!.. Нас за такие болезни с волчьим билетом на берег списывают!..

— Сдурел? — крикнул Пономарев.

— Еще р-раз, взяли!..

— Нельзя так, Акимыч...

Пономарев вылез из-под крыла, подошел к Филиппову.

— Анархию разводишь?

— Я дело говорю, — твердо ответил кочегар. — Сам знаешь, мы себя не жалели... по две вахты вкалывали. А для чего? Чтоб наш труд, нашу силу в гальюн сбросили?.. Почему стоим, я тебя спрашиваю? — произнес он с подавленной яростью.

Пономарев задумчиво поглядел на кочегара.

— Ладно, Филиппов... ступай...

И сам быстро покинул палубу.

...Пономарев долго стучался в запертую изнутри дверь каюты.

— Это я — Акимыч, — шептал он в замочную скважину.

Наконец дверь распахнулась, едва не сбив Пономарева с ног. Длинный, неприбранный, с опухшим лицом и воспаленными от бессонницы глазами капитан Эгги мрачно уставился на старпома.

— Надо двигаться вперед, капитан, — спокойно сказал Пономарев.

— Ты соображаешь, что говоришь? Руль полетел к свиньям собачьим! — с сильным акцентом проговорил Эгги.

— Руль, что говорить, важная деталь, да ведь можно править машинами, — пожал плечами Пономарев.

Эгги словно не расслышал. Прикрыв веки, он сказал пустым голосом:

— Я провалил экспедицию и пойду под суд. Пусть Самойлович сообщит правительственной комиссии, что задание не выполнено.

— Брось чепуховину городить! Хочешь, я тебе скажу, чего ты скиксовал? — Эгги молча раскачивался на длинных ногах. — Ты перегорел на старте. За три дня подготовить «Красин» к выходу было невозмож-

но, и за неделю, и за декаду тоже невозможно. Ты сделал это за четыре дня. Чудо? Да, а за чудеса надо расплачиваться.

— Я пойду под суд, — с мрачным удовлетворением сказал Эгги.

С неожиданной силой Пономарев толкнул Эгги на койку.

— Ложись, спи... Долго спи, пока всю дурь из головы не выспишь... Тогда поговорим, — произнес он решительно и вышел из каюты...

...Когда Пономарев вновь оказался на палубе, все красинцы, задрав головы, наблюдали за первым, пробным полетом Чухновского. Сильная машина, упруго набрав высоту, стала выписывать круги над льдиной. И никто не понял вначале, какая встряслась беда, когда неторопливо, словно это тоже входило в расчеты летного экипажа, правая лыжа стала перпендикулярно земле.

Пономарев подбежал к Самойловичу.

— Им сообщили?..

— Они не держат связи...

Большая светлая птица ревилась в воздухе, не ведая о своей смертельной ране. Самолет сделал круг и стал снижаться. Чухновский пошел на посадку. Кто-то отвернулся, кто-то закрыл лицо руками, заплакал молоденький матросик. А затем раздался крик ужаса: с лыжами на плече Люба, оступаясь, падая, вновь вскакивая, бежала навстречу идущему на посадку самолету.

— Что она делает?.. Сумасшедшая!..

— Умница она! — вскричал Пономарев и сорвался с места. Но второй бортмеханик Федоров уже тащил запасную лыжу «юнкерса». Пономарев пришел ему на помощь.

Люба едва успела положить лыжи на лед, как Федоров и Пономарев кинули рядом свою тяжелую ношу.

На «юнкерсе» поняли эту предметную сигнализацию. Круг за кругом делал самолет, примериваясь к посадке, а затем пошел вниз. Чухновский сажал самолет не прямо, а с наклоном на левую лыжу,

он даже не побоялся слегка царапнуть крылом по насту. Когда под здоровой лыжей оказался упор, то и правая лыжа коснулась льда и приняла нормальное положение. Самолет подрулил к ледоколу и стал.

Вся команда «Красина» высыпала на лед, окружила летчиков.

— Кому мы обязаны?.. — с обычной, чуть смущенной вежливостью спросил Чухновский.

Люди расступились, и летчики увидели девочку. Эта девочка училась на разных курсах и ни один не кончила, бралась за разные дела и ничего толком не сделала, она даже не очень чисто стирала и не очень хорошо мыла посуду, но в одном была она искусна: умела мечтать, и это одарило ее подвигом.

Чухновский шагнул к Любе, взял ее тоненькую руку и почтительно поцеловал. А затем по всей форме доложил Самойловичу:

— Товарищ начальник экспедиции, по исправлении лыжи мы готовы начать поиски!

Самойлович только кивнул, говорить он не мог...

...Кабина летящего самолета. На месте наблюдателя Лундборг. Его заросшее рыжей щетиной лицо исполнено покоя и расслабленности. За штурвалом Шибберг. Наклонившись вперед, Лундборг говорит тепло:

— Как я тебе благодарен! Ты даже представить себе не можешь, как я тебе благодарен!

Шибберг что-то бормочет и напряженно вглядывается в простирающийся перед ним небесный ландшафт.

— Ты знаешь, я не робкого десятка. Но я с ума сходил. Мне все время мерещился «Красин».

— Ну и что? — тускло спросил Шибберг.

— Ты же знаешь мои обстоятельства, — обиделся Лундборг. — Я не хочу, чтоб меня повесили.

— А тебе с «Красина» пришла телеграмма. Поздравляют со спасением Нобиле.

— Что-о?

— Поздравляют славным подвигом... крепко жмут руку... мысленно вместе!.. — телеграфно орет против ветра Шибберг.

— Черт!. — помрачнев, сказал Лундборг. — Значит, не стоило паниковать? Дьявол, зря испортил о себе впечатление...

...Цаппи и Мариано тщетно кричали, размахивали руками, пытаясь привлечь внимание шведских летчиков. Самолет скрылся в серой наволочи. Цаппи погрозил кулаком пустынному небу и зашагал вперед. Мариано пополз следом за ним. Идти он уже не мог, обмороженная нога волочилась как мертвая. Он цеплялся руками за неровности ледяной поверхности, подтягивая свое исхудавшее и все же большое, тяжелое тело шаг за шагом.

— Филиппо, погоди! Мне не угнаться за тобой! — Щеки его провалились, торчат скулы и нос, обтянутые тонкой, непрочной кожей.

Цаппи остановился. В отличие от своего друга он сохранил форму. Он, правда, похудел, но отнюдь не выглядит изможденным, только в глазах возник нехороший блеск одержимости.

— Удивляюсь твоему эгоизму! Ты думаешь только о себе, Адальберто. Тебе наплевать, что наши несчастные товарищи ждут помощи!

— Неправда, я все время помню о них. Но ты же видишь, в каком я состоянии, Филиппо... я всегда был тебе преданным другом, не бросай меня, Филиппо!..

Цаппи растроган.

— Зачем, господи, ты отморозил ногу?!

— Слушай, возьми мою куртку. Правда... Мне она только мешает. — Мариано с трудом содрал с себя меховую куртку.

Цаппи натянул ее поверх двух курток: собственной и Мальмгрена.

Они продолжают путь. Теперь на Цаппи надето так много, что он сам едва передвигает ноги, во всяком случае, Мариано, которому отчаяние придало силы, ползет за ним, почти не отставая.

На пути их встают торосы. Мариано пытается вползти на ледяной валун, но срывается и соскальзывает вниз.

— Филиппо!.. Филиппо! — кричит он в отчаянии.

И снова Цаппи пришел на зов товарища.

— Ну чего тебе еще?

— Послушай, Филиппо, — тяжело дыша, заговорил Мариано, — ты сильный, выносливый человек, ты должен выжить... по праву должен... Но если ты бросишь меня, ты погибнешь... погибнешь от голода. Потерпи немного, я скоро умру, и ты будешь питаться моим телом. Ты не думай, что я худой... тебе хватит надолго. А за это время прилетит самолет. Вот увидишь, прилетит!..

Цаппи подошел и опустился на сугроб рядом с Мариано.

— Не будем сейчас об этом! — сказал он великодушно. — Знаешь, у меня тоже мелькнула счастливая мысль. Я понял, почему нас не узнают с воздуха. Они думают, что нас трое, и две фигуры не привлекают внимания.

— Возможно, ты прав... даже наверняка прав.

— Мы вот что сделаем, давай расстелим твои меховые брюки на снегу. Сверху будет казаться, что человек лежит. И нас станет трое!

— Но, Филиппо! Разве смогу я ползти в тонких суконных брючках? По-моему, ты мог бы расстаться с одной из двух пар...

— Это низко! — вскричал Цаппи. — То ты предлагаешь мне питаться твоим телом, то жалеешь пару штанов! Всякий другой на моем месте давно бросил бы тебя. А я рискую собственной жизнью, нарушаю воинский долг, требующий, чтобы я спешил за помощью, и в благодарность ты готов удавиться из-за пары старых брюк!

Руки Мариано неуверенно тянутся к брючному ремню.

— А ведь, помимо всего, ими можно ловить чаек, жирных, тяжеленьких, припахивающих рыбой чаек! — захлебывается Цаппи с опасноватым блеском в глазах. — Штаны — замечательная ловушка, самая лучшая ловушка в мире!..

Мариано покоряется, стаскивает с себя брюки. И почти сразу слышится гул самолета.

— Господи, неужели швед нас все-таки заметил? — обмирающим шепотом произнес Мариано.

Цаппи поспешно расстелил на льду брюки Мариано. Самолет вынырнул из облаков и пошел прямо на льдину.

— Двигайся, Мариано, двигайся!.. Они должны нас заметить! Они обязаны нас заметить!..

Цаппи прыгает, размахивает руками, орет как безумный. Мариано из последних сил машет руками. Самолет проносится над льдиной, на его крыльях горят красные звезды.

Самолет делает несколько кругов, затем, покачав крыльями, чтоб потерпевшие знали: их видят, уносится прочь...

...Самолет Чухновского.

— Их трое, — говорит Шелагин. — Это группа Мальмгрена.

— Да, — растроганно подхватил Чухновский, — друзья, мы нашли их!..

— А если попытаться сесть? — азартно предложил второй пилот Страубе.

— Верная гибель, — хладнокровно заметил Алексеев. — Но почему мы не сбросили продовольствие?

— Сытость также убивает, как голод, — отозвался Чухновский. — Из троих только один держался на ногах — крайнее истощение. Пусть уж их накормят на «Красине» по всем правилам медицины. — И с ноткой торжественности добавил: — Передайте Самойловичу координаты Мальмгрена.

В то время как Алексеев передавал на корабль радостное сообщение, Чухновский пытался вывести самолет из тумана. Это ему не удавалось: непроницаемый полог задернул ледяную броню океана.

— Координаты приняты, — доложил Алексеев. — Поздравляют с успехом, обнимают, целуют...

— Какая у них видимость?

— Видимость плохая, на льду разложены костры, — ответил Алексеев. — Предлагают немедленно вернуться.

Самолет закутало в туман, как елочную игрушку в вату, полет происходит вслепую.

— Сообщите: пока у нас есть горючее, будем продолжать поиски Амундсена и Алессандрини...

На какой-то миг из тумана проглянули льды, черная широкая полынья, и вновь все исчезло в молочной мути.

Самолет по-прежнему шел в густом тумане, но порой в этом тумане возникали словно бы глубокие колодцы. И Страубе углядел на дне такого колодца алую точку.

— Красная палатка! — вскричал он с волнением. — Словно капелька крови!..

— Подтвердите координаты красной палатки, — сказал Чухновский летнабу.

— Горючее на исходе, — заметил Страубе.

— Черт бы побрал прожорливость этих моторов! — в сердцах сказал Чухновский. — Где мы находимся?

— В районе Семи островов.

— Постараемся дотянуть до базы...

Но берег возник из тумана так внезапно и так близко, что от него уж не уйти было в высоту. Да и не на чем — горючее кончилось.

И все же Чухновский попытался поднять самолет. Мотор задышался, поглощая последние капли бензина. Затем начались перебои, машина рывками теряла высоту.

— Сообщите, идем на посадку в районе Семи островов...

Все ближе шипы торосов, острые, как акульи зубы. Сесть здесь — это значит наколоть самолет на один из шипов, словно бабочку на булавку. Но летчик высмотрел чистый просвет между торосами, очень узкий, очень короткий, и со снайперской меткостью вогнал туда самолет. Большому и сильному «юнкерсу» требовалась посадочная дорожка куда длиннее. Толчок, удар, треск, снова удар. Враз отлетели оба винта, лопнуло шасси.

Еще не улегся снежный вихрь, как на землю прыгнул Страубе. Он набрал в горсть снега и приложил к разбитому в кровь лицу. Снег, словно вата, пропитался кровью. Страубе стряхнул красные комочки, затем прижался лицом к облепленному снегом ледяному сталагмиту.

Алексеев и Шелагин вытащили из кабины потерявшего сознание Чухновского; шлем упал с окровавленной головы, глаза закрыты.

— Григорьич!.. — кинулся к нему Страубе. — Григорьич!.. — губы его дрожали.

Чухновский чуть приподнял веки, хотел улыбнуться Страубе, но рот его покривился гримасой боли. Шелагин достал индивидуальный пакет и стал бинтовать ему голову. В это время Алексеев успел вытащить из самолета рацию и питание.

— Дышит!.. — удовлетворенно сказал он через некоторое время.

Страубе поспешил к нему.

— Только бы нас услышали!..

— «Красин»!.. «Красин»!.. Я Алексеев... Я Алексеев... Совершили вынужденную посадку в районе Семи островов... Самолет разбит... Чухновский ранен... Необходимо...

— Стойте!.. — послышался слабый голос Чухновского. — За нами потом... когда снимут группу Мальмгрена...

...Льдина, на которой находились Цаппи и Мариано, уменьшалась на глазах. От нее отваливались целые куски, вода протачивала ее истончившееся тело. Мариано уже не двигался, он лежал, словно в ванне, в глубокой проталине. Цаппи пытался идти, но последнее разочарование, вызванное внезапным исчезновением самолета, надломило даже его недюжинные силы. Он едва передвигал ноги, то и дело останавливаясь и словно собирая всего себя для очередного шага.

Льдина раскололась у самых его ног, он едва успел отскочить. С шипением поедая сухой снег, вода устремилась к Цаппи. Он перевалился через ледяной гребень и заковылял назад к Мариано.

Едва Цаппи опустился возле друга, как чудовищный вой разорвал ледяное безмолвие. В этом вое было что-то апокалипсическое, он предвещал конец света.

— Мариано, ты слышишь?

Веки Мариано дрогнули.



— Бог наказывает нас за Мальмгрена, — произнес он спекшимися губами.

— Бог или дьявол — мне наплевать! — в ярости вскричал Цаппи. — Меня не запугаешь!..

— Не богохульствуй, Филиппо... Это возмездие...

— Молчи! Я не из тех, кто подыхает раньше смерти!

Отчаяние и злоба придали ему силу. Цаппи вскочил на ноги и двинулся вперед. Вой повторился, истошный, оглушительный, сводящий с ума. Цаппи казалось, что он во власти галлюцинаций: в молочном, просквоженном солнечными лучами тумане вычернился гигантский силуэт корабля. Этот призрачный корабль приближался, надвигался, вырастал выше неба, и Цаппи невольно отступил. Когда замолкал вой, слышался треск рушащихся под тяжестью корабля льдов. Он был страшен и грозен, как гнев господень; надорванные нервы Цаппи не выдержали, он опустился на колени и стал креститься худой грязной рукой. А затем в глазах его зажглась безумная радость. Он увидел на борту корабля-призрака его простое имя: «Красин». И Цаппи, земной, практический человек, мгновенно понял, что перед ним не мираж, а явь.

— Адальберто!.. Адальберто!.. Это «Красин», русский ледокол! Он идет за нами!.. Очнись, Адальберто!..

Цаппи выхватил из рюкзака флажки и пустую консервную банку. Эту банку он подсунул под руку Мариано, а сам кинулся навстречу кораблю, размахивая флажками. И тут маленькая льдина под напором других льдин, расталкиваемых «Красиным», качалась и сильно накренилась, грозя перевернуться. Цаппи дико закричал и метнулся назад.

На «Красине» поняли, чем прозит дальнейшее продвижение, и Пономарев скомандовал: «Стоп!» С молниеносной быстротой был скинут трап, красинцы устремились на льдину.

Они увидели человека, казавшегося непомерно толстым из-за множества одежд и одеял, намотанных на него. Он стоял на ледяной глыбе с поднятыми ру-

ками, и в каждой было по флажку из грязного брезента.

Другой человек, полуодетый, лежал у подножия глыбы, в углублении, полном талой воды. Белое, в синеву лицо его, напоминавшее гипсовую маску, казалось мертвым, но правая рука мерно подымалась и опускалась, ударяя в днище железной банки. В дырах суконных брюк белели отмороженные колени, из рваных мокрых носков торчали почерневшие пальцы.

Самойлович первым подбежал к потерпевшим.

— Вы Мальмгрен? — обратился он к человеку с флажками.

— Я капитан ди корветто Цаппи.

— Вы Мальмгрен? — кинулся Самойлович к лежащему.

Тот не ответил, лишь рука его снова поднялась и ударила в банку.

— Это капитан ди корветто Мариано, — сказал Цаппи.

— Где же Мальмгрен?

— Он там, — Цаппи указал на лед.

— Наш летчик видел троих.

— Третьего не было... Это брюки.

Целой оравой подбежали корреспонденты.

— Вы Мальмгрен? — накинулись они на Цаппи.

— Я Цаппи!.. Цаппи!.. А он Мариано!..

Подошел старпом Пономарев.

— Доктор Мальмгрен? — обратился он к Цаппи, широко улыбаясь.

— Опять Мальмгрен!.. Почему все Мальмгрен и Мальмгрен? — взвился Цаппи. — Мальмгрена нет, ему капут! Я Цаппи, Цаппи, Филиппо Цаппи! — и он побежал к ледоколу.

Его настигли, взяли под руки, он вырвался и пошел сам. Навстречу ему пробежали люди с носилками.

Цаппи поднялся по трапу, лихорадочно оглядел столпившихся на палубе людей и почему-то задержался взглядом на чумазом лице старшего кочегара Филиппова. Цаппи шагнул к нему, рухнул на колени

и, прежде чем кочегар успел помешать, поцеловал ему руку.

Судовой фельдшер поднял Цаппи и оттащил от смущенного кочегара. Раздирая пальцами свой и без того широченный рот, Цаппи кричал: «Кушать! Кушать!» Фельдшер и Люба Воронцова взяли его под руки и повели в санчасть. На борт подняли носилки с Мариано.

С тоскливым недоумением разглядывая свою удостоенную поцелуя руку, кочегар Филиппов жаловался: своему однофамильцу водолазу:

— И за что, спрашивается, осрамил? Ведь теперь от ребят прохода не будет...

— Команда, по местам! — звучит голос Пономарева.

...Те могучие силы природы, которые уничтожили льдину Цаппи и Мариано, неукротимо разрушают и ледяной массив вокруг красной палатки. Прежде ровное и чистое ледяное поле сейчас изрезано во всех направлениях глубокими трещинами. К привычным стихиям, угрожавшим обитателям ледового лагеря, прибавилась новая, самая губительная — вода.

Все обитатели красной палатки спрудились вокруг рации.

— Чухновский потерпел аварию, — передал Биаджи последнее сообщение с «Красина».

— Это конец!.. — тонкие губы Вильери дернулись в усмешке. — Русские пойдут на выручку своему летчику.

— А потом за нами! — вскричал Чечиони.

— Очевидно, вы можете ждать, — иронически сказал дрожащий от озноба Трояни. — Я лично не располагаю свободным временем!

— Почему? — наивно спросил механик.

— Неужели вы не понимаете, что происходит? Скоро на этом месте будет сплошная вода.

Апатия овладела людьми. Они сидели возле рации, прижавшись друг к другу не для того, чтобы согреться, а чтобы чувствовать рядом с собой чью-то жизнь, биение чужого сердца. Лишь Биаджи с редкой стойкостью продолжал работать ключом.

— Как ваши глаза, Бегоунок? — спросил Вильери.  
— Очень хорошо, резь прошла, я просто ничего не вижу.

— Сейчас даже лучше не видеть, — заметил Трояни.

— Но я слышу, — тихо сказал Бегоунок, — этого достаточно...

Да, мир зловеще озвучился. Природа шумно, не стесняясь, творила свое страшное и безвинное дело. Воздух, недавно еще прозрачно-тихий, налился резкими, грубыми звуками. С тяжелым уханьем валяются, кроша друг дружку, ледяные громады. Опромяные куски откалываются от ледяных полей, силой давления их выталкивает наверх, в мановение ока выстраиваются и с грохотом падают хрустальные крепости. Их обвалы ускоряют разрушительную работу океана, солнца и ветра.

Все ближе подвигаются к потерпевшим кривые линии разломов. Порой треснувшая льдина как бы сохраняет свою цельность и очертания, порой в трещину мощно устремляется вода, размывая, разводя обломки. Но с тем же равнодушием, порожденным безнадежностью, глядят Вильери и его товарищи на черные шупальца, все ближе подступающие к ним.

Вдруг страшно закричал Чечиони. Всего несколько метров отделяло рацию от палатки, и по этой узкой полосе прошла черная щель.

— Палатка! — кричал Чечиони. — Наша палатка!..

— Бросьте, Чечиони, какая разница!.. — устало сказал Трояни, кутаясь в одеяло.

Но великан не хотел примириться с потерей. Он вскочил и, опираясь на самодельный костыль, запрыгал по льду.

Льдины столкнулись, и Чечиони упал. Его костыль сломался, поврежденная нога вылетела из лубков. Он громко застонал. Бегоунок, растопырив руки, пошел на его голос, но ошибся направлением.

— Чечиони, где вы?..

Вильери приподнял Чечиони и оттащил назад.

— И охота вам, право!.. — сказал он с досадой.

Чечиони плакал от боли и разочарования. Бегоунок, опустившись на четвереньки, полз назад к товарищам.

Красная палатка то приближалась, то отдалялась, она словно дразнила недавних своих жителей.

— «Красин» идет за нами! — закричал Биаджи.

— Вы чего-то путаете... — вяло сказал Вильери. — А как же Чухновский?

Радист оторопело глянул на него и затюкал ключом. Вскоре в наушниках послышался слабый треск.

— Я не ошибся, — взволнованно сказал Биаджи. — «Красин» идет за нами. Чухновский отказался от помощи, пока нас не спасут!..

Вильери вскочил, в его осунувшемся небритом лице вновь пробудилась сила жизни.

— Джузеппе, передайте, что мы ждем, что мы держимся... Но пусть торопятся, не то будет поздно...

Вильери разбежался и перепрыгнул на льдину, где стояла палатка. Он схватил ворох теплых вещей и стал швырять их товарищам. Порой одеяла и шкуры падали на край льдины и сваливались в воду, порой достигали цели. Трояни, в грязном, рваном одеяле, подбежал и стал подбирать вещи. А толстый ослепший Бегоунок беспомощно топтался на месте, он еще не научился ориентироваться в своей темноте.

Вильери поднял ящик с продуктами и потащил его к краю льдины. Ящик был слишком тяжел, пришлось выбросить часть продуктов. Вильери с ящиком в руках перепрыгнул через щель, и красная палатка сразу стала отдаляться.

— О черт! — охнул Биаджи и, будто от подледного толчка, отлетел в сторону. Лед вспучился под ним, а на том месте, где стояла рация, разверзлась полынья. И как-то очень спокойно, плавно, бесшумно рация погрузилась в полынью.

Не раздумывая, Биаджи кинулся в ледяную воду. Он нащупал рацию, попытался извлечь наружу, но в последний момент не удержал.

— Бросьте, сумасшедший!.. — заорал Вильери.

Он подбежал к Биаджи, протянул ему руку, но радист и внимания не обратил.

— Чечиони, помогите!

Корчась от боли, извиваясь, словно членистоногое, Чечиони пополз к полынье. Ему удалось дотянуться до Биаджи, но маленький радист вырвался и, потеряв опору, с головой ушел под воду...

То простое, таинственное и неотвратимое, что творилось сейчас в этой точке Ледовитого океана, набрало высшую силу. Ледяное поле умирало на глазах. Оно уже не было полем, трещины превратились в широкие промоины, от льдин отваливались промадные куски и ворочались в темной воде. Истончившийся лед стремительно таял под действием воды и солнца, его малую толщу проточили бесчисленные полыньи. В одну из таких ям провалился Трояни. Слепой Бегоунок ринулся ему на помощь, сам оступился в воду, с невероятным трудом вытащил на лед свое большое тело и за край одеяла стал втаскивать Трояни...

Над водой показалась голова Биаджи, видимо, он нашел упор и толкнулся вверх. В руках у него была рация.

— Брось!.. — срывался с голоса Вильери. — Слышишь, брось!.. Она все равно ни к черту!..

Но Биаджи был тем солдатом, что не выпускает оружия даже из мертвых рук. Вильери содрал с него шапку и ухватил за волосы. Мокрые короткие волосы выскользнули из пальцев, и Биаджи вновь ушел под воду.

Чечиони погрузил руки в ледяное крошево, нашел радиста, рванул на себя, нехорошо закричав от собственной боли. Вновь возникла черная голова, плечи и верхняя часть туловища Биаджи, он по-прежнему прижимал к себе ящик рации, а глаза его были закрыты.

— Друзья!.. Друзья!.. Где вы?.. — слышался трагический голос Бегоунека. Он кружился, словно слепая лошадь, оступаясь в полыньях, весь обросший льдом, беспомощный, жалкий и страшный.

Новая трещина разломила льдину, черно вспухла в ней, и хлынула на лед вода океанских глубин...

...«Красин» спешит на выручку. Все на ледоколе напряжены до предела.

На пределе шуруют топки полуголые кочегары.

На пределе усталость радистов, их без конца теребят, а им давно уже никто не отзывается.

На капитанском мостике — бледный, подтянутый Эгги. На мачте — дозорные, палуба и борта запружены людьми, припавшими к биноклям. То одному, то другому кажется, что он обнаружил потерпевших. Этот счастливец начинает кричать, размахивать руками, все кидаются к нему, вперяют в даль окуляры, но обнаруживают либо тюленей, либо моржей, либо медвежье семейство, либо просто игру света и тени.

Короткое разочарование, новый поиск, новая добрая вспышка, новое огорчение...

И вдруг чей-то странно спокойный голос:

— Вон они!

Все бинокли уставились в одном направлении. Красинцы видят небольшую льдину, хрупкую и непрочную в промадности простора, а на ней недвижно распростертые фигуры четырех людей. Пятый — его видно со спины — застыл в сидячем положении. Когда-то так вот лежало девять человек из состава экипажа «Италии», а десятый, мертвый, сидел на валуне. Но у красинцев, естественно, не могло быть подобной ассоциации. Они глядели в молчаливом ужасе на этих пятерых, и каждого томило предчувствие, что помощь запоздала.

В молчании подходит ледокол к льдине.

— Он движется!.. Глядите, движется!.. — прозвучал голос Любы.

В кругах бинокля видно, что сидящий человек равномерно подымает и опускает руку. А еще через некоторое время не осталось сомнений, что человек этот безотчетливо тюкает ключом мертвой рации.

— Это Биаджи!.. Радист Биаджи!..

И тут «Красин» заревел. Распростертые на льду фигуры зашевелились. Люди приподнимались, цепляясь друг за дружку, пытались встать. У них не осталось сил, они оскальзывались, падали, снова подымались, им хотелось стоя встретить спасителей. И они добились своего. Приваливаясь друг к другу,

в товарище находя опору, они стали в рост на ледяном своем острове.

И все на корабле, начиная с маленькой Любы, у которой глаза на мокром месте, кончая невозмутимым капитаном Эгги, заплакали не от жалости или умиления — от светлого чувства человеческого братства.

Подняв на Пономарева мокрое от слез лицо, Люба сказала:

— Надо, наверное, всегда так жить, как будто кого-то спасаешь.

Пономарев понял и положил ей на голову большую добрую руку.

...В Нью-Олесунде в своей комнате томится мисс Бойд. Пепельницы полны окурков, которые натыканы также в цветные горшки, фарфоровые вазочки и раковины, изобильно украшающие комнату. В комнате реет сизый дым.

Мисс Бойд только что осушила очередной стаканчик виски, щеки ее зарумянились ярче обычного, глаза заблестели, только рот по-прежнему печален. Мисс Бойд закружилась по комнате, напевая венский вальс, тот самый вальс, что играл Амундсен, когда к нему приходил прощаться Финн Мальмгрен. И вдруг как подкошенная упала в кресло.

Перед ней на ночном столике — большая фотография, вставленная в рамку, похожую на оклад; из мехового капюшона глядит спокойное суровое лицо Руала Амундсена. Глаза мисс Бойд затуманились, и она несколько не удивилась и совсем не испугалась, когда в темном углу комнаты обрисовалась фигура человека в малице с капюшоном, надвинутым на голову. Мисс Бойд заговорила тихо, с невыразимой нежностью:

— Вот вы и пришли, Руал... Я столько лет ждала этой встречи. Я видела вас часто... во сне, в грезах наяву, со дна бокала всплывало ваше прекрасное лицо... Я люблю вас, Руал... Я полюбила вас девочкой, когда вы вернулись из своего первого плавания, и с тех пор храню вам верность... Люди считают, что я искалчила свою жизнь, но это неправда. Так хоро-



шо и горько быть верной любимому, который даже не знает, что ты есть на белом свете. Почему вы молчите, Руал?.. И почему вы явились мне? Лишь души умерших могут являться живым, или... Боже мой, я все поняла, все!..

Дух отступил, и тихий сумрак поглотил его.

Мисс Бойд заметалась по комнате. Она хватала чемоданы, швыряла в них первые попавшиеся под руку вещи, с ее губ срывалось, словно в бреду:

— Он погиб... погиб... Прочь отсюда, немедленно прочь!

— Можно? — в комнату вошел Рийсер-Ларсен.

— Не говорите ничего! — закричала мисс Бойд. — У вас лицо измазано неудачей!

— Вы правы, — задумчиво сказал Рийсер-Ларсен, — мне слишком долго везло, сейчас пришла расплата...

— Я уезжаю!.. Продолжать поиски бессмысленно! Его нет, нет!..

— Вы слишком рано отчаялись.

— Молчите! Если б у меня оставалась вера, я наняла бы целую эскадрилью, я бы всех заставила служить ему... Но его нет, нет!.. Уходите, мне не о чем с вами говорить!..

Рийсер-Ларсен повернулся и молча вышел.

Мисс Бойд с яростью отчаяния швыряет в чемодан свои вещи...

...В Кингс-Бее царит радостная кутерьма. Принарядившиеся жители Нью-Олесунда толпятся на берегу бухты. Здесь же спуют съехавшиеся со всего света корреспонденты. Усеяны нарядами пассажирами палубы океанского туристского парохода «Стелла Полярис», прибывшего сюда специально ради того, чтобы путешественники могли взглянуть на «Красина». Советский ледокол уже входит в бухту.

С «Читта ди Милано» спускают бот, чтобы принять на борт спасенных «Красиным» соотечественников и, теперь уже единственного иностранца, доктора Бегоу-нека.

Из своей каюты, опираясь на костыль, сильно прихрамывая, вышел Умберто Нобиле. Его исхудавшее,

бледное лицо гладко выбрито, пуговицы мундира начищены, брюки отутюжены, он тоже как мог принарядился для встречи с товарищами по несчастью.

Капитан Романья ди Манойя, расфранченный как петух, преградил ему путь.

— Вам лучше оставаться в своей каюте, вы слишком слабы.

— Я прекрасно себя чувствую. И я должен лично поблагодарить красинцев.

— Я попрошу профессора Самойловича посетить вас в свободное время на «Читта ди Милано».

— Но мы должны немедленно договориться о поисках группы Алессандрини!

— Это лишнее. Правительство считает, что все спасательные работы закончены. Группа Алессандрини погибла при взрыве оболочки.

— Это не более чем домысел! — возмущенно вскричал Нобиле.

Романья жестко усмехнулся.

— Вы так относитесь к мнению дуче?

— Скажите, что все это значит?

— А то, полковник, что вы достаточно облагодетельствовали людей, доверивших вам свои жизни. Отойдите в сторону. Праздник этой встречи не для вас. Вы вернетесь в свою каюту и будете находиться там, пока я не разрешу вам выйти. И мой совет: не носите этот мундир... во всяком случае, до суда.

Но Умберто Нобиле уже все понял в ту секунду, когда Романья назвал его «полковником». Он нашел в себе силы для презрительной усмешки.

— Странно, что у нас наказание предшествует следствию и суду!

— Напрасно обольщаетесь — это еще не наказание! — нагло сказал Романья. — И почаще вспоминайте слова его святейшества: «Крест господень — тяжкая ноша!»

Нобиле повернулся и, хромя сильнее обычного, проковылял в свою каюту.

Он опустился на узкий диванчик, склонил голову на кожаную подушку и закрыл лицо руками. Странные видения возникли перед ним.

Вот он яростно доказывает что-то людям в мундирах, сидящим за длинным, высоким столом. Люди сидят, опустив головы, а потом враз обращают к нему свои лица; оказывается, у всех сидящих здесь тупо-высокомерное, родственное дуче лицо капитана Романьи ди Манойя. И вдруг один из носителей облика капитана Романьи бросился к Нобиле и грубо сорвал с него генеральские погоны... Это видение вытесняется другим: постаревший, полысевший, поседевший Нобиле в штатском костюме что-то говорит в микрофон, глаза его полны слез, а рот кривится болью и бессилием; и сразу иное видение: теперь он говорит с парламентской трибуны, а в ответ несутся бешеный свист и крики: «Долой!», «Позор!», беснуются правые, травя левого депутата; и без перехода — еще более постаревший Нобиле бьется своим бедным, тоже постаревшим голосом в недоверчивую душу толпы. Он застонал и открыл глаза.

— Оправдываться — вот мое будущее... — проговорил он вслух.

И тут к нему на колени прыгнула Титина. Она скрывалась под диваном, но сейчас, словно почуяв, как нуждается в участии ее хозяин, впервые после катастрофы сама пришла к нему.

— Маскотта, — слабо улыбнулся Нобиле и стал гладить собачку...

— Как поживаете, генерал? — раздался звучный голос.

Нобиле вздрогнул и обернулся. Занимая дверной проем своей могучей фигурой, стоял Рийсер-Ларсен.

— Ларсен... дорогой!..

Нобиле вскочил и, забыв о больной ноге, кинулся к нему. Летчик вовремя поддержал его. Они обнялись.

— Как же вас пустили ко мне? Ведь я узник.— Нобиле горько усмехнулся.

— А я и спрашивать не стал. Как ваше здоровье, генерал?

— Уже не генерал, меня разжаловали.

— В моих глазах вас никто не может разжаловать.

— Они сделали куда худшее — запретили искать группу Алессандрини!

— Не отчаивайтесь, генерал, надо верить и ждать, верить и ждать. Я до печенок убежден, что все пропавшие найдутся.

— Так почему же вы так печальны? — Нобиле пытливо вглядывается в лицо Ларсена. — Что с вами, Ларсен? Вы такой красивый, знаменитый, смелый, счастливый в каждом деле...

— Нет, удача разминулась со мной. Меня бросила невеста. Не дождалась моего возвращения. Не все норвежки Сольвейг. Она вышла замуж за оптового торговца. У него два неоспоримых преимущества передо мной: он прочно прикован к земле и никого не спасает. Мисс Бойд, вы, конечно, слышали о ней, предала меня. Ни с того ни с сего собрала чемоданы и удрала. Она почему-то уверилась, что Амундсен погиб. А я не верю!..

— И я не верю, — тихо сказал Нобиле. — Бог не допустит!..

— Бог и сам дьявол не допустят, чтоб в живых оставались такие мерзавцы, как Цаппи, ничтожества, как Мариано, а Мальмгрены и Амундсены погибали! — с силой сказал Рийсер-Ларсен. — Пусть мне изменят тысячи невест и пусть все старые девы мира поверят в его гибель, я буду искать его. Если правительство отнимет у меня мой летающий гроб, я буду искать его на собаках, на лыжах, на карачках!..

Нобиле с чувством пожал ему руку.

— Вы правы: надо верить и ждать!.. — Он достал бутылку коньяку и наполнил две рюмки.

— Сколь! — торжественно произнес Рийсер-Ларсен норвежское застольное приветствие.

— Ах, как я люблю это доброе слово, как радостно мне слышать его от вас! — растроганно сказал Нобиле и встал. — За Амундсена!..

Они выпили.

— Как подумаешь сейчас, зачем была наша ссора с Амундсеном и все жестокости, что мы бросали друг другу, — с болью сказал Нобиле. — Почему прозрение приходит так поздно?.. Люди, люди, спасите ва-

ши души! Спасите не на краю, не на последнем пределе, а когда все еще поправимо!..

Снаружи слышались громкий шум, крики. Нобиле выглянул в иллюминатор. Команда «Читта ди Милано» дружно приветствовала подошедший «Красин».

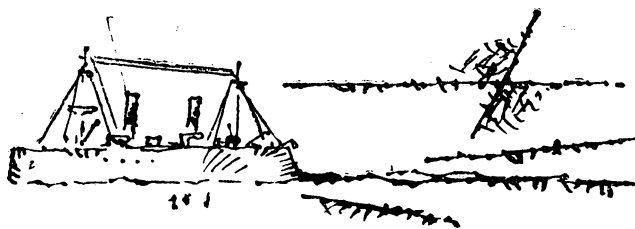
Нобиле видит, как сердечно прощаются спасенные со спасителями. Он видит обожженные морозом, иссушавшие, но чисто выбритые, веселые лица своих товарищей по красной палатке. Вот стройный, высокий Вильери в сером, очень идущем ему костюме и лихо заломленной кепке; вот улыбающийся и такой симпатичный Биаджи; вот Чечиони на новеньких костылях; вот добрый, толстый, трогательный Бегоунок в темных очках; вот маленький Трояни, тщетно старающийся казаться спокойным, ироничным. Мечется по палубе, обнимается с красинцами горбоносый — теперь навек зловещий — Цаппи, а на специальном кране спускают носилки с Мариано, и он слабо помахивает бледной рукой...

Поняв душевное состояние Нобиле, Рийсер-Ларсен ласково обнял его за плечи и покинул каюту.

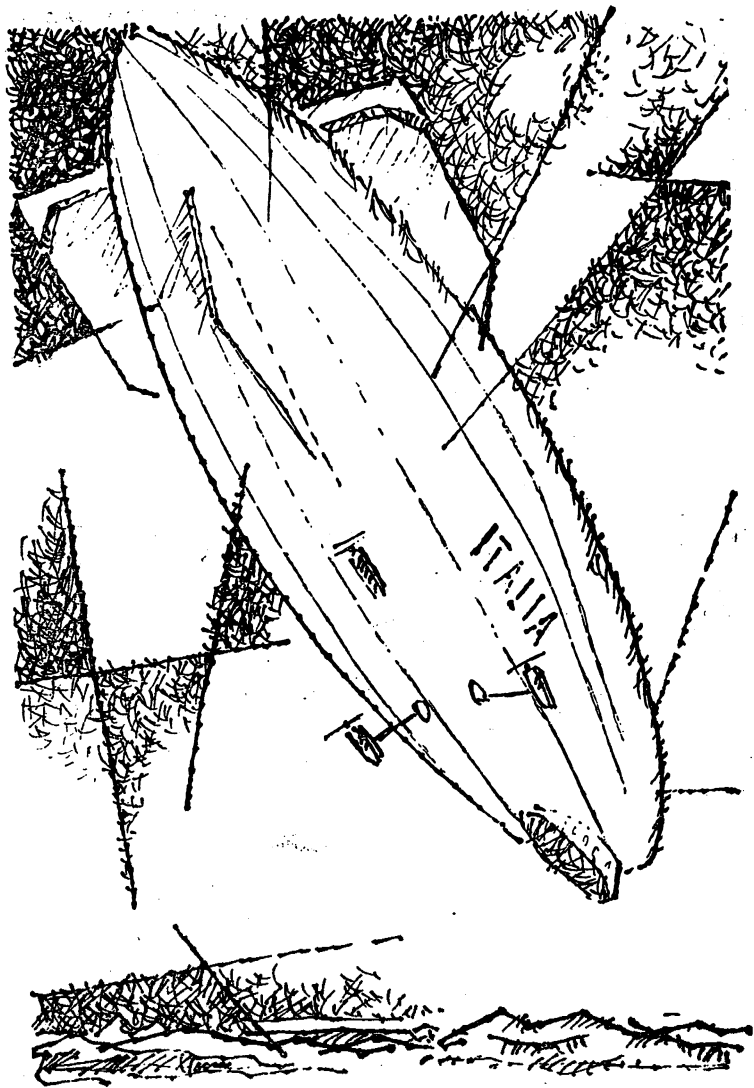
Нобиле видит и красинцев, у аэронавта хорошее зрение: вот усатый Самойлович, они встречались в Гатчине, рядом с ним в кожаном шлеме пилота, верно, Борис Чухновский, какое у него милое, застенчивое лицо! Возле летчика — девушка с волосами цвета спелого ячменя, и еще летчики, офицеры, черномазые кочегары, матросы ледокола-спасителя...

У разжалованного генерала Нобиле такие сейчас глаза, что его пожалел бы даже злейший враг...

...По берегу Кингс-Бея бредет Рийсер-Ларсен. Он не видит, как не крупная тугая волна выкатывает на отмель желтый бак с отчетливой надписью черными буквами: «Латам». Затем море, словно передумав, приподнимает бак и, слегка подкидывая, играя, уносит его прочь от берега.



По следам одной экспедиции



Летом 1928 года мы жили на даче возле Акуловой горы, прославленной Маяковским, над извиистой, омутистой Учей, но всей своей восьмилетней азартной и жадной душой я находился в далеких северных пределах, где люди жертвовали жизнью ради спасения других людей. Дирижабль «Италия» под командованием генерала Умберто Нобиле, совершив смелый рейс к Северному полюсу, потерпел аварию на обратном пути неподалеку от Шпицбергена. Командирская гондола разбилась о торосы, и часть команды была выброшена на лед, остальных унесло вместе с оболочкой дирижабля. И тут мир, раздираемый враждой идеологий, верований, честолюбий, экономическими и социальными противоречиями, вдруг вспомнил, что он кругл, целостен, замкнут в самом себе и уж в силу одного этого населен родственниками, пусть дальними и сварливыми. Люди четырнадцати национальностей пришли на помощь Нобиле и его спутникам.

Пока длилась эта героическая и страшная эпопея, некий скромный сержант все сильнее привлекал к себе симпатии мира. То был радист «Италии» Джузеппе Биаджи, отстоявший на льдине бессменную сорокапятидневную вахту. Непонятно было, когда он спит, ест. В любой час дня и ночи, в разных концах мира звучали его позывные; все коротковолновики мира



были уверены, что в любой час дня и ночи они будут услышаны радистом «Италии». Его трудолюбие, самоотверженность, присутствие духа и мастерство вызывали всеобщее восхищение. Постепенно стали известны и другие черты его личности: верность товарищам, веселый нрав, неизменное добродушие и душевная стойкость. На многочисленных фотографиях, что ни день появлявшихся во всех газетах, простое лицо Биаджи с глазами, как влажный чернослив, лицо молодого итальянского крестьянина, притягивало к себе чудесным выражением доброты и надежности. И все, что случалось с ним во время дрейфа, было окрашено доброй улыбкой. В Риме у него родилась дочь, и он дал ей по радио имя Италия в честь родины и дирижабля. Первое сообщение, которое ему удалось поймать с «Читта ди Милано», плавучей базы дирижабля, было требование сообщить номер его военного билета, иначе там отказались верить в подлинность призывов: «SOS, «Италия», Нобиле, SOS»; последним сообщением с Большой земли было напоминание римского муниципалитета, что сержант Биаджи не уплатил налога на собаку.

Биаджи был единственным «народным» человеком на льдине, и его ледовое существование не было окрашено ни в трагические, ни в героические тона, оно несло на себе печать тяжелого труда, бытовых радостей и огорчений.

Он был голосом знаменитой красной палатки, поэтому его все знали; он был неумолчным голосом, поэтому все уважали его; он был человечески привлекателен, поэтому все симпатизировали ему, но он не связал свое имя ни с дезертирством, ни с чем-либо темным, гибельным для окружающих, поэтому мировая пресса не занималась им столь вдохновенно, как зловещим Цаппи или слабым Мариано. О них да и некоторых других участниках злосчастной экспедиции газеты писали еще долго после того, как и следа не осталось от ледового лагеря. Сержант Биаджи ушел в неизвестность, как и положено нечиновному человеку. Он, правда, подобно всем своим товарищам по несчастью, написал книгу и на авторский гонорар

приобрел мебель красного дерева. Затем мир на целых тридцать семь лет забыл о существовании маленького, смуглого, черноглазого радиста.

Между тем жизнь наградила его еще одним приключением. В пору второй мировой войны Биаджи попал в плен и целых семь лет провел в Индии. Он, видевший торосы и айсберги, непуганых белых медведей и моржей, северное сияние и черноту воды океанских глубин, нежданно разрывающей ледяную броню, увидел пальмы, слонов, священных коров и худых, как на рентгеновских снимках, индийцев. Здесь из всякой рухляди, отбросов он умудрился собрать радиоприемник, каждый вечер пленные слышали голос далекой родины. Их накрыли, и сержанту Биаджи грозил расстрел, но восхищенные его изобретательским даром индийцы помиловали радиста.

Биаджи вернулся на родину, демобилизовался и завел бензоколонку на окраине Рима. В картузе с полукруглым козырьком, в сером выцветшем халате он с утра до поздней ночи питал проезжающие машины бензином и маслом, обмывал из шланга их запыленные бока, протирал стекла. Семья бывшего радиста жила скудно. Дать образование своим теперь уже взрослым детям — сыну и дочери — Биаджи не сумел. Они пополнили собой армию неквалифицированных рабочих. Появились внуки, но дочь не рискнула сделать мужем горького бедняка — отца своего ребенка, а сын не осмелился привести в дом бедную свою подругу.

И сын и дочь часто оставались без работы, и Биаджи один тянул всю большую семью. А потом случилось самое страшное в жизни бедняка: Биаджи заболел. Он крепился до последнего, работал и не шел к врачам. Его нельзя было заменить у колонки: если его крошечная автозаправочная выдерживала кое-как конкуренцию блестящих «эссо» и «шеллов», то лишь потому, что иным автомобилистам казалось лестным заправиться у легендарного радиста «Италии».

Желудочное кровотечение измотало сильного человека, он слег, и очень скоро все жалкие сбережения — то, что оставляли на черный день в робкой

надежде, что день этот никогда не придет, — ушли на лечение и лекарства. Затем пришлось расстаться с бензоколонкой. Герою «Италии» со всей семьей грозила гибель от нищеты. Умберто Нобиле напомнил соотечественникам о некогда знаменитом радисте, он внес в «фонд Биаджи» триста тысяч лир, открыв список жертвователей. О Биаджи заговорили газеты, была передача по телевидению, его поместили в бесплатной госпиталь...

Памятным акулловским летом я не играл в Биаджи. Я играл в Чухновского, Амундсена, Мальмгре-на — ярких героев с радостно-трудной или трагической судьбой. И все же образ Биаджи и для меня, мальчишки, светился каким-то особым светом...

Но вот минул тот самый срок, какой понадобился людям, чтобы вспомнить о радисте «Италии», и пережитое в детские годы вновь неожиданно вошло в мою жизнь. Кинематографисты нескольких стран решили поставить фильм о спасении экспедиции Нобиле, напомнить людям, что они способны не только к розни, но и к единению. Мне предложили написать сценарий. Нужно ли говорить, с какой радостью дал я согласие и пустился в «поиски за утраченным временем».

Наговорившись вдосталь с уцелевшими в жизненных бурях красинцами, надышавшись пылью архивов, старых журналов и газет, я отправился в Норвегию, Швецию, а затем в Рим. Здесь меня постигло разочарование. Генерал Нобиле уехал к больной жене в Калабрию, адмирал Мариано в самый канун моего приезда улетел в Испанию, Трояни давно уже переселился в Южную Америку, вице-адмирал Вильери находился где-то на севере, Цаппи умер два года назад, Чечioni — совсем недавно, Биаджи... Джузеппе Биаджи умирал в одном из римских госпиталей. Смерть последовательно вершила жатву в поколении, чья юность, чьи дерзания пришлись на двадцатые годы. Без всякой надежды на свидание позвонил я в госпиталь и неожиданно услышал, что Биаджи хочет меня видеть.

Шофер такси без труда нашел эту тихую улицу,

затененную рослыми пиниями. Четырехэтажное серо-желтое здание госпиталя тоже погружено в тень, лишь окна верхнего этажа позолочены солнцем. Толкнув тяжелую, с медной ручкой дверь, я прошел в прохладный вестибюль.

Из приемного покоя выметнулся дежурный врач в халате, скрипучем от крахмала и глажки, и белой шапочке.

— Это вы звонили? Второй этаж, палата 12. Синьор Биаджи ждет вас. С ним жена и дети. Постарайтесь не слишком утомлять его.

Большое бледное лицо на белизне подушки кажется смуглым. Когда-то у Биаджи были густые, черные как смоль волосы, теперь короткий седой ежик. Впрочем, в этом бледном, обреченном лице сохранилась несломленная сила. Хороши темно-карие теплые глаза, неразвернутая, застенчиво-добрая улыбка. Возраст и болезнь придали суровости мягким чертам Биаджи, он и похож и резко непохож на свои фотографии в молодости.

У постели — жена, пожилая, очень полная женщина, в ее движениях, повороте и наклоне головы, взмахе намятых плачем век порой мелькает былая прелесть; сын с заячьей губой и усталым телом много и тяжело работающего человека; дочь, небольшая, коренастая, с крепкой грудью.

— Здравствуйте, дорогой Биаджи, вам привет из Москвы от летчика Чухновского.

— Спасибо, — с подушки светит прекрасная улыбка. — Как он?

— Недавно перенес тяжелую болезнь, лежал в госпитале, сейчас в порядке.

— Слава мадонне!.. Редет наш круг. За последние годы мы потеряли Натале Чечиони, Цаппи и... меня.

— Не гневи бога, Джузеппе! — вскричала жена. — Врачи так довольны исходом операции!..

Резко повернулась на стуле и обмахнула лицо рукой, чтобы скрыть рыдание, дочь Биаджи.

— Мама не знает, отца только разрезали и сразу зашили, — сказала мне тихо.

Биаджи исхудалой, но широкой в кости, еще сильной рукой погладил колени жены.

— Что бы вы хотели от меня услышать? — обратился он ко мне.

— Рассказ, пусть совсем коротенький, о самом сильном переживании вашей жизни.

— Я числился тогда во флоте, но служил на берегу, — чуть подумав, начал Биаджи. — Наша часть стояла в... — лоб его собрался в толстые складки.

— В Колино-Вольпи, — подсказал сын.

— Молчать! — с внезапной грозностью вскричал лежащий на койке человек. — Я или ты герой этой истории?

— Ты, ты, отец! — поспешно заверил сын.

— То-то!.. — смягчился больной. — Синьора Анита Биаджи была в ту пору синьориной Бучелли и составляла ровно четверть от своего нынешнего объема, но из-за этого я любил ее не меньше...

В рассказе Биаджи вставало маленькое селение под Римом. Полдень, жара, только что проехал воз, и поднятая им густая белесая пыль густо пудрит листья каштанов. Пыль окутала стройную фигуру девушки. Черные волосы стали седыми, смуглое лицо — серым, синяя юбка — голубой, а красная кофточка — розовой, будто выгоревшей. Пыль забила девушке пунцовый рот, маленькие, красиво вырезанные ноздри, она неудержимо расчихалась. Это привело в восторг трех изнемогающих от жары солдат, среди которых юный Джузеппе Биаджи с огромными черно-влажными глазами.

— Почешите переносицу, синьорина, вам сразу полегчает!

— Или прочтите сто раз «Отче наш»!

— Или поцелуйте будущего радиста королевского флота! — эта дерзкая шутка принадлежала Биаджи.

Девушка хотела гордо пройти мимо весельчаков, но, не удержавшись, снова отчаянно расчихалась и почти в слезах скрылась в полутьме лавочки.

Пока Анита делала свои несложные покупки, Биаджи успел высвистать из прокаленной солнцем пыли щенка по кличке Скарамуччо. Мохнатый, уродли-

вый щенок соединял в своем облике крайности многих пород: от таксы он позаимствовал удлиненное туловище и кривые ноги, от фокстерьера — расцветку, от эрделя — морду кирпичом, от пуделя — кудлатость.

Когда Анита вышла из лавки, Биаджи громко, так что слышала вся сельская площадь, приказал: «А ну, Скарамуччо, прыгни в честь синьорины!» — и пес высоко подпрыгнул, вызвав аплодисменты празднующихся. Девушка почистилась в лавке, и сейчас волосы ее были черны и глянцевиты, щеки розовы по смуглоте, кофта алела, юбка своей синью навевала морскую прохладу. Анита прибавила шагу, замешалась в рыночную толпу, и тогда послышалось новое приказание: «А ну, Скарамуччо, покажи, кто самая красивая девушка между Колино-Вольпи и будущим рождеством!» Пес стремглав кинулся в толпу, нагнал Аниту и осторожно взял в зубы край ее синей юбки. «А теперь прыгай, Скарамуччо, выше, еще выше, прыгай до луны, до звезд в честь прелестной синьорины!»

Скарамуччо прыгнул еще двадцать, или тридцать, или сто раз, и Анита поняла, что в итальянском флоте нет моряка более очаровательного, чем Джузеппе Биаджи. Каждую ночь Джузеппе убегал из казармы. Ночь давала им все: прохладу, защиту от любопытных взглядов, каменистую, белесо светящуюся тропинку, по которой они бродили, чуть касаясь друг друга локтями, плечами, ночь давала им много, много звезд. Но и самая звездная, самая бархатная ночь не могла ничего сделать, чтобы рядовой матрос, восьмой сын владельца крошечной апельсиновой фермы, и бедная крестьянская девушка стали мужем и женой. Самый вид Биаджи действовал на родителей Аниты хуже, чем развевающаяся тряпка на быка. Пришлось пойти на хитрость: Анита призналась в грехе, которого не было. Родители благословили свою дочь с чисто итальянской щедростью. Отец вытолкнул ее в одной спальной рубашке за порог, а мать швыряла ей в голову кастрюли, сковороды, жалкую ее одежонку. Голос синьоры Бучелли был слышен в предместье Рима: «Проклинаю!»

Уныло бормотал усталый и благодушный родитель Аниты. Конечно, Анита плакала и грозила утопиться — без всякого, впрочем, риска, ибо в окрестностях Колино-Вольпи нет воды. Биаджи от греха подальше посадили под арест. Но все эти печальные события не помешали тому, что через неделю мать Аниты, кроткая, нарядная, умиротворенная и растроганная, об руку со своим супругом, надевшим в честь торжества сюртук гарибальдийских времен, провожала в церковь молодых...

— Я прожил долгую и бурную жизнь, — закончил свой рассказ больной, — но пережитое в те далекие годы осталось самым сильным в моей памяти.

— Спасибо, Джузеппе, — с усилием произнесла жена.

— И я благодарен вам, Биаджи, и за рассказ и за урок высокой жизненной мудрости...

— Это простая мудрость, — с живостью перебил Биаджи. — Живешь, суетишься, летаешь на Северный полюс, а приходит час, и что ты уносишь с собой: лицо любимой, когда она впервые посмотрела на тебя...

С уголка рта на подбородок и дальше, на шею, грудь, на белизну рубашки и простыню побежала ярко-красная струйка крови. Биаджи тронул свою кровь и посмотрел на испачканные пальцы. Меня удивил его взгляд. Обычно людей пугает вид крови, особенно своей. Пугает как-то изумленно, растерянно, болезненно, словно мы никак не ожидали, что внутри нас циркулирует этот красный теплый сок. Но Биаджи посмотрел на свою кровь без малейшего испуга, серьезно, задумчиво и словно бы с уважением к незримой жизни организма.

Вбежал санитар. Я стал поспешно прощаться. Перед тем как откинуться на подушки, Биаджи чуть повернул голову и важно кивнул мне, говорить он не мог, кровь заполнила ему рот.

— Римское телевидение уже сделало фильм о папиной кончине, — с жалкой гордостью шепнул сын Биаджи.

Эти сообразительные люди поторопились. Биаджи

еще раз обманул смерть. Врачи развели руками недоуменно и выписали его из госпиталя. Он снова оказался в старой своей квартире, где тщательно лелеемая мебель красного дерева так грустно не вяжется с облезлыми стенами, задымленным, потрескавшимся потолком, с углами, скопившими зеленую плесень; в квартире, куда доносятся из колодца двора, завешанного бельем, пряные запахи еды и мыльной пены, крикливые голоса вечно спорящих женщин, хриплое пение подвыпившего инвалида на тележке, голоса детей, простая, горькая, терпкая, прекрасная жизнь, частицей которой является и сам Биаджи.

Маленький радист все еще несет свою бессрочную вахту, он не из тех, кто умирает раньше смерти.

#### У МАЙОРА ЭЙНАРА КРИСТЕЛЯ

Когда я узнал, что в Стокгольме живет майор в отставке Эйнар Кристель из спасательной летной группы капитана Турнберга, во мне затеплилась надежда, что наконец-то приоткроется тайна трагической гибели Финна Мальмгрена. У меня не было к тому никаких оснований, кроме одного: майор Кристель явится первым шведом, с которым я буду говорить о Мальмгрене. Поездка в Упсалу, где Мальмгрен работал многие годы, где некогда училась его невеста Анна Норденшельд, где ему поставлен памятник, почти ничего не дала мне для работы. Вернее, поездка дала пейзаж. Теперь я знал, о чем мог вспоминать оставленный спутниками в ледяной могиле Мальмгрен, какие видения могли реять в его мозгу, охваченном смертным сном замерзания. Но, быть может, я напрасно распространяю на других то, что присуще только мне: мои скорбные видения — в снах на войне, в полубреду контузии, в бреду болезни — были всегда «пейзажны»...

Старинный университетский городок Упсала исполнен редкого очарования. Его нежную серебряную тишину озвучивают часы кафедрального собора, ро-



няющие округлый, гулкий, полнозвучный бой, да галки, гомонящие над верхушками рослых, по плечу собору, деревьев. Эти деревья образуют тенистые аллеи, просквоженные впоперек солнечными лучами, и гуляющие студенты все время переходят из тени в свет, из света в тень. В Упсале кварталы старинных домов, заставляющие вспомнить о студенте Гамлете, впрочем никогда в Упсале не учившемся, и современные рестораны, многочисленные старинные и недавней стройки корпуса факультетов, научные институты. В одном из них, невдалеке от кафедрального собора, работал метеоролог Мальмгрэн.

В окнах небольшого, стоящего наособь флигеля горел свет, но никто не отозвался на звонки. Я вскарабкался по водосточной трубе и заглянул в освещенное окно бельэтажа: там работала молодая женщина. Я забыл, как она выглядит, и сейчас, пытаюсь вспомнить ее, почему-то вижу медсестру в белом халате и белой марлевой косынке. Не было ни халата, ни марли, просто женщина разглядывала большой градусник, вынув его из подмышки вечера.

Почему же она не открывает? Я снова принялся звонить, дубасить кулаками в дверь, и минут через пятнадцать мои усилия увенчались успехом. Женщина открыла с тем невинно-удивленным выражением, какое нередко бывает на лицах людей, страдающих глухотой, но не признающих в этом. Она понятия не имела о Мальмгрэне. Что тут удивительного? Она не здешняя — из Гетеборга. Это звучало так: с Огненной Земли или еще дальше — с Луны.

Ну как же, он участник экспедиций Амундсена и Нобиле, настаивал я, он погиб во льдах Арктики, и тайна его гибели до сих пор тревожит умы. Когда это случилось? В 1928 году. На лице женщины — обида. Простите, меня тогда на свете не было! Здесь в Упсале есть памятник Мальмгрэну. Сухо: не знаю, и дверь захлопывается.

Я стал приставать к прохожим, преимущественно к студентам, рассчитывая на их интеллигентность и юношеский романтизм, не скажут ли они, где находится памятник Мальмгрэну. Реакция была неизменной:

любезно-непонимающее лицо, переспрос: «Как вы сказали?», легкое пожатие плеч и: «Простите, я не здешний». Как будто Мальмгрен был церковным служкой, которого знают лишь в его приходе. Но и пожилые упсальцы, явно «здесьние», не могли указать, где находится памятник их славному соотечественнику, хотя иные, несомненно, знали, о ком идет речь. Можно было подумать, что Упсала без счета выбрасывала в мир великих людей, а затем увековечивала их в нетленных материалах, как Древний Рим своих богов, императоров и героев. Наконец, один пожилой упсалец после долгого раздумья вычислил, что памятник Мальмгрелу должен стоять в городском саду возле строящегося корпорантского клуба.

Вскоре я отыскал новостройку. Пожилой господин в старомодном крахмальном воротничке и галстук-«бабочке» подтвердил, что памятник и впрямь должен быть поблизости, но где именно, этого он не помнил. Он покрутил жилой, венозной рукой возле большого голого виска и, улыбнувшись, пояснил: склероз.

Уже давно наступили сумерки и центральная часть города засеребрилась дневным электричеством, озарившим и дальние концы убегающих к центру улиц, а в саду было темно, редкие фонари не могли преодолеть двойную темь: часа и деревьев. Затем в глубине сада занялось световое облачко, мгновенно родившее тихую вальсовую музыку, а вокруг меня по-прежнему царили мрак и пустота. Немолодая женщина с бледным от пудры и черногубым от густой помады лицом, выловленная мной из тьмы, решительно, почти с возмущением, отвергла существование здесь памятника.

Женщина потонула в ночи, а я сразу увидел под высокими, мощными деревьями бронзовую фигурку человека в костюме полярика: да, «фигурку», ибо так умален был громадностью деревьев этот памятник, лишенный пьедестала. Конечно, под фигурой было какое-то подножие, но казалось, что бронзовый Мальмгрен стоит прямо на земле. Это могло бы стать счастливой находкой, пусть невольной, — упе-

реть ноги Мальмгрена в родную землю, вдали от которой он погиб, если б тем самым не усугублялась мизерность памятника.

Мальмгрен был легкий, воздушный человек, все от Ариэля, ничего от Калибана, изящный, тонкой кости, веселый человек с железной волей; будучи самым молодым среди тогдашних знаменитых полярников, он не казался маленьким даже рядом с такими кряжами, как Амундсен, Рийсер-Ларсен, Вистинг. Памятник производил грустное и недоуменное впечатление. И стало понятно, почему никто не мог указать, где он находится. Странной двусмысленностью веяло от небольшой бронзовой фигуры, упрятанной под деревьями, в стороне от пешеходных и проезжих дорог. Этот памятник, поставленный словно бы в погребке, в тайнике, не прославлял в человечестве, а скрывал от взора людского того, кому был посвящен.

Так и покинул я прекрасную Упсалу с ее университетом, собором, деревьями-великанами, горластыми галками и нарядными студентами — со смутной грустью в душе...

Я очень рассчитывал, что майор Кристель рассеет мое недоумение. Конечно, он интересовал меня и сам по себе, живой, — а много ли их осталось! — участник спасения Нобиле. Майору Кристелю не выпало шумной славы, хотя о его смелых полетах над льдами писал и Бегоунок в книге «Трагедия в Ледовитом океане» и многие другие авторы. Он был в паре с Лундборгом, когда тот, совершив рискованную посадку на льдине, вывез генерала Нобиле. Кристелю, летавшему на гидроплане, для посадки требовалась водная дорожка.

Майор в отставке Кристель разговорился, лишь когда выяснилось, что мне известны почти все обстоятельства спасения Нобиле. Впрочем, «разговорился» не совсем точно передает ту скупозастенчивую манеру, в которой бывший летчик поддерживает беседу.

Он очень охотно знакомит со своим архивом: газетными и журнальными вырезками, бесчисленными фотографиями, брошюрами, книгами. Многие мате-

риалы мне известны, многие фотографии повторяют виденное в других архивах, но здесь, в кабинете майора Кристеля, все воспринимается по-новому: острей, взволнованней, достоверней. Кабинет красноречиво говорит о душевной страсти хозяина, пронесенной через всю жизнь, страсть эта — север в единстве стихий: воздуха и океана. Стены завешаны картинами, изображающими море и корабли; суровое северное море и парусные суда, то на гребне пенной волны, то в темном провале между бурунами, то принявшие ветер в тугие полотнища и отважно несущиеся вперед, то измотанные бурей, с устало обвисшими парусами; и опять корабли и море, волны и паруса, и всегда небо, свинцовое, грозное, нагруженное снежными тучами, реже в синих полыньях, готовое распогодиться. И еще — много фотографий с самолетами на стартовой площадке, в небе, над льдами и темной водой. На письменном столе — фигурка матроса, поворачивающего штурвал, вновь подчеркивает, что отставной майор был не просто летчиком, а пилотом морской авиации.

Майор Кристель прекрасно вписывается в свой кабинет. Приближаясь к семидесяти, он сохранил сухопарую стройность юноши, у него широкие плечи, узкая талия, втянутый, как у спортсмена, живот. Шерстяная рубашка и легкие брюки подчеркивают молодую статью. Лицо отставного майора будто навек обдуто северным ветром; оно легко подвержено румянцу, и эта мгновенно растекающаяся по хорошему, прочно загрубевшей коже алость привлекательна — таким и должно быть мужское лицо, мужественное и застенчивое, привычное к стихиям, не кабинетное, а сотворенное природой лицо. Лишь большие роговые очки, телескопно выпячивающие льдисто-голубые глаза, говорят о том, что возраст, как ни крути, предъявляет свои права...

Эйнар Кристель с милой откровенностью говорит о своем сыне-инженере, которым тихо восхищается, о своей долгой службе, с которой он лишь недавно расстался, выйдя на пенсию. Но когда разговор зашел о главной цели моего приезда, он стал прибегать

к улыбкам, междометиям, перемежающемуся румянцу, сдержанной жестикуляции, предельно ограничив себя в словах. Сейчас мне кажется, будто я уже тогда понимал фигуру умолчания, за которой скрывается Кристель, но, возможно, я ошибаюсь, и догадка пришла ко мне много позже. Эпопея спасения Нобиле для всех участников осталась драгоценностью в душе. Тогда человечество подлинно жило одной заботой, то были сорок пять дней братства, а в Кингс-Бее, где базировалось большинство спасательных экспедиций, представлявших четырнадцать национальностей, как никогда, счастливо ощущалась родственность жителей планеты Земля, привыкших куда больше к разладу, сварам, войнам. Но наряду с большим и радостным было немало мелкого, эгоистичного и хуже — страшного. Конечно же, не это определяло суть содеянного, и потому все участвовавшие в спасении избегают говорить о дурном. Для них пережитое как песня, и они берегут чистоту песни, чтоб сквозь хрустальный ее тон не прорвались хрипы, сипы, икота. И нам, создателям будущего фильма, хочется спеть чистую песню смелым, самоотверженным людям, которые шли на гибель, чтобы помочь другим смельчакам. Но для этого мы должны услышать и хрипы, и сипы, и фальшь, иначе сами нафальшивим.

Непонятно было другое: сдержанность майора Кристеля в разговоре о Мальмгрене. Ведь даже невозмутимые, снегурочно-холодные норвежцы из Арктического института в Осло обнаруживали какое-то подобие чувства, когда речь заходила о молодом и обаятельном шведском ученом. А как нежно и восторженно говорили о Мальмгрене ленинградские метеорологи, встречавшиеся с ним в Гатчине во время перелета дирижабля «Норвегия»! Он умел привлекать к себе души, сразу обретал постоянную прописку в памяти людей, приблизившись к ним хотя бы на миг.

Майор Кристель говорил о нем с чуть печальным уважением, даже почтением, но скупно, без огня, без душевного подъема. Я спросил его: верит ли он

в жестокую, «каннибальскую» версию гибели Мальмгрена, столь распространенную в конце двадцатых — начале тридцатых годов? После катастрофы доктор Мальмгрен вместе с капитанами Мариано и Цаппи пытался пешком достичь Большой земли, чтобы прислать помощь оставшимся в лагере больным и раненым товарищам. Когда Чухновский обнаружил группу Мариано, Мальмгрена на льдине не оказалось. Из сбивчивых объяснений Цаппи следовало, что ослабевший, отмороживший ноги Мальмгрен не смог продолжать путь, и они вынуждены были покинуть его. Мальмгрен забрался в ледяной грот, разделся, кинул им свою одежду и велел уходить. Они подчинились его авторитету; опытнейший полярник Мальмгрен напомнил им о железном законе: Арктика не терпит слабых. Но капитаны забыли, что есть другой, святой закон Арктики: нельзя бросать ослабевшего товарища. Арктика знала много примеров несравненного человеческого благородства и самопожертвования, но не знала подобного предательства. Изобильные неточности и противоречия в рассказе Цаппи, а также упорное и мрачное нежелание Мариано дать какие-либо объяснения навели окружающих на страшную мысль, что капитан Цаппи воспользовался не только одеждой Мальмгрена. Было и другое: когда «Красин» подобрал обоих капитанов со льдины, полураздетый, с гангренозной ногой Мариано находился на пределе истощения, а тепло, добротное одетый Цаппи был бодр и хотел есть с аппетитом не изголодавшегося, а лишь проголодавшегося человека. Разглагольствования Цаппи о том, что Мариано, ожидавший скорой кончины, предлагал ему питаться его телом, укрепили людей в мрачных догадках. Беспощадность, с какой Цаппи раздел ослабевшего Мариано, полное отсутствие в нем угрызения совести, небрежливость его «людоедских» разговоров заставляли подозревать худшее, — стали громко раздаваться голоса, что Цаппи ускорил кончину Мальмгрена. Впрочем, никаких доказательств не было, и Цаппи вышел сухим из воды. Правда, в Италии его именем матери стали пугать непослушных детей. «Дядя Цап-

пи» заменил устаревших «буку», «вурдалака», «ведьмака»... Он почувствовал себя неуютно на родине. И тут, умиленный подвигами решительного, чуждого «дешевой сентиментальности» офицера, дуче пустил его по дипломатической части. Умер Цаппи на посту итальянского посла в Финляндии.

— А вы знаете, мать Мальмгрена приняла Цаппи и заявила в печати, что ее удовлетворили объяснения капитана, — осторожно сказал майор Кристель.

Да, я знал, что Цаппи с неподражаемой наглостью явился на глаза матери Мальмгрена и передал ей компас сына. На многочисленных газетных фотографиях я видел сильное, наглухо запертое лицо госпожи Мальмгрен и рядом несмущенное, горбоносое, с массивным подбородком лицо Цаппи. «Он приказал нам уйти, и мы ушли, — говорил Цаппи. — Вы знаете, каким волевым человеком был ваш сын, разве смели мы ослушаться?» Это были сильные слова, и госпожа Мальмгрен наклонила седую голову. «Довольно, я удовлетворена вашими объяснениями». Мальмгрены — родственники знаменитого Норденшельда, погибший метеоролог был женихом Анны Норденшельд, для семьи Норденшельд-Мальмгрен Арктика — это почти вотчина. Своим ответом госпожа Мальмгрен реабилитировала не столько Цаппи, сколько Арктику, сняв с нее подозрения в ужасном преступлении.

Я так и сказал Кристелю. Он косо наклонил голову, это движение нельзя было счесть за согласие, скорее оно изображало усиленное внимание. Но чему внимать-то? Я сказал всё и ждал ответа. Кристель молчал, и тогда я спросил без всяких околичностей:

— Вы не верите, что Мальмгрен был съеден?

Нежный младенческий румянец залил лицо Эйнара Кристеля, оплеснул лысину и зарозовел сквозь белый пух на висках, в заветренности щек розовое обрело коричневатый оттенок.

— Я категорически отвожу это гнусное подозрение!

Мне подумалось: наконец-то истина откроется мне. Все оправдательное для Цаппи, что я слышал от

участников спасательных экспедиций, читал в книгах и журналах, не обладало окончательной убедительностью.

— То, о чем вы меня спрашиваете, невозможно, потому что было бы слишком унижительно для достоинства человека, — твердо сказал Эйнар Кристель.

Слова его прозвучали как символ веры. Это было истинно по-шведски. Достоинство человека необычайно высоко стоит в этой сказочной преуспевающей стране. Оно поддерживается качеством окружающих человека вещей, уровнем жизни, обилием электрического света, озаряющего каждого гражданина Швеции. Я видел, как полицейский остановил водителя, совершившего — даже по безмерно снисходительным шведским дорожным правилам — грубое нарушение, и вручил ему повестку в суд. Я сказал своему таксисту тоном превосходства: «Надо же, за такую чепуху — в суд! У нас штрафуют на месте». — «Не может быть!» — потрясенно сказал таксист. «Честное слово! Раз-два, оштрафовали, выдали квитанцию, и привет!» — «Но как же так выходит, ваш полицейский берет на себя функции обвинителя и судьи одновременно?» — «Ну да!» — ликовал я. «Но это же юридический абсурд! Вам должно быть предоставлено право защиты, право привлечения свидетелей. Ведь полицейский, остановивший вас, может ошибиться, как и всякий человек, и если он один заменяет весь суд, то где гарантии справедливости?» Шофер даже вспотел от негодования. Неловко посмеиваясь, я сказал, что в таком мелком, пустячном деле лучше обойтись без излишних утомительных формальностей, так сказать, по-семейному: милиционер мне вроде отца родного, ну, а разве обидно пострадать, пусть и зазря, от доброй отцовской руки? «В вопросах права не бывает мелочей, — тихо сказал шофер. — Большая несправедливость рождается из малых отклонений». И он замолчал на весь остаток пути...

Аргументация майора Кристеля вопреки ожиданию оказалась самой отвлеченной из всех мне ведомых, она вообще пренебрегала фактами и строилась



на уважении к незыблемому нравственному закону, якобы управляющему человеческим существом при любых обстоятельствах. Быть может, та же причина заставила несчастную мать Мальмгрена принять объяснения Цайпи?

Я рассказал Кристелю о посещении Упсалы, о том, как мучительно трудно было отыскать памятник Мальмгрону, о том, что имя его ничего не говорит упсальцам, даже в стенах института, где он некогда работал. Станным, необъяснимым кажется мне это забвение героя, эта расточительность в отношении того, что должно быть гордостью страны, высоким примером для молодежи.

— Но он был неудачником! — сказал майор Кристель и снова покраснел.

Тогда неудачниками были и Амундсен, погибший в волнах океана, и Джордано Бруно, и Жанна д'Арк, сгоревшие на костре, а величайшим удачником — владелец гомеопатической аптеки, о смерти которого на восемьдесят седьмом году жизни с глубоким прискорбием сообщила сегодня газета «Дагенс нюхетер».

— По господствующим у нас воззрениям в известной мере так оно и есть, — наклонил голову Кристель. — У нас не любят неудачи, провала, гибели. Поймите, я выражаю не свою личную точку зрения, для меня память о Мальмгрене священна. Вы, наверное, будете шокированы, но забвению Мальмгрена способствовала и темная история его гибели и особенно мировой скандал, разразившийся вокруг его имени.

— Мальмгрена замалчивают как нечто не вполне приличное? — сказал я.

— Ну зачем так резко? Скажем, как нечто тревожащее, смущающее человеческую душу, неблагоприятное, наконец! — Мне показалось, кроткий майор вдруг рассердился.

И тут — эфирным холодком по коже — вспомнился мне прочитанный недавно роман шведского писателя Пера Валё «Гибель тридцать первого отдела». Роман этот начинается как обычный детектив с легким привкусом научной фантастики, в привычном

уже плане загляда в недалекое будущее, а затем, не изменяя приключенческому, «сыщицкому» жанру, становится серьезнейшим, горчайшим реалистическим памфлетом на самую преуспевающую из буржуазных стран. Не буду пересказывать содержание романа, скажу лишь, что заставило меня о нем вспомнить. Консолидация прессы в стране достигла предела: все газеты и журналы сосредоточились в руках одного могучего концерна. Здесь изготавливается духовная пища для детей и для взрослых, для домашних хозяек и пенсионеров, для государственных служащих и спортсменов, для рабочих и сельских жителей, для коллекционеров и шахматистов, полицейских и святош. Все эти издания содержат максимум фотографий и минимум текста; они являют собой чудо полиграфического умения: ярчайшие краски, красивые шрифты, обильные нежно-атласные вкладыши, и полную дистрофию мысли: в них не затрагиваются никакие проблемы, никакие большие вопросы. Все тревожное, способное причинить беспокойство, пробудить неудовлетворенность, заставить желать чего-то иного, кроме данности, изгнано со страниц. У издательского концерна одна цель: успокоить, убаюкать, усыпить. Но ведь в стране свободное предпринимательство, и кто может запретить уцелевшим беспокойным людям затеять новое издание: газету, журнал, бюллетень, и населить это издание волнением не поработанной материальным избытком мысли? Никто! На страже свободного бизнеса стоит закон. Но закон бессилен перед властью денег. Бескорыстные служители мысли были слишком бедны, чтобы издаваться за свой счет, а ни один, даже обаянный наилучшими намерениями, издатель не мог в конце концов устоять перед миллионами концерна. Новое издательство покупалось на корню со всеми сотрудниками — концерн вязал их по рукам и ногам очень выгодными контрактами. Для этих мыслителей и художников был создан особый тридцать первый отдел, где их силами выпускался свободомыслящий, заряженный, как атомная бомба, взрывными идеями и художественным новаторством журнал. У этого

журнала был один лишь недостаток: он не тиражировался. Несколько печатных экземпляров рассылались главам других редакций как образчик того, чего не следует пропускать в печать. Когда бедные труженики тридцать первого отдела обнаружили сизифов смысл своей деятельности, они не могли протестовать, намертво опутанные контрактами. Впрочем, один из них додумался до жалкой мести: он послал хозяевам письмо с угрозой взорвать здание концерна адской машиной. Когда же он повторил эту бессильную угрозу, главы предприятия, успевшие выгодно застраховать свое имущество, сами взорвали гигантское здание, предварительно эвакуировав служащих. Впрочем, не всех — тридцать первый отдел помещался на чердаке, и туда не доходил лифт. Сокрушительный, уничтожающий все и вся взрыв представлялся им более надежной гарантией духовного штиля, чем бестиражный журнал...

И когда я слушал Кристеля, у меня сложилось впечатление, что посмертной судьбой Мальмгрена распоряжались боссы этого концерна. Мальмгрен был отправлен на чердак тридцать первого отдела, в мнимость, в бестиражность. Другое дело, если б Мальмгрону сопутствовала удача и он добрался бы до Большой земли и вдобавок женился на американской миллионерше-спиритке мисс Бойд, тогда бы его воспевали редакции всех этажей, куда ходит лифт.

В пору моего пребывания в Стокгольме проходила трехдневная драка битлов с полицией. Речь идет не о знаменитых долговолосых музыкантах, а об их поклонниках-подражателях. Эти молодые люди не поют и не играют, но целыми днями просиживают на ступеньках концертных залов, обросшие волосней, скверно-женственные, какой-то третий пол, нарочито небрежно одетые, в рваной обуви. При своей пугающей внешности они вовсе не отличаются особой распушенностью, хулиганскими замашками, приверженностью к спиртному. Пафос их существования — в бесцельности, в этом их вызов, их месть старшему поколению, наполнившему мир множеством отлично

сделанных вещей, но не давшему даже маловразумительного ответа на вечный вопрос юности: для чего жить на свете? Кстати, они вступили в бой с полицией не в бунтарском порыве, а лишь потому, что полицейские стали прогонять их с излюбленных мест скопления.

Носятся по улицам Стокгольма в похищенных автомашинах с дикими воплями и разбойным посвистом роггары — дети, как правило, состоятельных родителей, исповедующие культ злостного хулиганства. Даже если у роггара есть собственная машина, он отправляется на вечерние увеселения только на угнанной машине, заправленной краденым бензином, — таков неписанный закон. Роггары громят кемпинги, бьют стекла в мотелях, оскорбляют девушек, раздевают прохожих, развратничают на глазах уличной толпы, терроризируют ночную столицу. Это иной образ защищенной от всего тревожащего, беспокойного, мучающего сердце и разум, благополучной юности.

В Швеции так высоко поднято достоинство человеческой личности, что регулировщик не может собственноручно наказать нарушившего правила езды шофера. Но, быть может, высшее уважение к человеку — признать его право на проклятые вопросы, не загонять тревогу духа на чердачный, отрезанный от остального здания этаж, не избавлять его от скорбной и беспокойной памяти о Мальмгрене, отступившем от кодекса победительной удачи...

## В СТРАНЕ АМУНДСЕНА

Когда о стране судишь по книгам, то невольно попадаешь впросак. Я ожидал в каждом норвежце увидеть лейтенанта Глана, в каждой норвежке — Эдварду. Но юные богатырши и длинноногие, спортивного напряжения спутники их, заполнявшие вечерние улицы Осло — днем город пустынен, — обес-

кураживали однозначностью простых своих устремлений: к танцам, джазовой музыке, ледяному пиву и горячим сосискам. Их старшие соотечественники поражали уравновешенностью и самодовольством. Даже демонстрации, а здесь все время чего-то требуют, начисто лишены бурления чувств. Идут ровными рядами чистенькие, в серебряных букольках, пастельнорумяные старушки и под стать им аккуратнейшие старички. Думаешь, массовая воскресная прогулка, нет, это демонстрация, участники ее требуют повышения пенсий. Так же спокойно и дисциплинированно государственные служащие требуют тринадцатой зарплаты, докеры — прибавки жалованья и т. д. Несколько красивых полицейских на рослых зеркально полированных конях с тонкими забинтованными ногами призваны скорее украсить гражданский праздник коллективных требований и протестов, нежели помешать его ровному течению. Малую суету вносят лишь толстозадые, евнуховидные братья и сухопарые сестры из «Армии спасения», примазывающиеся к каждой демонстрации, дабы нажать общественный капитал.

Потом я утешил себя тем, что Главы, как им положено, скрываются в лесах, слушая мягкий постук еловых шишек, сшибаемых осенним ветром, а Эдварды возле них несут службу любви, томления и неверности.

Но это пришло позже, а в день, когда я отправился в киноцентр, мной еще владели романтические иллюзии. Я полагал, что меня примут с распростертыми объятиями. Ведь наш фильм воспоет героев Норвегии: Амундсена и Рийсер-Ларсена; в нем пройдут король Гакон и капитан Вистинг, знаменитый Лейф Дитрихсен и юный Лютцов-Хольм. Семидесятимиллиметровая камера запечатлеет красоту уютного Осло, яркого ганзейского Бергена, чуть печального северного Тромсё, суровое очарование Лафотенских островов, фиордов, шхер, заснеженных гор...

Все это весьма мало тронуло кинематографическую главу Норвегии, рослого, толстого, словно набитого ватой, и его заместителя с тусклой наруж-

ностью профсоюзного лидера, изменившего интересам рабочего класса.

Трюгве Нюгор, служащий нашего отделения «Союзэкспортфильма», присутствовавший при этом свидании, объяснил глетчерную холодность норвежских кинодеятелей следующим образом: они поняли, что наш фильм будет стоить слишком дорого, чтобы они могли рассчитывать на участие в постановке, и потому сразу утратили к нему интерес и симпатию. «Наши богатые люди недостаточно богаты, чтобы позволить себе хоть какое-то бескорыстие. Дайте им заработать, и вы увидите, какими они могут быть оживленными, искрящимися, нет заработка — нет жизни, нет тепла!»

До конца встречи я пробыл словно в морозильнике. Лишь на миг в толстяке затеплился тусклый огонек гостеприимства, и он подарил мне справочник, посвященный норвежским актерам театра и кино. Этот справочник мог пригодиться нашей съемочной группе при выборе актеров. Но в прихожей под рокот прощальных слов вице-глава хладнокровно забрал у меня справочник. Поглядев в последний раз на боссов норвежского кино, я подумал, что девятую музу едва ли ожидает здесь стремительный расцвет, и с этой мыслью покинул негостеприимный кров...

А на улицах царил фиолетовый березовый подвечер. Пока я томился в кинооффисе, прошел дождь, и освеженные старые березы запахли во всю мощь стволами в серо-зеленом мхе и листвой в первой сентябрьской прожелти. Как красивы березы в городе! Куда красивее лип, кленов, тополей и кипарисов, которые — шутки Гольфстрима — в одной лишь Норвегии соседствуют с северянками-березами. Амундсен любил Осло. Но едва ли не больше он любил Берген. Он любил все города своей родины от Драммена до Тромсё, откуда совершил свой последний роковой вылет. Но Тромсё расположен слишком далеко, а срок моей командировки краток. Я смогу лишь съездить в Драммен — час на машине, слетать в Берген — сорок минут пути на САСовской «каравел-

ле». Но до этого я побываю в Арктическом институте...

А сейчас я шагал от киноцентра в сторону Карл-Иоганна, вдыхая щемящую горечь берез, порой дружески касаясь их влажных, шершавых, добрых стволов, и думал об Амундсене. Что заставило его отправиться на поиски Нобиле? Жизнь одарила его тремя огненными любовями: к Норвегии, к Арктике, к славе, и одной ненавистью — к генералу Нобиле. Он ненавидел Нобиле столько же из-за тех материальных потерь, которые принесла ему бурная журналистская деятельность генерала по возвращении из полета на «Норге», сколько и за то, что Нобиле втиснулся — в шитом золотом парадном мундире — между ним и славой. Когда, перелетев Северный полюс, дирижабль «Норге» опустился возле города Нома, жители, кинувшиеся приветствовать героев, невольно отдали предпочтение блестящему офицеру перед заросшими щетиной, по-мужицки одетыми скандинавами, чьи имена: Амундсен, Рийсер-Ларсен, Вистинг, Мальмгрен, им мало что говорили. Это определило дальнейшее поведение Нобиле, впервые ощутившего хмельной аромат славы. Нельзя сказать, что он, создатель и командир дирижабля, вовсе не имел права держаться на равных с Амундсеном, начальником экспедиции. Руководители норвежского летного клуба, которые от имени Амундсена вели с ним предварительные переговоры, очень плохо защитили интересы своего доверителя, не обеспечив ему обычных привилегий.

Давно разорившись, Амундсен осуществлял свои смелые походы и полеты в долг. Статьи, книги, фотографии, киноленты, доклады помогали ему кое-как удовлетворять кредиторов. В данном случае он оказался лишенным приоритета, чем не преминул воспользоваться Нобиле.

Взбешенный, Амундсен не слишком справедливо обрушил весь свой гнев на генерала. Тот не остался в долгу. Началась ожесточенная и недостойная перепалка. А затем был полет Нобиле к полюсу на дирижабле «Италия», катастрофа, и Амундсен без ко-

лебаний устремился на выручку своему злейшему врагу. Конечно, у него не было ни самолета, ни денег. И тут французский ас майор Гильбо предоставил в его распоряжение своего любимого героя — самолет «латам», экипаж и себя самого. Они вылетели из Тромсё в Кингс-Бей, чтобы оттуда начать поиски Нобиле, но так и не достигли Шпицбергена. Вскоре к берегу прибило поплавок «латама»...

И было торжественное возложение венка на могилу Амундсена. В открытом море Фритьоф Нансен, крепкий и гибкий, как стальной прут, легкий, как дух воздуха, бросил за борт большой железный венок, перевитый траурной лентой с именем Амундсена. По герою и могила — весь Ледовитый океан!

Полетом на «латаме» Амундсен перечеркнул все им же самим установленные законы. И главный из них: в Арктике не летают в одиночку, только парами.

Амундсен не был ученым — исследователем Арктики, хотя и сделал значительный вклад в науку. Но собранные им материалы обрабатывались Нансеном и другими учеными. Вместе с тем Амундсен не был и спортсменом в чистом виде; как, например, американский летчик Бэрд, опередивший его в достижении Северного полюса по воздуху. Бэрд действовал согласно поговорке: или пан, или пропал. Он отправился к полюсу, не обременив свой двухместный самолет ни солидным запасом горючего, ни продовольствием, ни снаряжением, и полюс, беспощадный к людям, отдававшим ему мозг и душу, знания и опыт, отпустил подобра-поздорову этого мотылька. Пафос жизни Амундсена был прямо противоположен бэрдовской спортивной лихости. Обуянный верой в человеческое всемогущество, он хотел доказать, что человек — подлинный хозяин своей планеты и для него нет недоступных мест на земном шаре. Надо только суметь возвести предусмотрительность в степень фанатизма, продумать, взвесить каждую мелочь, ничего не забыть, ничем не поступиться в стадии подготовки. Разработку предстоящей экспедиции надо начинать с возвращения. Поэтому и оказался по плечу Руалу Амундсену весь комплекс задач, стоящих пе-



ред целым поколением полярных исследователей начала века. Он осуществил полный арктический цикл: открыл Южный полюс, совершил трансполярный перелет через Северный полюс, прошел Северо-Восточным и Северо-Западным Великими морскими проходами.

А на поиски Нобиле он ринулся с азартной, легкомысленной отвагой, достойной Бэрда, но никак не старого, матерого полярника, творца мудрых, самоохранных законов. Его не смутило, что «латам» летит в одиночку, что жидкий корпус да и вся конструкция самолета не пригодны для севера, что перегруженная машина лишь с третьей попытки сумела оторваться от водной глади Тромсё-фиорда; не проявил он и всегдашней скрупулезной заботы о провианте и снаряжении. Почему вообще Амундсен при всей закоренелой ненависти к Нобиле так рьяно устремился ему на выручку? Его залубеневшая на арктических ветрах душа чуждалась снисходительной отходчивости. Большинство современников видело в этом высокое благородство Амундсена; недоброжелатели — фашистская итальянская печать — показной, рекламный жест; Лион Фейхтвангер — отдающее демонизмом торжество над поверженным соперником, торжество, вершина которого — гибель не за други своя, а за врага, — героико-трагический финал, достойный Амундсена!

Ну что же, для того я и нахожусь в Норвегии, чтобы разобраться во всем этом, и если не проглядеть истину — что есть истина? — то хотя бы найти правду для себя самого.

С этими размышлениями вступил я в толчею Карл-Йоганна. Посасывая эскимо, длинноволосые юнцы и прелестные их коротко стриженные подружки вяло, без любопытства, наблюдали какое-то шествие, движущееся в сторону Национального театра. Туда же на рысях направлялась кучка толстозадых мужиков в униформе «Армии спасения». Обитатели дома для престарелых требовали повышения суточного содержания...

...Тот профессор, с которым меня познакомил милейший Трюгве Нюгор, был копией кинобосса. Я да-

же испугался поначалу, решив, что Нюгор привел меня опять к киношникам. От него можно было этого ждать, слишком дряхл бедный Нюгор, ему давно уж пора бороться за повышение пенсий. Но он любит свой оффис, вращающееся кресло между двумя письменными столами, любит русских, с которыми проработал чуть ли не всю жизнь, любит свой русский язык, приметно теряя его с возрастом, и торопить его выход на пенсию бесчеловечно. Да и едва ли нужен нашему отделению с его вялой, чуть теплющейся, как при анабиозе, жизнедеятельностью более энергичный сотрудник.

Присутствие Трюгве исключало для меня возможность пользоваться немецким и английским. Трюгве непременно хотел исполнять роль толмача. Он плохо слышал и не блистал чистотой произношения, я тоже сродни Демосфену, взявшему в рот булыжник, а вот горообразный профессор только тем и отличался от кинобосса, что был глух, как тетерев. Может, все же напрямую мы как-нибудь и поняли бы друг друга, но вот через коммутатор связь упорно не налаживалась.

Профессор был очень стар, он лично знал Амундсена и мог бы о нем порассказать, но ему было невдомек, зачем его потревожили. Через некоторое время без досады и неудовольствия профессор погрузился в сладкий сон наяву. Порой он помещал между толстыми, отвисшими щеками круглую улыбку маленького розового рта, лучил кожу у глаз, а затем вновь проваливался в блаженную пустоту.

Сотрудники, наблюдавшие наше странное общение, не делали попыток прийти на помощь. За окнами синело совсем чистое небо, я подумал, как синь и красив сейчас Осло-фиорд, как белы на нем паруса яхт, как горят яркими красками бесчисленные суденышки на причале и чистом зеркале воды. Мир сошел на мою душу. В ухо толкался хрипловатый любезный рокоток Нюгора, я не утомлял себя пониманием. Поменьше суеты, поменьше рвения, удача сама находит своих любимцев. Ведь эти качества норвежского темперамента помогали им одерживать неслы-

ханные победы в Арктике. Фритъоф Нансен первым додумался до зверского — ведь тогда не было радиосвязи — способа проникать в тайны Ледовитого океана, вмораживая корабль в дрейфующий лед. Тем самым экспедиция добровольно обрекала себя на ледовый плен, который мог длиться годами. Не удивительно, что во время подобного дрейфа «Королевы Мод» один из спутников Амундсена — по национальности не норвежец — ощутил близость безумия и бежал с корабля.

Итак, я сознательно вмерз в лед профессорского равнодушия и принялся дрейфовать по океану сонливого полубытия. А потом был короткий взрыв: в кабинет ворвалась молодая женщина и обрушила на нас звонкую россыпь прекрасной русской речи. Внучка выходца из России, сотрудница института, очаровательная эта женщина вывела нас из трансa. Вдруг она заговорила о Мальмгрене, которого хорошо знал ее отец-океанограф. Меня это обрадовало, ведь и Мальмгрен — один из героев будущего фильма. Мальмгрен воспитывался на хуторе, на жирном крестьянском молоке, желтом масле и густой сметане, но вырос слабым, хилым, неспособным к физическому труду. Всю недолгую жизнь борол он свое нездоровье и почти победил его, но, вот горе для полярника, страдал морской болезнью. Он был общителен, по-девичьи деликатен и трогателен в отношениях с людьми, он долгое время носил очки лишь потому, что получил их в подарок. При всей веселости, общительности и легкости Мальмгрена в замке его души всегда оставался один запертый покой, куда никому не было доступа. Но в отличие от Синей бороды он скрывал там не тела жертв, а себя самого, свою глубокую серьезность и боль, боль викинга, не переносящего качки...

Тут произошло нечто вроде пробуждения Везувия. Гора профессорского тела пришла в движение; сперва заколебались розовые округлости вершины, затем в содрогание пришли склоны до самого подножия. Послышались далекие раскаты, потом грозно нарастающий рокот, бульканье, сотрудники отдела зача-

рованно подняли головы, ожидая рождения чуда. Звуковой хаос утишился, обрел ритмический строй, близкий человеческой речи:

— Однажды Мальмгрен... ха, ха, ха... «пропустил» в метеорологическом журнале тридцать первое апреля!..

Ловя краткий миг пробуждения, я крикнул на выдохе, словно в окошко проносающегося мимо поезда:

— Расскажите об Амундсене!

— Что я могу рассказать?.. О нем столько написано!.. Тысячи, тысячи страниц... Целая библиотека. — Слабым движением толстой руки профессор указал на золотящиеся корешки книг, заполнявших стеллажи. — И потом вы же в Норвегии... Смотрите вокруг себя, смотрите. Амундсен во всем... в зданиях... в улицах... в траве... деревьях, горах, воде...

Я внял совету и, отложив на время поиски знакомцев Амундсена, отправился на машине в Драммен. Оправа Драммена, по-норвежски уютного, чистого, красивого города, так прекрасна, что я не мог отдать должного внимания камню и стеклу улиц. Город мелькнул почти нереально и стал милой малостью в сверкании вод фиорда, острыми, сине-блещущими клиньями врезающегося в склоны зеленых гор, на гребнях которых истаявали облака. И был стремительный, дурманный взлет — штопором — по тоннелю, спирально пронизавшему толщу горы от подножия до вершины, и вылет в синь и золото небесной крыши, и безмерная щедрость распахнувшегося без края, без предела простора.

Обращаясь к погибшему Амундсену в скорбный час гражданской панихиды, Рийсер-Ларсен говорил сквозь рыдание, от которого разрывалась его широкая, как панцирь, грудь: «Ты всегда думал, как бы лучше одарить милую родину».

Стоя на вершине этой горы, легко понять чувство Амундсена к родной земле...

И еще я был в «тролльчатнике». Нарядный дом под красной черепицей, сарай, гумно, деревянная колода с родниковой водой. Перед домом выгон, там пасется корова с телкой, куры выклевают какой-то

корм из травы, возле крыльца с перевальцем расхаживают голуби, скворец то и дело наведывается в свой домик и снова уносится по хлопотливому скворчиному делу. Тролль, видать, справно ведет хозяйство, всё у него в аккурате. Сам он стоит в густой траве, ростом с пятилетнего ребенка, но плечистый, кряжистый, большеголовый. Его широкий, кривой, мясистый нос нависает над долгой верхней губой, нахлопнувшей мундштук трубки, суконный колпачок свисает с рыже-сивых волос, голубые глазки усмешливо-таинственно посверкивают из-под кустистых бровей. Жена его, тролльчиха, сидит на ветке дерева, в чепце и красном платье, крестьяночка-барынька величиной с воробья.

Я подивился совершенной материальности этого норвежского символа. Наши сверхъестественные существа не обладают такой несколько плоской достоверностью и завершенностью облика. Самый близкий всем: домовый, а какой он из себя, леший его знает! А леший? Его зримая отчетливость чуть больше: зеленый, косматый, руки и ноги подобны ветвям или древесным побегам. Но внутреннее существо тролля, пожалуй, загадочнее нашего доброго домового, проказливого лешего и злой Бабы Яги. В тролле есть что-то лукавое и простодушное, ласковое и затаенное, что-то двусмысленное, ускользающее, во всяком случае, для чужеземца, и одновременно сильное, укорененное, вон ведь, не за печкой, не в ветвях, а в своей избе живет! Тролль добр, а поди обидь тролля! В Амундсене, несомненно, что-то было от тролля...

Когда я вернулся из Драммена в Осло, на улицах столицы царило сдержанное волнение, и опять мелькали униформисты из «Армии спасения». Случилось необычное даже для Осло, привычного к подобного рода развлечением, — забастовали полицейские, требуя повышения оклада, и «Армия спасения» пыталась организовать демонстрацию...

...Утром я вылетел в Берген. Над Осло, цепляя за крыши, плыли низкие серые тучи, без усталости сочившиеся острым, холодным дождем. Аэродром, расположенный так близко к фиорду, что отрываю-

щийся от взлетной дорожки самолет оказывался сразу над водой, тонул в тумане, в который взбрызгивался отраженный асфальтом дождик, а прочернь молчаливых самолетов в белесой волглости то сажисто наливалась, то истаявала, и казалось, это кружит низко над землей стая птиц.

К моему удивлению, в положенное время диктор объявил посадку на Берген. Червячок очереди вполз в брюхо «каравеллы»; неправдоподобно короткий для реактивного самолета разбег, и вот мы уже завязли в непрозрачной липкой мути облаков, тумана, брызг, секущих крылья и стекла окошек. Нас встряхивало, подкидывало и сосуще опускало на облаках, как на ухабах, а потом самолет выдрался из склизкой чашобы в просторную, чистую синь, потеряв землю со всей ее неприглядностью. Когда же через полчаса земля вернулась, она была залита солнцем, зелена, свежа в далекой своей глубине. Мы устремились к ней, но она подставила нам заснеженные гряды гор, мы отмахнули их вправо и круто пошли на посадку, показавшуюся мне поначалу вынужденной из-за пустынности бергенского аэродрома. Маленький домик аэропорта стал виден, лишь когда колеса «каравеллы» коснулись посадочной дорожки.

Через Берген проходят многие трассы, отсюда летают в Лондон, но аэропорт обходится одним асфальтовым кольцом, малюткой вокзалом и большой красивой клумбой со стороны входа, полной махровых гвоздик. Между клумбой и вокзалом уже стоял городской автобус, я даже не заметил, как произошло наше переселение из самолета в автобус, и вот мы уже мчимся по извилистой дороге в Берген...

Был воскресный день, о чем я вспомнил слишком поздно, и мне не досталось делового, с грохочущим портом, с шумным рыбным рынком, напряженного, праздничного, именно в силу своей будничности, Бергена. Я как тот бедняк, что лакомился лишь ароматом блюд, получил отраженное представление о самом крупном и самом романтическом порте Норвегии. Тяжелый и все равно приятный, волнующий запах рыбы возле массивного, стеклянно окупленного зда-

ния дал мне ощутить избыточное могущество прославленного рынка; повизгивающий кран, ловко опускающий на палубу грузо-пассажирского парохода легковые автомобили туристов, позволил вообразить трудовую симфонию портового погрузочного хозяйства — краны окружали бергенскую бухту, словно стада бронтозавров, собравшихся на водопой.

Разгуливающий по пустынному причалу пожилой бергенец, одетый со старомодной элегантностью: серый приталенный костюм, крахмальный воротничок с альпийским блеском, черный шелковый галстук, черный котелок — помогал вообразить Руала Амундсена, так же вот, в который раз, с добротой и тихой гордостью озирающего Берген: разноцветные дома, взбегающие по кручам окружающих бухту гор, солидные, еще ганзейских времен, здания складов, лабазов стариннейших фирм, хранящих на фасаде гербы Бергена и Любека, даты основания фирм, восходящие к пятнадцатому веку, и прекрасные искони норвежские фамилии: Скуртвейт, Скульстад, Гундерсен и среди прочих Амундсен, владелец складов. Сюда Амундсен не раз возвращался из странствий, отсюда уходил в неведомое; первым и последним впечатлением о родине были для него пестрядь рядных домов, сумятица флагов, мачт, парусов, труб, кранов, дымов, запах рыбы, пеньки и дегтя — квинт-эссенция норвежской жизни. Норвегия — мировой морской извозчик, а Берген — постоянный двор, полный рассказней и легенд, уюта, нужного, хоть изредка, даже самому неустанному путнику, простого веселья, свиданий и разлук, смеха и слез, — суровый, знаменитый, одинокий человек никогда не жалел для него доброго взгляда...

За пирсом громко, с какой-то вызывающей печалью кричали большие жемчужные чайки...

К вечеру Берген ожил, открылись кафе, вмиг наполнившиеся щеголеватыми матросами разных национальностей и рослыми золотисто-загорелыми девушками; молодые красивые матери устремились с колясками на сквер, осененный брызгами высоченного фонтана, сквозь радужную пыльцу едва просматри-

вался бронзовый памятник Григу. У подъезда городского театра, охраняемого неизменным Бьёрнстерне Бьёрнсоном, на гранитных ступенях, днем отданных в безраздельное владение играющим детям, появились чопорные, в черном, господа и дамы с перламутровыми биноклями в руках. Это им, таким приличным, стерильным, успокоенным, Амундсен не давал закоснеть в уюте и ограниченности малого существования в стороне от сквозняков века, в защищенности слабой, периферийной страны. Он делал им роскошные, абстрактные, ненужные — и все же заставлявшие сердца звенеть, а глаза сверкать, — удивительные подарки: Южный полюс, Северный полюс, воздушный мост между Старым и Новым Светом...

Мне не суждено было увидеть ночную жизнь Бергена, раньше, чем зажглись фонари, к зданию аэрофлота был подан автобус...

Я вернулся в Осло — из золота заката в чистую, хрустальную сиреневость погожих сумерек, еще не побежденных электрическим светом. Мы круто сели на горящую багрянцем воду и лишь случайно — так казалось — ухватили колесами краешек посадочной площадки...

На Карл-Иоганне, возле музыкального кафе, где выступают доморощенные биттлы, женоподобные их почитатели затевали какую-то бузу с прекратившей бастовать полицией. Чего они-то могли требовать? Ведь идея их существования в бесцельности, ни к чему не стремиться, ничего не желать. Но биттлы — поклонникам присвоено имя кумиров — волновались... Любопытно, в тот самый вечер их более активные стокгольмские коллеги вступили в трехдневный бой с полицией. Быть может, биттлы с Карл-Иоганны испытывали воздействие каких-то флюидов, подобно тому как звери предчувствуют землетрясение?..

...Когда рыбаки, яхтсмены, туристы проплывают мимо этого дома, ставшего на уступе крутого лесистого берега, под соснами, продолжающими и за домом ярусное восхождение к аквамариновому небу, они подымают на мачту флаг; военные и моряки от-



дают честь. И король Улаф и кронпринц, страстный яхтсмен, салютуют дому, прикасаясь к околышу фуражки. Но нам этот дом достался не снизу, с воды, а сверху, мы словно упали к его воротам в трухлявом «оппельке» с сосновой и можжевелевой кручи, в стоне и скрежете бессильных тормозов, в легкой дурноте, и мы не успели наладиться на торжественную встречу с домом.

Внизу простиралась пустынная, темно-синяя, жгуче отблескивающая вода фиорда; у песчаной кромки берега переваливалась с боку на бок тревожимая набегающей волной, старенькая, разохшаяся лодка; кроны сосен упирались в небо, сгущая возле себя его синеву. От служебной постройке в нашу сторону шел, на ходу подтягивая старые штаны, загорелый пожилой человек с ярко-синими, уже издали, глазами.

— Капитан Густав Амундсен! — с гордостью сказал Трюгве Нюгор и, щадя износившийся пол машины — хозяин запретил нам опускать ноги, — вывесился на руках и толчком бросил свое тело наружу.

Трюгве было чем гордиться. Нашему приезду сюда предшествовала длительная телефонная разведка, которую Трюгве провел с редким мужеством и находчивостью. Прежде всего он попытался установить, кто из родственников Амундсена остался в живых. Это потребовало многоступенчатых переговоров. Прижимая трубку плечом к уху, Трюгве дотошно расспрашивал своим хрипловато-вежливым голосом множество людей, именуя их: «господин агент», «господин секретарь», «господин директор». В Норвегии до сих пор сохранилось осмеянное Гамсуном пристрастие к званиям, особенно среди государственных служащих. Редко человека назовут просто по фамилии, например: «господин Иенсен», нет, обязательно с добавлением: «господин агент Иенсен», «господин доктор Иенсен», «господин рассыльный Иенсен». Даже добрые знакомые не прочь повеличать друг друга: «господин телеграфист», «господин аптекарь», «господин оптовый торговец», «господин спринтер». Ну, а уж если человек плавал на корабле хотя бы буфетчиком, то в старости он непременно: «господин капитан».

Трюгве довольно долго не имел успеха, пока кто-то не посоветовал ему позвонить в загородный дом-музей Амундсена. Может показаться странным, но Трюгве впервые слышал об этом учреждении. И тут его ожидала двойная удача: оказывается, дом-музей не только существует и открыт для обозрения, но хранителем в нем племянник и соратник Амундсена — Густав, сын его любимого брата. «Капитан Амундсен», «Капитан Амундсен»... — медово, расстроганно рокотал через некоторое время Трюгве Ньюгор в телефонную трубку...

До чего же похож Густав Амундсен на своего знаменитого дядю! Тот же рост, то же сложение, то же сопряжение мускулов на худом выразительном лице, та же пронзительная, неистовая синь глаз. Лишь орлиная крутизна характерного амундсеновского носа выпрямилась в небольшой ущерб сходству, но в большой ущерб лицу, потерявшему в резкой силе. А так похож! Особенно, когда закурил, сжав краешком обветренных губ мундштук, и вдруг поглядел вдаль, по-орлиному, прямо на солнце.

Трюгве что-то сказал ему по-норвежски. Густав Амундсен издал странный горловой звук — не то взрыднул, не то всхохотнул, а может быть, обе эмоции одновременно вспыхнули в нем, и широким движением руки направил нас к двери. Ключ, извлеченный из глубокого кармана штанов, вхолостую проворачивался в замочной скважине. Амундсен что-то крикнул насквозь прокуренным, навек застуженным, но хорошим, добротным мужским голосом, и откуда-то, вся развеваясь по ветру, которого не было, юбкой, кофтой вроспуск, незаколотыми легкими волосами, улыбаясь большой улыбкой ярко-красного рта, возникла молодая женщина с гремящей связкой ключей. Кем была она Густаву Амундсену? Дочерью? Женой? Подругой?.. В нем снова взрыднулось-всхохотнулось — вспышка радости-боли навстречу любимому существу. И я понял, что все-таки нашел на этой земле Глана.

Молодая женщина уперлась в дверь голой коленкой, обронив с ноги разношенный шлепанец, затем

резко рванула на себя, тут же щелкнула ключом, и дверь распахнулась в мягкий сумрак прихожей...

Дом Амундсена отражает его личность. Безукоризненным порядком. Удобством и совершенством каждого предмета обстановки. Спальней, воспроизводящей корабельную каюту, — это не чудачество диккенсовского моряка в отставке, а умная забота о том, чтоб не нарушался сон при переходе от оседлости к путешествию. Отсутствием случайных, недоброкачественных или ненужных вещей; видно, что хозяин сам выбирал каждую мелочь, обряжая свой дом с той же тщательностью, с какой готовил свои экспедиции: все ножи остры, ложки по рту, стаканы по руке, бокалы устойчивы, тарелки вместительны, книги по вкусу, а не для вида, эспандер дьявольски туг, часы (столовые с корабля «Королева Мод»), хронометры, градусники, барометры и ныне с безукоризненной точностью несут свою службу.

Да, в этом доме понятнее становится, почему именно Амундсену удалось решить задачи, оказавшиеся не по плечу стольким отважным людям. Он, как никто, понимал, что в полярных условиях жизнь человека зависит от самой последней мелочи, а вернее сказать, что любая мелочь там на вес жизни. Поэтому каждую деталь снаряжения он возводил в королевский ранг.

Чучело белого медведя, чучело пингвина, чучело канарейки... А где же знаменитые коллекции Амундсена? Оказывается, еще при жизни путешественника они ушли на уплату долгов...

Мы бродим по комнатам, шаги наши то бесшумно тонут в коврах, то рождают легкий скрип на зеркально натертом паркете. Маленькое пианино, на пюпитре — «Марш» Свенсона, миниатюрный гонг, изысканные туалетные принадлежности... На многих вещах, населяющих этот дом, печать женского изящества, а между тем ни одна женщина не свивала здесь даже кратковременного гнезда.

Капитан Густав, откашливая свой полувзрыд-полусмех, напоминающий клекот простуженного ор-

ла, поведал, что с началом странствий Амундсена женщины навсегда исчезли из его жизни.

— А ведь он нравился дамам, черт возьми! — с бравым видом вскричал Трюгве Нюгор.

— Еще как! В юные годы он одерживал бесчисленные победы. А потом обручился с Арктикой, и эта любовь поглотила его целиком.

— Ну, а когда он не путешествовал?.. — сказал я.

— Он всегда путешествовал... Если он не был в пути, то писал книгу о последнем путешествии или обдумывал новое, готовился к нему, собирал средства. У Амундсена не было досуга, и этим он отличался от других людей. Последние годы жизни все его силы поглощала борьба с кредиторами. Он подарил людям Южный полюс и два Великих морских прохода, а сам не имел крыши над головой.

— А этот дом?!

— Пошел с молотка, как и все остальное имущество. Посол Гадэ купил его для Амундсена, но ввести своего друга во владение не мог, иначе все началось бы сначала. Как ни крути, а выходит, Амундсен жил здесь из милости...

...Я рассеянно перебирал вещицы, лежащие на письменном столе, в надежде, что они откроют мне свое тайное знание о давно ушедшем хозяине, шепнут заветное слово. Кабинет, судя по легкой спертости воздуха, давно не проветривался, и капитан Густав Амундсен распахнул окно, глядевшее на фиорд. Порыв ветра был внезапен, резок, как-то грубо студен. Гольфстрим окутывает южную часть Норвегии мягким, чуть сыроватым теплом, и этот жесткий, холодный пришелец полоснул как ножом под вздох. Он прилетел издалека, из ледяного неуютя, где ведать не ведают о теплых течениях.

— Норд!.. — прохрипел Густав Амундсен, и в синих глазах его заблестала сумасшедшинка и невыносимая, зарешеченного зверя тоска.

Густав Амундсен лишь прикоснулся к расчетливому, математически оснащеному безумию своего дяди, и все равно его старое, утомленное существо

как-то бедно рванулось к ледяному дыханию Арктики. А что должен был чувствовать тот, великий, когда в душу ему ударял такой вот ветер? У Руала Амундсена нос был горбат, как орлиный клюв. Всею статью своей был он сух, костист, как орел. Он по-орлиному умел смотреть на солнце, на коварное арктическое солнце, наказующее смельчака слепотой. Орел!.. Но под уклон дней — орел с подрезанными крыльями. Богиня удачи отвернулась от него, столь счастливого в первых своих путешествиях. Он стал посмешищем мира в пору аляскинских неудач. Вместе с Омдалем рвался он к Северному полюсу, но все попытки кончались провалом. И люди забыли о его былых подвигах, они смеялись над бессилием своего вчерашнего кумира. Позже полет на двух самолетах к Северному полюсу окончился полуудачей: на восемьдесят седьмой параллели они вынуждены были совершить посадку. Героизм, самоотверженность, поистине беспримерное мужество Амундсена и его спутников вызвали восхищение мира, но успех этот был каким-то сострадательным. Наконец, удача: перелет через Северный полюс на дирижабле «Норге», но тут слава, будто бабочка на огонь, устремилась к сверкающему золотом мундиру Нобиле...

Что осталось? Четыре стены, да и те не свои, унижительная перебранка с итальянским аэронавтом и заправилами норвежского авiakлуба, вой кредиторов, одиночество. И никакой надежды найти мецената, готового вложить деньги в новое рискованное путешествие: герой выглядит слишком старым, слишком изношенным, а главное, разлучившимся с удачей. Но ветер, ветер!.. Он бьет в орлиное сердце, он не дает покоя... И тут известие: разбился дирижабль «Италия».

Он сразу понял: другой возможности не будет. Он не думал о своей вражде к Нобиле, он почти любил Нобиле, давшего ему надежду в последний раз соединиться с Арктикой...

Он еще раз убедился, как упало к нему доверие богачей-меценатов. Даже старый его друг и спо-

движник Элсуорт соглашался предоставить лишь часть суммы, необходимой для приобретения самолета. А может, тут другое: в роли наследника Элсуорт был щедрее, расточительнее, а вступив во владение капиталом, узнал счет денежкам? Ну, а другие?.. Призывы Амундсена падают в пустоту. И тут Гильбо, летчик, боец, романтик, безумец, предлагает свой самолет «латам», себя и свою команду. У орла отросли крылья. Не беда, что самолет гроб, главное — лететь. Он не скрывает правды от экипажа: риск смертелен, у них больше шансов самим погибнуть, чем принести другим спасение. Экипаж состоял из таких людей, благодаря которым человечество никогда не превратится в стадо двуногих. Капитан Вистинг и Лейф Дитрихсен спорили за право участия в полете. Дитрихсен, опытный полярный пилот, был нужнее, он победил. «Латам» на глазах ликующей и утирающей слезы толпы с третьей попытки поднялся в воздух. Все же это не было игрой на равных: экипаж ушел в небытие, Амундсен — в бессмертие...

...Когда мы вернулись в Осло, все шло своим чередом. Центральные улицы были запружены школьниками, они требовали повышения отметок...

#### АРХИВ САМОЙЛОВИЧА. ГЛАЗА ШЕЛАГИНА

Вот и закончилось мое путешествие по разным европейским странам, я в Ленинграде, на финише поисков. Глубокая осень, с белесого, похожего на мокрую вату неба неустанно сочится мелкий холодный дождик, проникающий за шиворот, в рукава, ботинки. Но я счастлив, что за окнами Ленинград, красивейший, теперь я могу сказать это с полным убеждением, город Европы, к тому же свой, родной, ничего не утрачивающий и в непогоду, когда, измокший вдрызг, он подобен Атлантиде и вспухшая вода

Фонтанки, Мойки, Грибоедовского канала покрыта бесчисленными белыми сосочками, а Нева кажется рябой, как терка, и где-то в стороне моря, в непролази туч, занимается порой и сразу глохнет чуть приметная проголубь.

Я уже побывал у тяжело недужающего капитана Павла Акимовича Пономарева в его большой уютной квартире на Московском проспекте и сейчас в ожидании засидевшегося на даче бортмеханика Шелагина изучаю в Институте Арктики и Антарктики архив профессора Самойловича, любезно предоставленный мне крупнейшим историком севера М. И. Беловым. Я хожу в институт каждый день, как на службу, вместе с сотрудниками бегаю в столовую в обеденный перерыв, а в остальное время тяну жидковатый чай, который мы беспрерывно греем на электрической плитке. Заодно плитка не дает нам окончательно замерзнуть в холодных стенах флигелька, где помещается наш отдел. Институту отдано одно из самых красивых зданий на Фонтанке — старинная городская усадьба, построенная крепостным архитектором, грустным человеком Аргуновым и знаменитым Саввой Чевакинским. Благородное нежное здание стоит, как и положено, в глубине мощеного двора, обнесенного со стороны набережной изящной решеткой. Чтобы попасть в наш отдел, надо пройти главный корпус, пересечь внутренний двор, заросший старыми, сейчас почти облетевшими деревьями, и по узкой обшарпанной лестнице подняться на второй этаж запущенного флигелька. Всю неделю, что я ходил туда, у подъезда флигелька две полные немолодые дамы, пренебрегая дождем, играли в бадминтон, увлеченно, неловко, часто промахиваясь, ударяя в дождь, а не в оперенный мячик и озорно поглядывая на проходящих мимо сотрудников. Когда однажды выдалось погожее утро, эти женщины играли в классы, начертив их углем на асфальте. Они прыгали на одной ноге, носком туфли перегоняя зеленую стекляшку из квадрата в квадрат, и громко, чуть жалко смеялись...

Архив Самойловича помещается в трех плотно

набитых картонных папках. Когда развязываешь те-семки, старые бумаги стремительно вспухают, как выстреливают, и перед тобой вырастают три горы пожелтевших фотографий, истончившихся, мягких на ощупь, словно лепестки розы, журнальных выре-зок, сухих, ломких газетных листов. Слабый, щемя-щий запах — аромат истлевающей осенней листвы — источают эти бумажки, в которых похоронен гроз-ный, трагический, победный, ликующий шум дале-кого времени. Архив дает почувствовать характер покойного хозяина, серьезного, обстоятельного, нето-ропливого, уважающего свой труд и свою жизнь че-ловека. Самойлович собрал все, что появлялось в те памятные дни в советской и зарубежной печати о легендарном походе «Красина», он сохранил собст-венные дневники и записные книжки, а также вос-поминания членов экипажа, судовой журнал и лоции, все телеграммы, полученные на ледоколе до выхода в море, все радиограммы по оставлении Ленинград-ского порта, приветственные послания нашим летчи-кам от семей спасенных, жалобы радиста на коррес-пондентов, надоедающих ему со своими материала-ми, и, наконец, поразительный документ: отчет о военном суде над Нобиле и его спутниками — итальянскими военнослужащими. Результаты фашист-ского судилища были ошеломляющими: Нобиле был признан виновным в провале экспедиции и разжалован из генералов в полковники; поведение старшего лейтенанта Вильери, сохранившего вер-ность своему командиру и товарищам по несчастью, было также признано порочным, за что его лишили очередного производства; сержант Биаджи остался, как говорится, при своих: его самоотверженная полу-торамесячная вахта не заслужила награды, но зато ему простили, что он не бросил красную па-латку и не ушел с Мариано и Цаппи. Последних суд не только оправдал, но и увенчал лаврами. Ока-зывается, в этих дезертирах, бросивших лагерь, раненых и больных товарищей, воплотился во всей красе рыцарский дух фашистской армии и флота, с чем, кстати, можно вполне согласиться. Они удо-



стоились повышения в звании, различных наград, щедрых словословий. Ни темная гибель Мальмгрена, ни жестокость Цаппи, отобравшего у своего друга Мариано теплую одежду, несколько не омрачили в глазах судей «подвиг» двух капитанов.

И до знакомства с архивом Самойловича мне было известно, что Цаппи вышел сухим из воды и, хотя ему пришлось оставить родину, жизнь его сложилась счастливо. Но я не предполагал, что из него сделали героя. Мне вспомнилось, как в далекие годы, на даче под Акуловой горой, моя детская душа впервые поникла перед жестокой несправедливостью случая, убившего Мальмгрена и сохранившего жизнь Цаппи. Я не знал тогда, что это был вовсе не случай, не слепой рок, а беспощадность слепой души, выигрывающей себе жизнь ценой жизни окружающих...

В архиве Самойловича Цаппи отведено немало места. Видимо, он сумел произвести на серьезного, усталого, чистого человека, каким был Самойлович, сильное, даже грозное впечатление совершенной аморальностью, окрыленной жутковато-детским незнанием своей вины. Записи Самойловича, касающиеся Цаппи, пестрят такими выражениями: «странный человек», «зловещая фигура». Несомненно, Самойлович подозревал Цаппи в злодействе, превосходящем гнусную очевидность его поступков. Я думал о Цаппи, о слабом Мариано, о несчастном Мальмгрене и томился как человек, которому достался захватывающий детективный роман без последних страниц...

Трагическое любит соседство смешного и в жизни, и в литературе, и даже в архивных папках. Под документами, посвященными суду, находилась пачка бумаг, перехваченная черной траурной ленточкой. Еще катилось над изумленным миром эхо блистательного подвига красинцев, а уж пошлость взялась за дело. И Самойлович склонял усатое, желто-бледное, нездоровое лицо — север рано разрушает человека — над бесчисленными посланиями мародеров от искусства, предлагающих создать оперу, балет, ораторию, драму и пантомиму о походе «Красина». Осо-

бенно неистовствовал один поэт, предпославший своим творениям маленькую исповедь: «Заккрытие Брюсовского института, как и всякая катастрофа, вызвало свои жертвы, в их числе был я» ...Дальше следовало признание: «Предпосылки для создания эпоса у меня имеются со школьных лет, когда я почему-то любил читать. Это и дало мне возможность создать современную «Илиаду», в которой я отразил географию севера». Начиналась эпопея так:

Не орел взлетает в поднебесье  
И не туча черная плывет,  
Это смелый Нобиле пустился  
В роковой полярный свой полет.  
Знать, наскучил пылким итальянцам  
Золотого солнца зной,  
И далекий дикий север  
Их увлек холодной белизной...

В случае, если эпопея почему-либо не устроит Самойловича, поэт предлагал лирику:

Вокруг так мрачно, так туманно.  
Житейских льдов издевав плен,  
Я ослабел, как Мариано,  
Я погибаю, как Мальмгрен...

В конце он выражал надежду, что Самойлович поможет опубликованию этих «актуальных произведений».

Чтение стихов и «Илиады» несколько рассеяло меня, отвлекло от злых, досадных мыслей, но потом мне снова стало горько, к архиву кто-то присовокупил вышедшую недавно брошюру, посвященную Самойловичу. Я перелистал ее. У Самойловича была славная, полная трудов, поисков и свершений жизнь и горестный конец. Оклеветанный в 1937 году, он умер на койке тюремной больницы далеко еще не старым человеком. Посмертная реабилитация вернула ему доброе имя, заслуженную славу, место в истории освоения севера — словом, все, кроме жизни...

...Наконец я дождался Шелагина; он живет на Петроградской стороне, неподалеку от дворца Кшесинской, в большом доме с мрачноватой лестницей, населенной зелеными светофорами кошачьих глаз.

Чтоб попасть к нему в комнату, надо миновать огромную кухню, припахивающую утекающим газом. И вот я обмениваюсь рукопожатием с сильно пожилым, невысоким, кряжистым человеком, с серыми волосами, крепкоскулым, с неулыбчивыми, твердо глядящими глазами. И сразу я беру быка за рога: как обнаружил он группу Мариано?

— Да очень просто. Вылетели мы на поиски красной палатки... ну, группы Вильери не нашли, их, видать, льдину дрейфом отнесло, а потом я увидел три черные точки. Чухновский снизился, стал описывать круги. Все точно: три человека, двое флажками машут, третий недвижим, похоже, мертвый. Да вот наше донесение «Красину». — Он протянул мне заранее приготовленный листок.

«Начальнику экспедиции. Карта номер триста три. Мальмгрен обнаружен на широте  $80^{\circ}42'$ , долготы  $25^{\circ}45'$  на небольшом остроконечном торосе между весьма разреженным льдом. Двое стояли с флагами, третий лежал навзничь».

— А когда вы обнаружили свою ошибку? — спросил я.

— Какую ошибку?

— Их же было двое. Вы приняли за третьего меховые брюки Мариано.

— Ну да, это Цаппи так говорил: мол, расстелили штаны для привлечения внимания... А еще он чаек собирался ими ловить. — Впервые Шелагин коротко, мрачновато ухмыльнулся.

— Значит, вы и сейчас уверены, что их было трое?

— А как же! — спокойно, даже скучновато подтвердил он.

— Но ведь это мог быть обман зрения?

Он поискал вокруг себя глазами и сказал:

— Возьмите со стола газету, я прочту вам на выбор любое место.

Шелагин находился метрах в двух от меня, тускло светила настольная лампочка. Я недоверчиво поглядел на серьезное, твердо-печальное, неулыбчивое лицо бортмеханика, приподнял газету и ткнул пальцем в передовую.

— «Выполняя решения мартовского»... — начал Шелагин.

— Простите, — перебил я, — такая проверка недействительна, для этого не надо обладать острым зрением. — Я распахнул газету и выбрал нейтральный материал. — Прочтите вот это...

Шелагин прищурился, сфокусировал зрачки, словно бинокль, и медленно прочел несколько строк.

— Все ясно, — сказал я, — слово в слово.

— А мне, учтите, семьдесят. Теперь вы понимаете, какими глазами обладал я без малого сорок лет назад? Пять кругов сделали мы над потерпевшими, и всякий раз я отчетливо видел: их трое. И товарищи мои видели. Неужели с двадцати метров можно спутать лежащего человека с расстеленными на снегу брюками?

— Значит, по-вашему, это был?..

— Мальмгрэн, — твердо сказал Шелагин. — Точнее, труп Мальмгрэна.

— Куда же он девался, когда пришел «Красин»?

— Его спустили под лед.

— Зачем?

— Вот тут мы вступаем в область гаданий и домыслов...

Официальная версия гибели Мальмгрэна строится на показаниях Цаппи и молчаливом подтверждении Мариано. Как ни странно, но Цаппи наговорил уйму страшного и ненужного для человека, желающего обелить себя. Зачем было рассказывать, что Мальмгрэн, обессилев, просил стукнуть его топором по голове и тем избавиться от лишних мучений, что Мариано, чувствуя приближение кончины, предлагал ему, Цаппи, питаться своим телом? Это объясняется не глупостью или легкомысленной болтливостью Филиппо Цаппи, а его глубокой убежденностью в собственной правоте. Он считал, что лишь ему дано было право выжить, ибо он неукротимо боролся за жизнь, не знал сомнений и колебаний, превосходил спутников здоровьем и физической выносливостью. И если Цаппи в чем-то не признавался, темнил, то лишь из уступки человеческому ханжеству, лицемер-

рию, да еще потому, что не хотел вступать в конфликт с уголовным кодексом. По общепринятой морали те поступки, в которых он охотно признавался, были преступны, но не подсудны. Сам же Цаппи не видел ничего предосудительного в том, чтоб хватить топором обреченного Мальмгрена, оставить без пищи занемогшего Мариано или содрать с него последние теплые штаны для сигнализации самолетам. Побеждает сильный, остальные прочь с дороги!..

— Почему же вы молчали, почему не пытались разоблачить Цаппи? — сказал я с запоздалым и потому смешным укором.

— Мы не молчали... поначалу. А потом нам веле-но было молчать. Над итальянцами шел суд, и каждое наше слово приобретало силу обвинения. А чем могли мы его подтвердить? У нас не было никаких доказательств. Если б Мариано сделал свое заявление на «Красине», как он вначале намеревался, тогда все могло обернуться по-другому. Но Цаппи сумел зажать ему рот. Сунься мы с нашими заявлениями, нас просто обвинили бы в клевете.

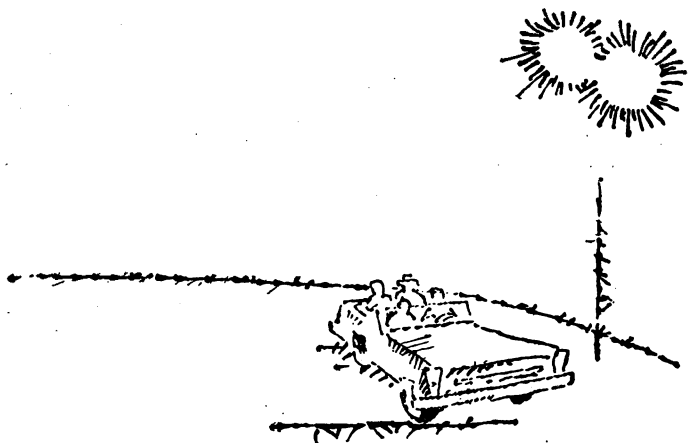
— Да, тут, видно, ничего нельзя было поделаться. А если отвлечься от юридического хитроумия, просто, по-человечески: доказывает ли факт преступления то, что Цаппи поспешил избавиться от трупа?

— Нет... Цаппи при всех обстоятельствах надо было спустить тело Мальмгрена под лед. Пусть он не ускорял его кончины и не повинен в каннибализме, на нем была напялена вся теплая одежда Мальмгрена вплоть до белья. Поди докажи, от чего умер Мальмгрен: от голода или от замерзания, а в последнем случае Цаппи такой же убийца, как если б хватил его топором.

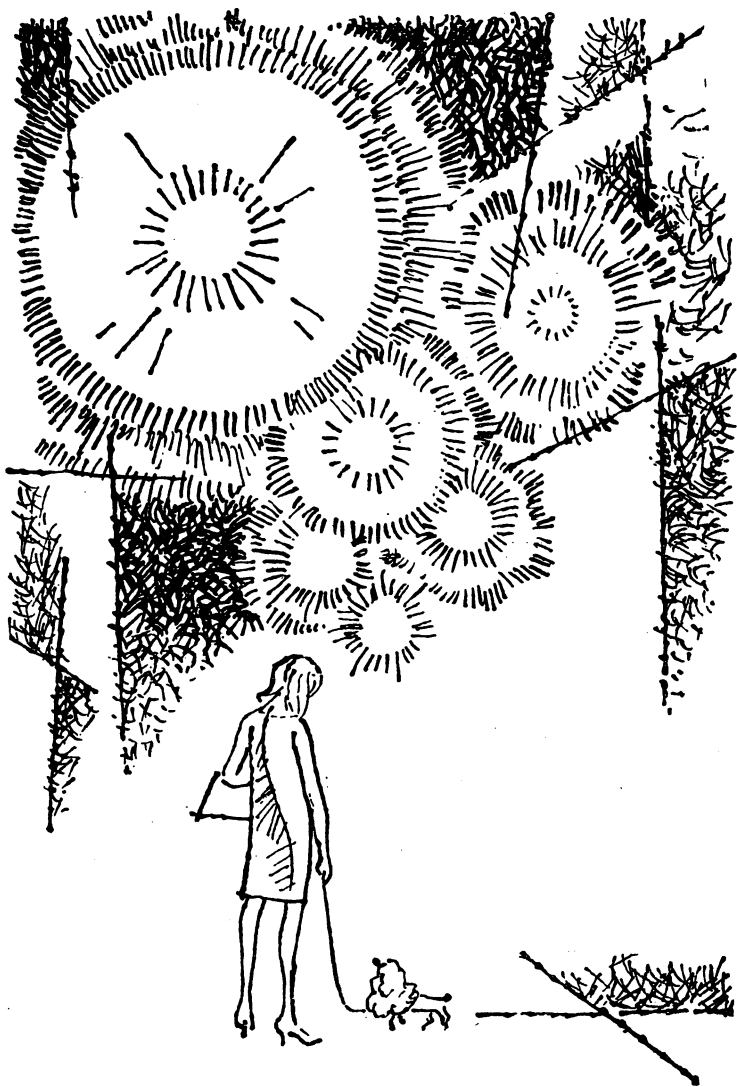
— Значит, это навсегда останется тайной?

Шелагин помолчал.

— Почем знать? Арктика умеет консервировать тайны. Сколько раз бывало, когда через многие годы, даже десятилетия, ледовые могилы отпускали своих мертвецов и они говорили людям правду? Быть может, не на моей жизни да и не на вашей открывается и эта тайна?..



## Моментальные фотографии



Все произошло до головокружения быстро. Только что Амстердам метнул под брюхо нашему ТУ-104 сухо-красные черепичные крыши своих домов и остро блестящие шпили своих колоколен, и мы, чуть не задев по касательной всю эту — сверху, с высоты — игрушечную готику, приземлились прямо за городской околицей. И костей не размяли и до здания аэропорта не добежали — снова в самолет. Подъем, снижение, словно гигантский прыжок под незатухающую надпись: «No smoking, fasten seat belts», и под колесами самолета — темная от недавнего дождика лента Брюссельского аэродрома. Еще во власти глухоты — не выдуть тампонов из ушей, — полные вибрации и какого-то внутреннего шума, в полубреду совершив таможенные и паспортные обряды, мы оказались на мягких сиденьях вместительного автобуса с веселым именем «Балерина», металлическими буквами нанесенным на борту возле передней дверцы, и помчались в сторону Брюсселя. Как-то краем, не задев центра, мы пронизали бельгийскую столицу и оказались опять за городом на широком, свободном шоссе, и большая желтая стрела поставила нам цель Намюр. Но до того как мы сломя голову устремились к Намюру, словно у нас и



впрямь были там дела, автобус взял на борт пожи- лую даму с нарумяненными щечками и губками, с легкими всклокоченными волосами, куцую, толстую и неловкую, оказавшуюся нашим гидом на всю поездку.

— Зовите меня просто «мадемуазель», — были первые ее слова, произнесенные сильным носовым голосом.

Она опустила на переднее сиденье, справа от водителя, уронив поочередно сумочку, туристский проспект, пенсне, подобрала все это, тяжело сопя, стукнувшись головой о голову галантного туриста, пришедшего ей на помощь, мускулом языка попра- вила сдвинувшуюся с места вставную челюсть и об- ратила к нам тускло-зеленый, выпуклый от толстых стекол, неподвижный рыбий взгляд.

Каждый образ человека почтенен, но Бельгия — «синяя птица с глазами принцессы Мален» — мо- гла бы подарить нам иное воплощение девст- венности.

Вокруг разворачивались зеленые свежие поля, по- деленные проволокой на квадраты, в каждом квад- рате паслись без привязи две-три коровы с телятами; нарядно алела черепица деревень, потонувших в яб- лоневых садах; поля сменялись перелесками, кустар- никовой порослью, но все вокруг было чужим, нена- званным, почти нереальным, впрочем, так и всегда бывает поначалу в чужой стране. Наше зрение, наша любознательность еще не были направлены, сориен- тированы, мы еще не знали алфавита окружающего мира, не научились подмечать его характерности, своеобразия, угадывать закономерности, пейзаж был сам по себе, мы сами по себе, но, опытные путеше- ственники, мы не сомневались, что это временно и не сегодня-завтра мы научимся читать новую для нас страну. Пока же весь интерес сосредоточился на мадемуазель. Она была живой плотью незнакомой страны, ее прислали нам заложницей зеленые разли- нованные проволокой поля, коровы, медленно жую- щие жвачку, по-сорочьи пестрые телята, кудрявые перелески, кустарники, белые домики под черепич-

ными крышами в глубине яблоневых садов. Мы понимали, что доброе вторжение наших душ в эту страну свершится через мадемуазель, и обратили на нее все свое праздное и алчное любопытство.

В такие минуты неоценима женская помощь. Мы, мужчины, безнадежно топтались у предела, отделяющего условную, ничего не значащую любезность от живого обращения, а наши спутницы уже знали, почему дряхлая переводчица осталась пожизненно «мадемуазель». Ее жених погиб под Верденом в первую мировую войну, и мадемуазель сохранила верность его памяти. Она говорила о себе без увлечения, но и без самолюбивого ломания и таинственных недомолвок. Видимо, мадемуазель не гордилась ни собой, ни своей биографией и, словно со стороны, беспристрастно излагала интересующие нас факты. Всю жизнь, кроме военных лет, проработав в бюро путешествий, мадемуазель недавно вышла на пенсию, но не выдержала одиночества — у нее нет ни родных, ни близких — и попросилась назад. Ее не хотели брать, считают — стара, бестолкова, но тут подвернулась наша группа, и хозяева бюро были вынуждены прибегнуть к ее услугам — русских переводчиков всегда не хватает. Правда, специальность мадемуазель — романские языки, русскую речь она усвоила кое-как, на слух, муж ее младшей сестры был из русской эмигрантской семьи.

— А где он сейчас?

— Его нет, погиб во время бомбежки Брюсселя вместе с женой и дочерью, — спокойно и обстоятельно пояснила мадемуазель.

— А где же все другие родственники мадемуазель?

В ответ загремели выстрелы, запылали печи лагерей смерти... Вой снарядов, сосущий свист осколков, звон разбитых стекол, грохот рушащихся зданий, и в тишине топот солдатских сапог, лающая офицерская речь, надо всем неумолкающий женский крик — вот что звучало в медлительном, затрудненном, носовом голосе мадемуазель. В ее житейски тусклом, не притязающем на яркость рассказе гибли

Льеж и Брюгге, Гент и Брюссель, тюрьмы сменялись лагерями, бедные попытки сопротивления пресекались свинцом, огнем и петлей. От простоты и будничности этих речей духота становилась непереносимой, хотелось крикнуть: «Остановитесь, мадемуазель, быть не может, чтобы все эти смерти, аресты, тюрьмы, лагеря, муки разлук, пытки страхом и ожиданием пришлось на долю одного человека!..» Но не поворачивался язык прервать ее, и неторопливо струился носовой голос...

Я вдруг заметил, какие широкие, сильные плечи у старой мадемуазель, прямо-таки плечи грузчика! Но едва ли какому грузчику довелось таскать такие тяжести...

Вокруг разворачивались мирные ландшафты, все так зелено и кудрявенько, а где надо, подстрижено; организованный человеком пейзаж уютен, мил и нетревожен. Но как же неуютен, горестен, гибелен в рассказе мадемуазель этот угревшийся под майским солнцем мир, эта малая земля посреди Европы! Но, может быть, мадемуазель как-то особенно не повезло? О нет, ей на редкость повезло по сравнению с другими ее соотечественницами, миллионами европейских женщин. Она не вела к газовым камерам своих детей, не провожала мужа в циклоновую смерть, да и сама уцелела вопреки всему. Чуть обожженная, чуть поцарапанная, раз-другой засыпанная землей и кирпичным прахом, недолго, под конец войны, побывавшая в тюрьме, мадемуазель являла собой чудо живучести и удачи.

— Я на редкость везучая женщина! — смеется мадемуазель.

Смеется так, что вынуждена снять пенсне и протереть запотевшие стекла. И мы видим, не защищенные стеклами голые глаза мадемуазель: чуть выкачанные, блекло-зеленые, не участвующие в смехе губ, гортани, разбежавшихся морщин. Глаза, наглядывшиеся на ужасы этого мира, на взрывы, истребление, гибель близких существ и разучившиеся смеяться. Мы благодарны мадемуазель, когда она водворяет пенсне на место.

— Намюр! — громко, раскатисто, с волнующим прононсом вскричала мадемуазель.

Да, это был старинный город Намюр. Чтоб мы могли вдосталь налюбоваться им, нас привезли на какую-то горушку, и город красиво открылся оттуда, живописный и загадочный, как и все города мира, когда глядишь на них сверху. А потом нас отвезли на другую гору, где раскинулся великолепный парк, набитый ярким солнцем в каждой щели между деревьями, кустами и в прозорах густой листвы. В глубине парка высился старинный замок, увитый плющом, проточенный черным бархатным мхом по трещинам холодных кирпичных стен, и нам полагалось этот замок осмотреть. Мы облазали его и снаружи и внутри, а когда вышли из плесенного полумрака, с чистого, в синеве и солнечном золоте, неба хлынул теплый ливень и, прошумев по листьям деревьев, сразу весь, без остатка, превратился в блестящие капли и серебристый пот на листве, траве, карнизах замка, наших прозрачных плащах, и крепчайший медовый запах насытил воздух. Оставаясь единой, группа наша распалась — каждый в своей глубине переживал миг редкого блаженного бытия...

К замку вела аллея буков вперемежку с каштанами. Не аллея даже, а тоннель — деревья смыкали ветви в вышине, образуя глухой тенистый свод. Деревья были равны по росту, лишь один каштан возносился над зеленой ратью. Высоченный — вблизи не окинешь взглядом, закутанный в тень от собственной листвы, отчего зеленое убранство казалось почти черным, — он простер над песчаной дорожкой огромную, усыпанную белым цветом ветвь. Казалось, отягощенная листьями, цветами и влагой, ветвь висит так низко, что можно достать рукой, и, проходя под нею на пути к замку, все мужчины нашей группы вопреки обычной «зарубежной» чопорности слегка подпрыгивали, пытаясь сорвать нежный белый цветок. Но даже самым высоким не удалось коснуться ветви. И вот сейчас, чуть отойдя от замка, я оказался свидетелем удивительного зрелища. Полагая, что мы заняты осмотром замка и не будем за ней под-

глядывать, мадемуазель резвилась под каштаном. Она разбегалась, старательно работая локтями, и подпрыгивала, тшась дотянуться до ветви. При каждом прыжке пенсне срывалось у нее с носа, волосы дыбом вздувались над головой, кофточка выскакивала из юбки, сваливались бескаблучные туфли, и вся дряхлая плоть приходила в грозное волнообразное движение. Видать, сильно застоялась мадемуазель, и сейчас, ощущая свою сопричастность людям и деятельной жизни, возликовала старым сердцем. Лишь на краткий миг виденное явилось мне в образе смешном и чуточку стыдном, сразу возникло другое. Не престарелая переводчица, служащая бюро путешествий, — сама Европа, дряхлая и вечно юная, горевшая на всех кострах, казненная на всех плахах, распятая на всех крестах, без счета убитая и всегда живая, подпрыгивала, пригретая солнцем, опьяненная весной и благостью сущего, за белым цветом каштана на тяжко-влажной ветке.

И я понял, что не та светловолосая, матово-белая, длинноногая юная норвежка, и не та фарфоровая, хрупкая, словно только что извлеченная из ваты, с тонкими щиколотками и запястьями англичанка, и не та бронзовая, большеротая и большеглазая, навек удивленная собственной красотой итальянка поистине достойны звания «мисс Европа», а наша толстая, неуклюжая, подслеповатая, старенькая и прекрасная мадемуазель...

*Намюр*

## ХУДОЖНИК

В широкополой черной шляпе с высокой тульей и обвисшими полями, в черном драповом потертом в швах пальто, накинутом на костлявые плечи, в белых подвернутых брюках, в огромных, разношенных штиблетах, с седой всклокоченной бородой, седыми до плеч волосами и темными бровями, нависшими над золотисто-карими, устремленными в далекую

пустоту глазами, он косо пронесется от городских ванн к колоннаде, будто не сознавая своего приправленного безумием своеобразия. На самом деле он остро ловит взгляды прохожих, огорчается, если не подмечает на их лицах чуть испуганного удивления. Местный старожил, он удивляет лишь новичков, для всех остальных он неотъемлемая часть городского пейзажа. В руках у него блокнот, карманы набиты карандашами-негро, рисовальными угольками, цветным мелком. На самом разлете он вдруг сдерживает шаг, привлеченный — в который раз — красотой какого-нибудь шпиля, башенки, фонаря, дерева. Он становится в парадном или в подворотне, чтобы не мешали досужие зеваки, и быстрыми, короткими движениями делает набросок. При этом он что-то бормочет, вскрикивает, яростно потрясая седой кудлатой головой. Художник сердится на себя, на ограниченность своего дара: жизнь несравненно прекраснее любого изображения, и это причиняет ему жестокую боль. Ни один другой художник не знает таких мучений. Бальзаковский творец неведомого шедевра в результате многолетних трудов, выпивших его душу и мозг, изобразил в хаосе мазков божественную женскую руку, но он хоть покрывал холст красками в мучительной погоне за совершенной красотой. Этот бедняга не рискует притронуться к бумаге. Он колдует карандашом или угольком над чистым листком, прикидывает штрих так и этак, порой кажется, что он наконец-то одолеет свою нерешительность, но его никогда не хватает на грубость несовершенного творческого акта. Листки его блокнота хранят девственную белизну. Лишь внизу каждой странички стоят дата и подпись.

А может, он испытывает не только страдания, но и радость, бродя по краю искусства и надеясь, что оно вот-вот откроется ему?..

Закончив воображаемый набросок, он крепким, бережным жестом сует блокнот в глубокий карман пальто и спешит к источнику. Он словно таранит улицу напором своей поступи, и улица расступается перед ним. Кружки у него нет, он пьет целебную воду

из маленькой фарфоровой чашки, неотъемлемой принадлежности акварелиста. Он долго моет чашечку сперва под струей, потом в натеке воды у подножия фонтанчика...

Жадно и энергично использует он все лечебные процедуры курорта. Трижды в день пьет воду минерального источника, принимает кислородные ванны, делает подводный массаж и кишечное промывание. Врачи говорят, что это, несомненно, самый здоровый безумец в мире. У него младенческое сердце, коровий желудок, великолепные легкие, печень, почки, желчный пузырь. Он стар, но крепок, словно кленовый свиль, и еще много-много лет будет смерчем проноситься по улицам городка — печальный символ творческой добросовестности, доведенной до бесплодия...

*Спа*

## СРЕДИ ХИЩНИКОВ

Антверпенский зоопарк расположен в самой шумной части города, возле вокзала. Его неприметные ворота глядят на людную, суматошную, пыльную площадь, забитую автобусами, трамваями, такси и першеронами, впряженными в громоздкие платформы, напоенную истошными криками газетчиков, отчаянием опоздавших на поезд, обалдением вновь прибывших, горем разлук и ликованием встреч. Здесь то грозно, то щемяще звучат паровозные гудки и сиплые, тонкие, хватающие за душу свистки паровозов, сюда залетают белым облаком спущенные пары и косые черные дымы из паровозных труб. Трудно представить себе менее подходящее место для зоопарка, требующего тишины, покоя, уединенности, некоей зачарованности, напоминающей о девственной земле. Но попадаешь в зоопарк — и происходит чудо, подобное тому, что выпало уэллсовскому герою, когда за ним захлопнулась зеленая калитка, — ты переносишься в колдовской мир, никак не сопричастный

тому, что остался за воротами. Впрочем, быть может, так кажется посетителю, а чуткие звери томятся духотой, гомоном, запахом паровозной гари?

Я попал в зоопарк в час кормежки. Служители начали обход с хищных птиц. Толкая перед собой тележку, они двигались от клетки к клетке и швыряли орлам, грифам и кондорам куски мяса, а чаще тушки дохлых крыс. Орел сохранял ледяное спокойствие и даже не поворачивал головы в сторону служителей. Когда же тележка, повизгивая несмазанными колесами, удалялась, орел приподымал крылья, делал один только взмах, плавно опускался возле тушки и вмиг растерзывал ее клювом. Кондоры и грифы не обладали такой выдержкой, они топтались на толстой жерди или на вершине искусственной горюшки, вытягивали из рыхлоперистого жабо голые, страшные, стариковские шеи, мертво и жутко блестя круглыми глазами и громко хлопая крыльями.

Волнение разлилось по всему зоопарку. Быстрее и развалистей заходили в своих клетках громадные бурые медведи. Достигнув стены, медведь приподымался на задние лапы, передними отпихивался от стены, круто поворачивался и мчался назад. Он перекатывался в собственной шубе, как в мешке. От его низкого грозного рыка душа уходила в пятки. Когда служитель вывалил на пол клетки груды хлебных огрызков, медведь перво-наперво страшно обрычал свою подругу, отогнав ее в дальний угол, а потом принялся с остервенением пожирать хлеб.

Тигры, леопарды и ягуары в молчаливой ярости мерили клетку бесшумными шагами. Когда им швыряли мясо, в глубине их тел закипало глухое ворчание, подобно далекому грому, оно выражало не жадность к пище, а тоску по настоящей добыче, которую надо выследить, нагнать, загрызть и сожрать теплую, кровяную, дымящуюся, и, похоже, тоска эта была обращена на близкую плоть служителя. Подобно орлу среди пернатых, здесь лев оставался царственно спокоен и даже не расширял ни глубоко вырезанных, редко и тихо дышащих ноздрей, ни полуприкрытых дремотой желто-фосфорических глаз.



А затем я прошел в обезьянник, где еще не наступило время кормежки, и долго стоял возле клетки с гориллами. Клетка была забрана крепкой решеткой по стенке из толстого небьющегося стекла. Старый самец сидел на корточках, плоско раздавив матово-черное кожаное лицо о стекло, и, не мигая, глядел на волю. Порой он зевал, показывая острые белые клыки, и странно было, что столь мощный хищно выстроенный аппарат принадлежит вегетарианцу. Иногда он захватывал скрюченными пальцами песок и сор с пола клетки и жестом безысходного отчаяния посыпал голову и грудь в редком сухом пальмовом волосе. А потом опять застывал, и лишь один крокодил способен на еще большую неподвижность.

Молоденькая самка вела себя куда живее и общительнее. Она то подымалась на толстый сук под самым потолком и ложилась навзничь, задрав кверху ноги и мастерски соблюдая равновесие, то принималась раскачиваться на канате, охватив его рукой и кокетливо поглядывая на посетителей. Раз она даже улыбнулась кому-то с воли, не рассчитав при этом опасной близости от супруга. Тот, не меня застыломрачного выражения, с молниеносной быстротой отвесил ей затрещину, способную опрокинуть железнодорожный состав. Жалобно и сердито вопя, самка вознеслась на сук...

Когда я покинул обезьянник, весь зоопарк был напоен лязгающей и скрежещущей работой крепких челюстей, долбежкой железных клювов, мощным жеванием под аккомпанемент шумных вдохов и выдохов, довольным урчанием, жадными взревами и клаяньем. Кровь кропила настилы клеток, стекала с усов, капала из клювов, и невольно пробуждалась благодарность к надежным решеткам, толстым прутьям, высоким оградкам и глубоким рвам с водой, защищающим нас, слабосильных властелинов вселенной, от мести четвероногих и крылатых пленников.

А потом странная тревога, словно рябь, предвещающая бурю, прокатилась по зоопарку. И зародилась эта тревога не среди животных, а среди людей. Как будто в толпах посетителей, окруживших клет-

ки и вольеры, бродящих по песчаным дорожкам, штурмующих киоски с кока-колой и оранжадом, возник некий перемежающийся центр, неотрывно привлекающий к себе внимание и любопытство, восхищенные взгляды мужчин, ревнивые — женщин, потрясенные, порой насмешливые — детворы. Это диво-дивное отвлекало посетителей от зверей, птиц и гадов ползучих, и, заинтригованный, я поймал очередной очажок возбуждения, устремился туда и увидел трех юных красавиц, оформленных по высшим голливудским канонам. Их стройные, тонкие, лунно-удлиненные тела плыли в огнистом облаке распахнутых леопардовых манто, отделанные мехом платья были стянуты по талии кожаными кушачками с черепаховыми пряжками, красиво переливалась жемчужно-голубоватая змеиная кожа их туфель и сумочек, маленькие шапочки с розовыми страусовыми перьями гордо сидели на бледно-лиловых волосах.

Тревога передалась зверям. Так бывает во время затмения и перед землетрясением, которое звери предчувствуют много загодя. Хищники отвлеклись от пищи, они подымали головы, принохивались и начинали рычать, не грозно, скорей жалобно, испуганно. Они слышали запах своих умерщвленных собратьев, ведь каждая красотка под стать зверьевому кладбищу. В подробностях изящного наряда, в украшениях и безделушках похоронены леопарды и крокодилы, страусы и колибри, пятнистые питоны и черепахи, нерпы и кашалоты, соболя и куницы.

На тонких стеклянных шпильках шли красотки по зоопарку. Такие хрупкие, беспомощные в своей на грани бестелесности худобе, так нуждающиеся в защите нежных своих сокровищ: растушеванных чернью и серебром фиалковых глаз, стрелами заведенных на виски, бледных губ и лиловых волос, деликатных ключиц, девичьих слабых плеч и женски округлых грудей, такие страшные, неразборчивые и беспощадные, как чума, ко всему живому, если это живое может послужить их украшению. Слабым самкам человеческим ничего не стоило истребить гордое колено леопардово, красивых, сильных, смелых зве-

рей только из-за того, что им приглянулся для шубок яркий, пестрый мех. Общество по охране диких животных тщетно взывало к милосердию: ничего не стоит заменить натуральный мех не отличимой от него по всем статьям пластиковой подделкой. Куда там! Эфирным созданиям подавай настоящую шкуру, содранную с дымящегося кровью, испарением жизненной влаги тела убитого зверя! Им мало тех животных, которых специально разводят ради красивого теплого меха. Им нужны редкие экземпляры зверьевого мира, неспособные восстановить свою убыль. Чем ближе зверь к полному исчезновению, тем он заманчивее.

Эти беспомощные, соломинкой перебеешь, создания всевластны над жизнями четвероногих и крылатых обитателей пустынь, джунглей, пампасов, лесов и гор. Тут не спасут ни зубы, ни когти, ни бивни, ни мощный хвост, способный ударом повалить дерево, ни острые рога, ни тяжкие копыта, не спасет умение бегать быстрее ветра, летать выше облака, скрываться в глубь земли, в расщелинах скал, в тину рек, в топь болот, в плетение лиан. Из любого укрытия, любого тайника вытащат, выкурят, выгонят и убьют.

Есть такие птицы на Галапагосских островах, они любят лакомиться глазами гигантских морских черепах. И сотни, тысячи огромных, великолепных приспособленных животных изгнивают по берегам лагун в собственных панцирях, как в гробах, из-за того, что комочки студенистого вещества, которыми они видят мир, — лакомство для пернатых. Но ведь то неразумные птицы, а здесь люди, которым доверен мир со всем, что его населяет!

Их нельзя оправдать даже борьбой за существование, извечной борьбой за самца — мужчины не видят, как одета женщина, они воспринимают лишь самый общий, расплывчатый рисунок, начисто не замечая деталей. Но самолюбие заставляет мужчин верить, что все это изуверство творится в их честь, дабы угодить их вкусу, и они поощряют ненужное смертоубийство в бедном мире природы...

.. Хищницы шествуют по зоопарку, и бедные звери, поджав хвосты, уползают в глубину клеток...

*Антверпен*

## ЧАЙКИ УМИРАЮТ В ГАВАНИ

Мы встретили ее в маленьком летнем кафе. Она ела мороженое, осторожно снимая его губами с серебряной ложечки, а у ее ног, затянутых в белесые ажурные чулки, сидел пудель и, ворочая головой, оглядывал посетителей. Он каждого провожал своими круглыми прозрачными, цвета смолы глазами. Это был карликовый пудель черной масти. Его постригли под машинку по спине, шее и щекам, и здесь его атласно отливающий мех напоминал каракульчу. Ноги, живот, храп оставались в густой курчавой шерсти, лишь тронутой ножницами, и на макушке задорно торчал шегольской помпон. Его тонкую шею перехватывал нарядный ошейник из мягкой замши, расшитый нитяным узором.

Хозяйку мы запомнили по собаке и радостно узнали, встретив спустя несколько часов в пассаже; на мизинце у нее висела легкая покупка в вошеной розовой бумаге. Когда город так нов, незнаком, холоден и чуж, как был для нас поначалу Льеж, радуешься даже такому малому узнаванию. Пес выступал рядом, изящно и остро ставил он крошечные лапки, будто струны перебирал, и с прежним доброжелательным любопытством озирали и обнюхивали прохожих, отыскивал среди них знакомцев.

Сейчас мы лучше рассмотрели хозяйку пуделя. В рост, в движении, она выигрывала — высокая, длинноногая, с упругой, сильной походкой. Ее двухцветные модные волосы, сверху желтые, снизу черные, красиво облегли нежное смуглое лицо, а большие глаза казались усталыми. Но усталость этих подведенных, с помятыми веками глаз лишь подчеркивала юность хозяйки пуделя, резко контрастируя

с нетронутой свежестью щек, чистотой лба, ясностью овала.

К вечеру мы снова натолкнулись на «даму с собачкой», как окрестили мы ее. Странно, в таком большом городе, как Льеж, щедро населенном красивыми молодыми женщинами и пуделями, нам все время попадалась эта пара. Мы застали их в скверике, неподалеку от кафедрального собора, она сидела на скамейке, а пудель стоял на задних лапах, передними упираясь ей в колени, и вдвоем они ели сливочный торт. Они кусали поочередно, только с разных сторон, от одного большого куска, пудель пытался ухватить лишнее, и хозяйка сердито выговаривала ему за жадность. Оба вымазались в желтом креме, но не замечали этого.

— Да какая она дама, просто девчонка! — заметил кто-то из туристов.

Это правда, она казалась молодой холодноватой дамой в кафе; девушкой, слишком рано прикоснувшейся к взрослой жизни, в пассаже и девчонкой-сладенькой в скверике...

На другой день мы осматривали город, его промышленные и припортовые районы, богатый, грязный, воняющий рыбой базар и населенный беднотой итальянский квартал с пряно-смордными тратториями, черноголовой горластой ребятней и кривоносыми, смуглыми, яростно жестикулирующими футбольными болельщиками в дешевых ярких рубашках. Мы решили не смешивать впечатлений и осмотр дворца князей-епископов и собора св. Павла оставили на завтра.

Мы возвращались домой с набережной Мааса, мутно-желтого, отблескивающего нездоровой зеленью, и неожиданно очутились на тихой улочке, которая в «доброе старое» время озарялась красными фонарями. Сейчас фонари сменились темно-алыми неоновыми, под стать рекламным, трубками, а сами заведения существуют под видом крошечных, на одно лицо, баров. В Льеже, как и в других крупных портовых городах Бельгии и Голландии, нет узаконенной проституции, нет публичных домов. В больших

окнах низеньких опрятных домиков сидят прилично одетые женщины и ждут посетителей. Когда появляется клиент, ему предлагают бутылку шампанского втридорога. Такова пристойная форма оплаты. Шторы задергиваются, и зажигается красный свет, служащий стоп-сигналом для других любителей дорогого шампанского, и полицейский имеет право ничего не знать. Некоторые женщины с печальным юмором вешают на своих дверях макетики светофоров, где в соответствии с обстановкой зажигается один из трех светофорных цветов. Желтый означает, что хозяйка отлучилась по делам и скоро будет. Но попробуй обитательница этого квартала заговорить на улице с мужчиной, даже просто подмигнуть ему, ее тут же схватит полиция. Это называется оберегать нравственность.

В этот воскресный полдень квартал «любви» жил трудовой жизнью. Стоп-сигналы горели в немногих еще домах, но почти во всех окнах сидели женщины. Были среди них совсем молодые, и средних лет, и почти старухи. Были миловидные и кое-как слепленные из крема, густо-синей туши, золотистой пудры, розово-мертвенной помады, хны и шиньонов, и просто страшилища, разуверившиеся даже в спасительной силе косметики, но, верно, и они находили спрос, иначе не сидели бы в окнах на фоне уютной свежей мебели и таинственно посверкивающих из голубизны бра. Когда портовому человеку требуется глоток шампанского, он не слишком разборчив.

С журналом в опущенной руке, с книгой, словно забытой на коленях, с сигаретой в тонких пальцах или в уголке накрашенного рта, терпеливо, словно изваяния, недвижимо сидели женщины. От их лиц, таких разных, то округлых и мягких, то сухих и жестких, как у хищных птиц, то обыденных, как заутреня, то замерших на грани совершенной человеческой красоты, веяло луговой валлонской свежестью и пряным смрадом итальянского квартала, духотой индустриальных трущоб и портом с его тяжким трудом, пьянством, драками, бессемеищиной, веяло угасшими и тлеющими надеждами, покорностью и затаенной

болью, веяло болезнями и здоровьем, страхом жизни и страхом смерти, усталостью, равнодушием, беззаботностью, презрением, но больше всего одиночеством.

Я вспомнил, что этих женщин называют «чайками», быть может, потому, что, подобно своим крылатым тезкам, они кормятся и умирают в гавани.

Жизнь шла своим чередом. Старуха опустошала в водосток ночную посудину, ее большое, загорелое, морщинистое лицо было мудрым и терпеливым, как у крестьянки в час утренней дойки. Тоненькая девушка в ночных туфлях без задников несла в напрягшейся синими жилками руке сумку с провизией, торчали зеленые вялые стрелы лука, кудрявые завитки брюссельской капусты. Она увидела полицейского, раскуривающего трубочку, и скорчила ему рожу. Хромой, однорукий инвалид упрямо и негромко стучался в дверь, в его тишине было что-то жутковатое, казалось, он решился на преступление. Но дверь распахнулась на ширину цепочки, и обнаженная женская рука сунула инвалиду мелочь в карманы засаленного офицерского френча. Постукивая каблуками, как кастаньетами, шли два молодых счастливых матроса в белых брюках. Волоча правую ногу, словно бальзаковский Вотрен, медленно брел, приглядываясь к окнам, пожилой тучный человек в заношенной фуражке водника. Черный, будто налакированный, пуделек деловито обнюхал тумбу, затем поднял ножку, обещал тумбу, понюхал ее с другой стороны и опять поднял ножку.

Вотрен поравнялся с тумбой. Пуделек подскочил к нему, обнюхал его здоровенные башмаки из вонючей юфти, брезгливо фыркнул и тут же прыгнул в сторону, спасаясь от пинка. Дверь ближайшего дома распахнулась, на порог выскочила девушка в длинной юбке и шелковой кофточке, оставляющей открытыми руки, шею, спину и нежную тень между грудями, обругала Вотрена и свистнула пудельку. Вотрен вскинул глаза на девушку — нашу вчерашнюю знакомую, — взял ее за подбородок, поглядел сверху вниз на ее чистое, нежное лицо, убрал пальцы

и что-то коротко сказал. Она кивнула головой, и Вотрен вошел в дом.

— Рокки!.. Рокки!.. — закричала хозяйка. — Домой, маленький!..

Но пуделю, видимо, пришелся не по нраву владелец юфтевой обуви, и он сердито тьякнул и отбежал прочь.

Вотрен высунулся из дверей:

— Какого черта?..

— Иду, иду!.. — Она попыталась поймать пуделька, но тот метнулся прочь, через улицу, прямо под колеса грузовика.

Небольшой фиатовский грузовик слегка подкинуло, шофер высунул из кабины чернявое белозубое итальянское лицо и отпустил какую-то шутку, он даже не заметил, что переехал собаку. Пудель лежал на боку, его задние ноги конвульсивно дергались, из оскалившейся пасти выпал розовый язык.

Девушка страшно закричала. Помню, так кричал заяц, которому выстрелом перебило ноги. Очень тяжело, когда на твоих глазах погибает твоя собака, а ведь девушка потеряла не просто собаку.

Полицейский заметил: что-то неладно. Он вынул изо рта трубку, смял пальцем огонек и медленно двинулся к месту происшествия.

— Идешь ты или нет? — орал Вотрен, он или не знал здешних правил, или плевал на них. — Нечего было голову морочить!

Из всех дверей посыпали женщины. Странно выглядели они в своих ярких нарядах на пыльной, пыльной, сродни деревенской улице.

Полицейский приближался, в нем появилась сосредоточенность.

Женщины дружно накинулись на хозяйку пуделя — она подводила не только себя, но и весь квартал. Они кричали, хватали ее за плечи, тянули прочь от мертвой собаки.

— Не волнуйтесь, мосье, — успокаивали они Вотрена, — все будет в порядке.

Они знали, что девушка подчинится, не может не подчиниться. Так оно и случилось: плачущая девушка



позволила отвести себя в дом, куда уже втокнули Вотрена. Оставалось убрать труп собаки. Это взяла на себя старуха, опорожнявшая ночной горшок, добрая бабушка квартала, она завернула черное тельце в тряпку и унесла, прижимая к себе, как ребенка.

— Что тут происходит? — спросил полицейский.

— Ничего, мосье, собачку задавило...

В сравнении с Антверпеном или Роттердамом квартал красных светильников в Льеже невелик, но ведь то морские порты с огромным грузооборотом, а Льеж всего-навсего внутренний порт, хотя и связанный с Антверпеном каналом Альберта.

*Льеж*

## И ВСЮДУ СТРАСТИ РОКОВЫЕ...

Не хочу говорить плохого, но странный это город Люксембург, столица Великого герцогства того же названия. Так вроде ничего особенного, обычный европейский город средней руки, с широкой и прямой главной улицей, выходящей к вокзальной площади, с улицами поуже и совсем узкими; двум машинам не разъехаться, с множеством магазинов, кафе и кондитерских, с витринами, где в напряженно-изящных позах толпятся серебро- и черноликие манекены, с модно подстриженными карликовыми пуделями, с малочисленными кино и церквями, с единственным в поле зрения ночным кабаре, чьи матово-стеклянные двери скрывают вполне благопристойные вольности. Так в чем же странность Люксембурга?

Он поразил нас с самого начала, как только мы въехали в его пределы, своей неправдоподобной пустынностью. Мы двигались к центру по нарядным улицам, обставленным уютными особняками, тонущими в цветах, увитыми плющом, вьюнком, диким виноградом, и город казался вымершим. В его безлюдье было что-то устрашающее, в духе рассказов

Брэдбери. Городской пейзаж, лишенный людей, приводил на ум нашествие марсиан, опустошительные эпидемии, термоядерную войну. Есть все, что надо для городской жизни: красивые дома, комфортабельные машины вдоль тротуаров, афиши и рекламы (особенно часто громадный щит с изображением смуглой темноглазой женщины в кружевном лифчике, сжимающем маленькую стройную грудь), киоски с пестрыми журнальными обложками, лотки зеленщиков с крупной клубникой в плетеных корзиночках, мясистыми артишоками, бледной спаржей; светофоры в местах переходов, поочередно зажигающие в своих глазках то зеленого, то красного человечка; не было лишь живых человечков ни на переходах, ни на тротуарах, ни за рулем машин, ни у лотков, ни в киосках.

— Тут нет ничего удивительного, — пояснила наша переводчица, старенькая мадемуазель, — сейчас рабочие часы. А дети? В школах. А домашние хозяйки? У электроплит, готовят обед. А зеленщики, киоскеры? Сидят за кружкой пива и сосисками в задних тенистых двориках кафе. А подметальщики, поливальщики улиц, мусорщики и расклейщики афиш? Они давно сделали свою работу. А полицейские? Их почти нет в столице Великого герцогства. А романтические бродяги, нищие, цыгане, школяры-прогульщики, влюбленные, поэты, просто бездельники, фланеры? Их в Люксембурге еще меньше, чем полицейских. Все жители при деле...

Ближе к центру стали попадаться одинокие фигуры прохожих, как на открытках с видами старинных городов, появились и визжащие тормозами машины, и мотоциклисты, ошалело мчащиеся в смерть.

Увидеть люксембургскую толпу нам не удалось и вечером. Семьи сидели у телевизоров, школьники и студенты зубрили, старики торчали в кафе, влюбленные в пустынном кинозале смотрели вестерн с неизбежным гладко выбритым Уэйном. А вот в воскресный день на улицах, даже центральных, и вовсе не встретишь ни одного человека — все на природе, или, как тут принято говорить, «у воды». В Люксембурге

почти нет озер, мало рек; тихий, светлый Мозель, по берегам которого цветет золотое вино, служит границей с Западной Германией. И потому по воскресеньям вдоль каждого пересохшего ручейка выстраиваются вереницы машин; каждый лесной выпот, каждое увлажнение почвы на лугу привлекают тысячи людей, вокруг каждой лужи разбит кемпинг. Обнаженные — только бикини — молодые люди играют в бадминтон и волейбол, загорают, купаются, погружаясь по щиколотку в прохладные струи, а пожилые сражаются в карты, собирают полевые цветы, готовят сэндвичи, достойно и для здоровья полезно отмечая уик-энд.

Городскую толпу в столице Люксембурга можно увидеть лишь в часы «пик» по обычным дням и вечером в субботу, но не слишком поздно.

И еще одна необычность нарушает совершенную обыденность этого стерильно бюргерского города: словно ударом меча, он рассечен надвое глубокой щелью. Зеленая свежая рана зияет на теле города, дымясь в рассветный и закатный час белесым туманом.

По дну щели стремится узкий, заключенный в каменное руслице поток, вдоль него протянулась аллея старых, высоких деревьев, собравших под собой густую тень и прохладу. Отвесы, образующие щель, густо поросли кленами, елями, пихтами, буками, аромат их крепок, как в девственном лесу.

Гигантский ров, обеспечивающий неприступность Верхнему городу, напоминает о том, что тихий бюргерский Люксембург — крепость, о которую не раз тупились мечи завоевателей. Из века в век малая земля посреди Европы становилась ареной жестоких битв, плацдармом, где решались честолюбивые притязания великих держав. Быть может, оттого и отвержены люксембуржцы к тишине, уюту, уюта своих жилищ — уж больно осточертели им ветры истории, насквозь продувавшие их маленькую страну.

Но — и это еще одна странность — провинциальный Люксембург чьими-то усиленными потугами

вновь обрекается на «мировую» жизнь с несколько мистическим оттенком. Возле нашего отеля находилось серое, строгое здание какого-то «Всеевропейского парламента». Швейцар с золотым позументом благоговейно охраняет это абстрактное учреждение.

Но мой рассказ не о парламенте, а как раз об отеле, где наша туристская группа пользовалась столом и ночлегом.

Отель принадлежал высокой костлявой блондинке с резким скипидарным запахом изо рта. Она была не только владелицей четырехэтажного узкого, об одну лестничную клетку, дома, зажатого между двумя такими же узкими домами, но и главной служительницей расположенного в первом этаже ресторана и гостиницы, занимавшей остальное помещение. Она сама подметала и прибирала номера, меняла постельное белье, цветы на окнах и воду в графине. Молоденькая служанка с испуганным деревенским лицом мыла полы в ваннах комнатах, а днем выполняла обязанности коридорной.

В ресторане хозяйка принимала заказы и обслуживала посетителей. Ей помогала шестнадцатилетняя дочь, очень на нее похожая, но прелестная неуклюжим еще телом, длинными руками и ногами, а также сестра в нимбе зачерствелого одиночества, метавшаяся между кассой, баром и столиками. В кухне правил румяный, пшеничный повар француз, великий мастер своего дела, под его началом ходил поваренок с дерзкими глазами гамена.

Единственно безучастным, до нелепости ненужным в этом деятельном мире был муж хозяйки, кудрявый красавец, день-деньской подпиравший двери ресторана, в мятых фланелевых брюках, сетке, под которой курчавилась рыжая шерсть, и шлепанцах на босу ногу. Он рассеянно и дружелюбно улыбался посетителям, иногда покрикивал на водителя рефрижератора, подвозившего к ресторану провизию, лениво шутил с дочерью, порой решительно прыгал в свой роскошный «меркурий», стоявший против дверей, и куда-то сломя голову мчался. Назад он возвращался до удивления быстро и снова занимал обычный пост.

Но я чрезмерно сгустил редкие проявления его активности. Для мужа хозяйки характерны не эти действенные вспышки, а нирвана, полудрема с неясной, заблудившейся улыбкой на полных, хорошо очерченных губах.

Понятно, что при бездельнике муже и малом штате служащих хозяйке приходилось работать за десятерых. Только что она была наверху и тащила в каптерку ворох грязного белья и вот уже, причесанная и намазанная, в белой наколке, принимает заказ на завтрак у престарелой английской четы, следя одновременно за тем, чтобы дочь и сестра без задержки обслужили наш длинный туристский стол. Она успевает дать заказ повару, сбить в баре коктейль, показать дочери, как ловчее нести тесно заставленный поднос, угостить косточкой пуделя седовласой дамы, пошутить с молодым офицером, открыть сельтерскую, и все это без суеты и спешки, с чуть небрежной улыбкой, словно бы даже снисходительно: пусть не забывают, что она не простая кельнерша, а владетельная принцесса этих мест.

Но порой она вдруг сжимает пальцами виски, подходит к бару и коротким движением опрокидывает в рот рюмку с чем-то зеленоватым: тогда кровь приливает к ее щекам, взблескивают глаза, она вновь полна огня, как заряженная зажигалка.

Полусонный супруг ловит эти мгновения, чтобы тоже пропустить рюмочку или высосать прямо из горлышка холодное, со льда, пиво. Я думал, это подлаживание под жену — черта приживала, но, как вскоре выяснилось, он был человеком независимым. Кто-то из туристов подарил ему значок с видом Кремля. Растроганный, он тут же заказал на всю нашу компанию коньяк, вино, шоколад. Хозяйка бровью не повела, с обычной расторопностью выполнила не сулящий прибыли заказ. Чувствовалось, что муж в своем праве, и если в чем-то ограничивает себя, ну хотя бы в выпивке, то лишь по собственной воле.

При свете дня от этой семьи веяло устоявшейся в веках тривиальностью. Состоятельная, энергичная, не первой молодости женщина, купившая себе кур-

чавого шалопая-мужа, дочь-подросток, чуточку нечисто, как и обычно в этом возрасте, влюбленная в красавца отца, одинокая старая дева, втайне завидующая сестре, — это почти маски в трагикомедии буржуазной жизни. Но подобно тому как некоторые странности, тревожные необычности нарушают тусклую банальность Люксембурга, диковатые ночные русалии освежили и осложнили заурядный образ этой семьи.

Хозяева занимали мансарду как раз над моим номером. И вот на вторую ночь, разбив мой сон, донесли истошные крики:

— Негодяй!.. Боже мой, какой негодяй!..

Я сразу узнал хрипловатый голос хозяйки. Первым моим движением было кинуться ей на помощь, но тут послышалось на удивление близко бархатистое ворчание ее мужа. Дела семейные, сами разберутся.

Вопли не прекращались, потом было падение какого-то тяжелого предмета: не то кресла, не то серванта, новые крики, полные муки, терзания и ненависти, что-то треснуло, разбилось, и опять надсадные вопли:

— Ты бьешь женщину, мерзавец?.. Ах так!.. Ну что ж, причиняй мне боль, причиняй мне адскую боль, изверг, распутник, кудрявый негодяй!..

Был тонкий, заходящийся детский взрыд, внезапный провал тишины, и в жутковатой этой тишине старушечий голос отчетливо зашептал молитвы...

Утром хозяйка была, как всегда, деловита и энергична, только на побледневшее лицо наплывала порой сонная одурь, но к полудню, наведавшись раз другой в бар, она полностью восстановила форму. По хозяину не догадаться было о бурной ночи: все такой же красивый, кудрявый и опустившийся, стоял он в дверях, переругивался с шоферней, отпускал шлепки дочери и вдруг куда-то уносился на машине, незамедлительно возвращаясь назад. Старая дева курсировала между кассой и столиками, с достоинством неся свой бюст, литой и девственный, как у кассового аппарата. Словом, жизнь текла своим чередом,

значит, и ночная свара входила в привычный ее лад, что вскоре подтвердилось. Крики, упреки в измене, вялые оправдания, падение тяжелой мебели, звон стекла, детские всхлипы и горестные молитвы повторялись регулярно через день. Я пытался проникнуть в существо этих неистовых ночных ссор, не отбрасывающих тени на дневное существование семьи. Судя по нынешнему образу жизни хозяина, жена могла упрекать его лишь в давних грехах. Нельзя же предположить, что он изменяет ей во время своих молниеносных отсутствий. Вернее всего, эти измены существуют лишь в раздраженном воображении стареющей женщины. И все-таки противно, что он ее бьет. Грубость, беспощадность к женщине характерны для самого низкопробного сорта мужчин. Я стал избегать этого люксембургского Бюбю. Мне казалось, он замечает мою брезгливую отчужденность и отвечает на нее горькой ухмылкой. Но в канун нашего отъезда из Люксембурга мне не удалось его избежать, и сейчас я нисколько о том не жалею. В вестибюле ресторана мы совещались с друзьями, как провести последний вечер. Решили сходить в ночное кафе.

— Давайте я вас отвезу, — сказал хозяин и, не дожидаясь ответа, распахнул дверцу своей роскошной машины.

Пришлось последовать любезному приглашению. Мы все довольно нагляделись на местную езду, и мои товарищи предусмотрительно сели сзади, я же замешкался и был вынужден занять место рядом с водителем. Взревел мотор, и в тот же миг мы оказались на углу улицы, а как удалось нам избежать столкновения с пикапом, не знаю, я закрыл глаза. Мы снова рванулись вперед, машина набирала скорость, как гоночная. На повороте мы почти легли на бок. Тут все ездят с отчаянной лихостью, но этот адский водитель побил все рекорды безумия. Я поглядел на хозяина. \*Его полное миловидное лицо изображало спокойствие и скуку. Я что-то понял в нем, он постоянно томился скукой, и бешеная езда давала ему разрядку.

— Классный автомобиль, — сказал я.

— «Меркурий-комета» 1964 года, — заученным голосом отозвался хозяин и с заездом на тротуар обогнал у обочины трехколесную инвалидную коляску. Мы очутились на одной из главных улиц, но он не снизил скорости.

Мы влетели на мост, нависший над гигантской щелью, разломившей город надвое. Дул сильный ветер, и глубоко внизу деревья раскачивали кронами. В темноте, просквоженной светом фонарей, казалось, что перекатываются зеленоватые волны, парк представлялся потоком. В самом конце моста мы чуть не врезались в автобус. От резкого торможения кузов кинуло вперед, было такое впечатление, что мы растались с колесами.

— Вы слишком быстро ездите, это добром не кончится, — сказал я хозяину.

— Быстро? — проговорил он пренебрежительно. — Чтобы развить скорость, нужно расстояние. А в Люксембурге нет расстояний. Чуть нажал на газ — и сразу уперся в границу с Германией, Францией или Бельгией. Конечно, с моим паспортом я могу пересечь границу, но не в таком виде! — он показал на свою сетку, затем задрал ногу в разношенном шлепанце. — Ненавижу крахмальные воротнички, галстуки и тесную обувь. Я читал про ваши поразительные целинные степи, вот где можно гнать! — он восхищенно щелкнул языком.

— У нас на всех дорогах скорость ограничена, — заметил я, — а по бездорожью особенно не разгонисься.

— Да ведь не в скорости дело. Мы носимся как угорелые только потому, что нам некуда ехать. Скорость должна служить расстоянию, иначе грош ей цена. Я-то знаю, я был гонщиком, пустое занятие, хотя деньги можно заработать.

Он уже не закрывал рта. Конечно, неспроста затеял он эту поездку, ему не терпелось выговориться. Человек наблюдательный, он заметил нашу отчужденность, и его самолюбие было уязвлено. До того как мы подъехали к кабаре, он посвятил меня во мно-



гие обстоятельства своей пестрой жизни. Подростком он участвовал в Сопротивлении, потом был гонщиком, профессиональным боксером, и это привлекло к нему внимание мадам, только что получившей в наследство гостиницу. Ему не везло на ринге, и мадам предложила ему работать у нее вышивалой. Он отказался, но тут между ними началась любовь, и в результате он все равно занял место в дверях отеля, правда в ранге законного мужа.

— Кроме того, мосье, я исполняю работу коммерческого директора. Вы, наверное, заметили мои частые отъезды, это связано с делами отеля. Я стараюсь не отлучаться надолго. В нашем тихом Люксембурге хватает мошенников, а мадам при всей практичности в иных вопросах хуже ребенка. Она ничего не понимает в бумагах и законах, тут ее можно в два счета обвести вокруг пальца. А мне достаточно просто стоять в дверях, чтобы сюда не сунулся ни пьяница, ни дебошир, ни проходимец, пытающийся всучить подмоченный товар, просроченный вексель, обесцененные акции...

Конец этой звонкой тирады был отмечен лязгом тормозов, крутым вывертом руля и противно-хрустким ударом, словно яичную скорлупу раздавили, — наконец-то случилось неизбежное: мы столкнулись с вылетевшей наперерез из-за угла машиной. Надо отдать должное мастерству хозяина, он проделал молниеносный маневр, благодаря которому смог принять удар не боком, а бампером. Наша машина была много больше и тяжелее серенького «ситроена», и своим клыкастым бампером мы смяли ему крыло, сами не получив царапины. Сидевшие в «ситроене» молодые люди принялись осыпать нас бранью. Хозяин распахнул дверцу и двинулся на них, выставив плечо и чуть волоча правую ногу, значит, дрался он в левосторонней стойке.

— Жако!.. О, Жако!.. — залепетали в «ситроене».

Хозяин властно махнул рукой, мол, проезжайте, вернулся в машину, небрежно захлопнул дверцу и подъехал к освещенным дверям кабаре. При виде полураздетых тучных девиц на рекламном стенде и

тускло подвыпивших юнцов у окошка кассы нам вдруг расхотелось идти в кабаре.

— Ей-богу, туда не стоит ходить! — стал уговаривать нас хозяин. — Разве это стриптиз? Школьный праздник для учащихся начальных классов. Вы будете в Брюсселе. Пойдите к мосье Годо, я дам вам адрес, скажите, что вы от Жака Люксембургского, он вам покажет настоящий стриптиз! А сейчас покатаемся лучше по городу...

Предложение было принято. Растроганный Жак сказал мне с чувством:

— Спасибо, мосье! Я бывший партизан, бывший гонщик, бывший боксер, ныне важнейший винт в деловой машине мадам, громадное Ничто, если говорить всерьез, но я не альфонс и не паразит.

И все-таки с этим парнем творилось что-то неладное. То ли у него была сорвана нервная система, то ли, как сейчас любят говорить на Западе, он был во власти комплексов... Столкновение не отрезвило его. Мы взлетали на какие-то холмы, рушились вниз, в перемиг железнодорожных огней, и, обдутые горьким теплом паровоза, уносились снова вверх, в прохладу, к слабым звездам и тощему месяцу. Внезапно мы попадали в царство колючей проволоки, сторожевых будок, приземистых, барачного типа строений — казармы войск НАТО — и сразу, почти без перехода, оказывались в загородной свежести, запахе росного сена, а затем из темноты надвигалась темная спящая громада: очередное военное учреждение. Ежеминутно нас резали, ослепляя, лучи фар встречных и поперечных машин; мы почти наезжали на опущенный полосатый шлагбаум, скользили задними колесами по стенке кювета, и автомобильный этот шабаш уже не пугал, а утомлял душу. Так же, как непрекращающиеся разговоры нашего водителя о себе. Кто он — самодовольный хвостун или калека с перебитым жизнью хребтом?

— Я тихий люксембуржец, мосье, — ломилось мне в барабанные перепонки. До того я уже слышал, что «простой», «нетребовательный», «покладистый», «легкий», и сейчас меня взорвало.

— Да, особенно ночью, — сказал я.

— Но, мосье! — вскричал он с болью. — Поверьте, тут нет моей вины. Такова жизнь. Днем я изображаю пугало у входа в ресторан, ночью мне отводится роль изверга. Я многих бил в своей жизни, и меня много били, но я так и не научился поднимать руку на женщин.

— А эти крики?..

— Какой стыд! — он прикрыл лицо руками, и мы некоторое время мчались, словно на автопилоте. — Но я не могу обвинять жену. Она так устает, так выматывается, бедняжка, что, очевидно, ей необходим допинг. Чтобы угодить ей, я опрокидываю стулья, кресла, иногда сервант, но я не могу тронуть ее пальцем.

Все это было неожиданно смешно и настроило меня на веселый лад.

— А знаете, в старой России считалось: если муж не бьет жену, значит не любит.

— Правда? — он почему-то обрадовался. — Стало быть, есть такое в природе женщин. И это вовсе не болезнь!.. А как вели себя русские мужчины?.. Шли они навстречу своим дамам?..

— Еще бы!..

Он тихо засмеялся. От моей недоброжелательности не осталось и следа, он был мне жалок и симпатичен, этот мягкий человек, не преуспевший на семейном ринге так же, как и на спортивном.

— Слушайте, — сказал я, — а почему бы вам не переменить обстановку? Вы застоялись. Наденьте рубашку и поезжайте куда-нибудь на простор.

Он присвистнул, и лицо его стало серьезным, озабоченным.

— Что вы!.. Жена не позволит.

— Поступите хоть раз в жизни по-своему.

— Какой там!.. — В голосе его появились жесткие нотки. — Наш Люксембург выходит на большую арену. У нас никогда не было столько приезжих. Если дела и дальше так пойдут... Знаете, я всегда любил классные машины. Жена обещала мне «роллс-ройс» последнего выпуска, шоколадный кабриолет... На

худой конец, я возьму полуночный «понтак». А за совет спасибо...

Признаться, смысл последней его фразы дошел до меня много позже. Когда ночью начались привычные вопли, не было грохота тяжелой мебели, лишь один короткий резкий звук отчетливо заполнил паузу между двумя вскриками. Затем тишина. И каким-то совсем иным, жалобным, удивленным, женственным голосом хозяйка сказала:

— Ой, ты что, с ума сошел?..

Утром она не вышла нас провожать, у нее болели зубы. Она прислала с дочерью всем нашим туристкам по чайной розе, а туристам — по гаванской сигаре в латунном футляре. Провожал нас искрящимся мозельским вином ласково и грустно улыбавшийся хозяин: ради торжественного случая на нем была белая рубашка.

*Люксембург*

## АЛЕКСАНДР I

Странное мной владело ощущение: только что был самолет, венский аэропорт в звенящем реве «боингов» и «каравелл», бесшумный «мерседес» продюсера Ройтера, оборудованный радиотелеграфом, по которому Ройтер заказал режиссеру Калатозову и мне номера в отеле, отдал какие-то распоряжения своему помощнику и переговорил с Мюнхеном, где находится главная контора студии МЦС, и вот уже без перехода, будто сработала машина времени, перед нами иной, минувший век, резиденция Габсбургов, Шенбрунн в разгар Венского конгресса. По широким ступеням дворцовой лестницы рассеяны нарядные фигуры празднично взволнованных дам и ловких кавалеров. Внизу, за маленькими столиками, также расположились дамы и кавалеры, каждая пара на свой лад трактует фигуру галантной тайны, любовного сговора. Чуть поодаль очаровательные амазонки в атласных юбках горячат тонконогих коней. Взгляд привыкает

к нежной, неброской пестроте и многолюдству и вдруг обнаруживает Талейрана во всем черном, как и подобает представителю побежденной страны, об руку с прелестно-хищной княгиней Меттерних в великолепном, сверкающе-белом, каком-то торжествующем платье. Они идут медленно, Талейран прихрамывает, и княгиня обуздывает в угоду спутнику свой порывистый шаг.

Толпа скрывает кинокамеру, и кажется, что все вокруг наяву дарованное тебе прошлое. Но когда, наконец, находишь могучую камеру МЦС-70, иллюзия подлинности не исчезает, ибо так пространственно огромна погруженная в девятнадцатый век панорама Шенбрунна, что не верится, будто ее может охватить глаз объектива. Но вот я узнал в Талейране Поля Мориса, исполняющего главную роль в фильме «Мари-Октябрь», а в княгине Меттерних — актрису Пальма, и сказка тихо отлетела...

Фильм называется «Конгресс развлекается», это будет чисто венское блюдо: музыкальная комедия. В свое время венцы окрестили высокое собрание, призванное решить судьбу Европы, «Конгрессом любви». Ликующие победители, наконец-то избавившиеся от гнета беспокойного гения Наполеона, превратили конгресс в любовный праздник.

На скамейке, возле ледника с кока-колой, сидела молодая беловолосая женщина с большим розовым ртом, тонкими запястьями и щиколотками, странно и нежно несовременная в своей задумчивой отрешенности. Казалось, она случайно отбилась от шенбруннского сборища. Ройтер подвел нас к ней и представил. В ответ, словно из рейнских легенд, из лесного обиталища Рюбецалля, тихо донеслось: «Ханнелора». Это была вдова создателя знаменитой съемочной камеры суперпанорамных фильмов и нынешняя глава студии МЦС — г-жа Травничек. Чтобы пожать нам руки, Ханнелора Травничек отложила в сторону тетрадь в грубой, покоробившейся, грязно-желтой мосфильмовской обложке. Я понял, что это наше либретто, для обсуждения которого мы и прикатили в Вену...

Во второй половине дня Георг Ройтер, душа и

заходила будущей совместной постановки, повез нас на павильонные съемки.

Павильон был оснащен первоклассной осветительной аппаратурой, наисовременнейшей съемочной техникой. Удивляла его населенность: участники съемки, корреспонденты газет и радио, просто любопытные; многие курили, но воздух оставался свеж и чист, никто никому не мешал, а под ногами не путались бесконечные провода и бесчисленные пожарники, как это принято на наших студиях.

Насколько радовала организация съемок — порядок, четкость, высокий профессионализм всех работников, настолько печалила — меня во всяком случае — художественная суть творящегося в прекрасных декорациях кабинета русского императора Александра I. Кабинет был обставлен с тонким вкусом, беспокойство взору причинял лишь большой графин с водкой, стоявший обок с вместительным стаканом на ампирном столике. Император то и дело взбодрился добрым глотком отечественного напитка. Стакан водки был перелит императором и в маленькую розовую пасть пришедшей к нему субретки, которую смертельно испугал раздавшийся под окнами взрыв. То ли субретка, втайне влюбленная в русского царя, пришла, чтобы предупредить его о готовящемся покушении, то ли она просто явилась на свидание, а взрыв прогремел сам по себе, — ошеломленный обликом и повадками русского венценосца, я не разобрался в случившемся. Знаменитый актер Курт Юрген много старше Александра не только поры Венского конгресса, но и тех последних дней, когда, преждевременно уставший от жизни, окружающих и себя самого, император ушел в Таганрог, как в смерть. Все же и ростом, и статью, и даже чертами лица актер подходит к роли. Беда не в этом. Изящнейший участник конгресса щеголял в шелковой косоворотке, вроспуск, зеленых полугалифе и гусарских сапогах — ни дать ни взять курский мелкаш, собирающийся кутнуть с друзьями после удачной псовой охоты. Под стать одежде манеры. Грубо толкнув девушку на кушетку, император развалился рядом с ней, а

когда ему понадобилось встать, он быстрым и непристойным движением перекинул ноги через ее голову.

Я никогда не принадлежал к поклонникам этого самодержца, травившего Пушкина и возвеличившего Аракчеева, одарившего русский народ военными поселениями и все же достаточно прозорливого, чтобы не мешать Кутузову спасти Россию. Но, помимо симпатий и антипатий, существует историческая правда. Александр, любя, как и все Романовы, фронт, вовсе не был солдафоном. Лукавый, изменчивый, непроницаемый, тонкого ума, легкого очарования и большого упрямства человек, он умел заставить считаться с собой даже Наполеона, который ни с кем не считался. В дни конгресса Александр, победитель и красавец, был кумиром Вены, чаруя и женщин и мужчин изяществом, покоряющей вежливостью, тонкой смесью веселости, галантности и меланхолии.

И когда Георг Ройтер спросил меня: «Ну как?», горделиво кивнув на Курта Юргена в косоворотке и галифе, я чистосердечно ответил, что Александр не был ни так стар, ни так мужиковат, он не носил косовороток, не глушил водку стаканами и пуще того — не заливал ее в дам. Ройтер удивился, притуманился, но затем быстро воспрянул духом, видимо не слишком-то поверив мне. Его окликнули. Едва он отошел, М. Калатозов принялся отчитывать меня: «Разве можно говорить под руку такие вещи!» Наверное, он был прав, но интересно, стал бы он так рассуждать, если б вместо Александра тут снималась благословенная Тамара в рязанском кокошнике и сарафане?..

Ройтер вернулся, подкрепленный новыми аргументами.

— Мы ставим комедию, а не исторический фильм, какую роль играет правдоподобие?

— Почему же вы стремились к правдоподобию в Талейране и княгине Меттерних?.. Разве проиграл бы ваш фильм, если б Александр был похож на себя, а не на опустившегося отставного гусара?

— Ну и не выиграл бы!..

— Как знать! Быть может, сцена, которую мы видели, стала бы тоньше, лукавей и даже смешней.

Ройтера снова отозвали, а в разговор вмешался человечек с лемурийскими подглазьями на маленьком желтом личике.

— Ему вас не понять! — сказал он с непонятной горечью. — Дорогие актеры — как дорогие женщины, их любят не за красоту и душу, а за те деньги, что в них вложены. Разве признается продюсер, что звезда, да еще такая — на вес золота, — не светит?

— Курт Юрген не светит?

— Конечно! Наши знаменитости так привыкли к суррогату искусства, что уже не способны вжиться в образ. Его пытались натаскать — пустое... Какой из него Александр!.. — И человечек пренебрежительно махнул худенькой ручкой, едва не обронив с нее часы.

...Эта часть старой Вены — сплошь кабачки и «дома Бетховена». Иные кабачки выходят уютно освещенными окнами и льющейся из дверей музыкой прямо на улицу, иные хоронятся в глубине мощенных лобастым булыжником дворики, иные в садах, под сенью старых лип, буков, кленов.

«Дома Бетховена» неисчислимы. Правда, так называют их вѣнцы для простоты: ни одно из этих зданий с мемориальной доской не принадлежало великому композитору и, более того, ни одно из них не давало ему надолго приюта под своей черепичной крышей. Как только приходил срок платы за жилье, Бетховен, не ожидая, когда его выгонят, прихватывал ворох нот, потертый саквояж и перебирался в другой дом. Этот столь невыгодный при жизни жилец ныне превратился в неиссякаемый источник дохода для легконогих гидов, водящих сюда туристов со всего света. «Домов Бетховена» столько, что от них кормится целый рой молодых людей в коричневых припыленных замшевых туфлях и коротких муарово отблескивающих плащах. Ни гидов, ни туристов не смущает, что самая краткость пребывания Бетховена во всех этих домах не давала ему возможности



оставить отпечаток своей личности на вещах и обстановке.

Кабачки, перемешанные с домами Бетховена, а нередко занимающие в них первый этаж, тоже своеобразная дань великой тени, ведь все они музыкально озвучены. Квартал насыщен пиликаньем скрипок, контрабасными вздохами, переливами аккордеонов, грудными руладами роялей в честь бывшего злостного квартиронеплательщика. Конечно, Бетховена не отваживаются играть крошечные, из двух-трех инструментов, оркестрики. Они играют штраусовские вальсы и народные австрийские мелодии, играют здорово! А посетители кабачков подыгрывают на губных гармониках, гребенках, а то и просто ножом по стенке бокала, или свистом, или щелчками пальцев. И тоже здорово — на редкость ритмично, музыкально.

Оркестранты не сидят на месте, они ходят среди столиков и за несколько монет, за кружку пенистого пива, за стакан вина могут сыграть по вашему желанию, причем делают это без утраты достоинства, охотливо, душевно, гостеприимно. Посетители — народ простой, нечванливый. Принц Лобковиц развлекается в других местах...

Георга Ройтера, конечно, знали в этом кабачке — не успели мы вместиться за шаткий столик, как перед нами возникли стаканы с темно-красным вином и старый скрипач с пластроновой припачканной табакком и пеплом грудью. Склонив голову к темно-коричневому телу скрипки и горестно скривив тонкогубый рот, скрипач заиграл с усердием, почти равным вдохновению, цыганскую венгерку, но вскоре я перестал следить за его игрой.

У дверей кабачка остановился широкобокий, шоколадный, последнего выпуска «роллс-ройс», с характерным плоским радиатором, оставшимся неизменным от первых моделей до наших дней.

Из машины выпорхнула, придерживая на груди меховую накидку, тоненькая девушка с бледно-сиревыми от неоновых световых волосами, а с другой стороны, небрежно кинув дверцу, вышел рослый пожи-

лой мужчина. Он, видно, не желал привлекать к себе внимания, и оттого в его взгляде исподлобья, в неуверенной, лукаво-затаенной и вместе чарующей улыбке, в особой, ускользающей грации было что-то двусмысленное, неискреннее, почти слабое, но прочно защищенное стоящим на страже достоинством; его воспитанное, тренированное тело двигалось легко и сильно, рука коснулась створки двери, одновременно убрав с пути девушки какого-то пьянчужку, с привычной властью. Ни дать ни взять Александр I, ускользнувший с блестящего раута, чтобы доставить себе рискованное и пряное удовольствие народного гулянья.

Пара приблизилась. Человек этот был несколько староват для Александра: мешки под глазами, гусиные лапки на висках, но в остальном — какое поразительное, прямо-таки дурманное сходство с загадочным русским царем. Мы поздоровались, это был Курт Юрген.

*Вена*

## НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

На пути в Карловы Вары я сделал короткий привал в Праге. Мой друг, фотокорреспондент Вацлав Зимны обещал подкинуть меня завтра на машине до самого санатория. У него там поблизости отдыхала жена. Она вообще всегда отдыхала там и сям.

Прослонявшись весь день как отпускные солдаты, мы остаток вечера провели в большой пустынной квартире Вацлава, начавшей припахивать холостяцким жильем. Вацлав гордился тем, как опрятно содержит дом в отсутствие жены: ни грязной посуды, ни пустых бутылок, полы подметены, коврики обработаны пылесосом. И все же какой-то подозрительный тленец пронюхивался в воздухе: от увядших гладиолусов в зацветшей воде, от пепельниц, полных окурков, от нечищенных сковородок да и просто оттого, что тут не пахло женщиной.

День был жаркий, и вечер не принес пролады. Пользуясь нашей мужской свободой, мы остались в одних трусиках и сумерничали в таком непринужденном виде. Вацлав жил в незнакомом мне районе Праги. Балкон глядел в темные купы парка, справа тянулась широкая спокойная улица, обсаженная молодыми липками и озаренная светом высоких фонарей. Над ней стояла низкая круглая оранжевая луна, казавшаяся такой же обязательной приметой здешних мест, как рослые деревья парка, молодые липки, высокие фонари.

Мы включили телевизор посреди какого-то приключенческого фильма, но оставили его немым, а вместо этого поймали по радио хорал Баха. Мы глядели, как на голубом экране крепкоскулые герои обмениваются беззвучными выстрелами и зуботычинами, слушали глубокие вздохи Бахова многоголосья, и нам было хорошо. Мы дружили, по счастью не настолько, чтобы докучать друг другу неудачами, бедами, сомнениями. По безмолвному уговору, наша дружеская близость остановилась на той грани, где вежливость обязывает не усложнять свой образ страданием. И так приятно было, забыв обо всем, что обременяет душу, пожить хоть вечер простыми радостями: холодным пивом с квадратиками льда из морозильника, горячими сосисками с нежной горчицей, разговорами о футболе, космосе, снежном человеке или о чем другом, столь же необязательном.

Рассуждая, Вацлав то выходил на балкон, то возвращался назад, таская по стене свою голую атлетическую тень. В жизни он выглядел пожиже, а тенью настоящий Геракл. Тень укорачивала ему длинную и тонкую шею, крепче сажала голову на широкие покатые плечи да и в талии хорошо уплотняла. Размышляя над тенью Вацлава, я все удобнее пристраивался на тахте, переходя из сидячего положения в полужащее, затем в лежащее, и, когда стало совсем удобно, задремал, сам того не заметив.

Раздался высокий жалобный вопль. Невыносимый вопль смертельно раненного оленя, обычно сопутствующий автомобильной аварии. Это взрыд тормозов,

бессильных удержать стремящееся в гибель тело машины. Дрема сразу слетела с меня, я вскочил и сел на тахте. Похоже, наша умиротворенность не способствовала мировой тишине, никого не выручила, не защитила...

Промелькнул Вацлав с маленьким перекошенным ртом и выскочил за дверь. Послышался шум лифта. Звук был такой, будто спускают воду в уборной. Я хотел бежать следом за Вацлавом, но что позволено хозяину, заказано гостю, надо одеться. Как назло, куда-то запропастились носки, потом исчез ботинок. В голову лезли какие-то берклианские мысли: пока я тут копаюсь в полном неведении о случившемся, можно ли считать, что ничего еще не произошло, или в самом деле уже есть пострадавшие, раненые, даже убитые?.. Видимо, я не совсем проснулся, если такое творилось в мозгах.

Я глянул с балкона. Под высоким фонарем, уткнувшись серебряным носом в железный столб, даже слегка вобрав его в себя, стоял серый «мерседес», рядом на тротуаре лежала сшибленная липка: Яркая и свежая в свете фонаря, листва тихо шевелилась, деревце словно продолжало жить. Улица была по-прежнему пустынной, мирно спящей, а машина сверху казалась невредимой. Если б не поверженная липка и не безутешный вопль тормозов, все еще звучащий в ушах, я подумал бы, что авария мне приснилась.

Выйдя в коридор, я обнаружил, что забыл зашнуровать ботинки. Нагнувшись, стал завязывать шелковые, ускользящие шнурки, и тут кто-то вошел. Сперва я увидел две пары ног: голые, сильные, чуть кривоватые ноги моего друга и стройные, длинные, молодые ноги женщины. На коленях чулки были порваны, в две круглые дырки глядели ободранные в кровь коленки, словно у сорванца. Но это детское не вязалось с женственной прелестью нейлона, обремененного поверху прохладным краем юбки.

Распрямясь, я будто шел по следам преступления. Светлое платье и легкая, тоже светлая кофточка были замараны кровью, где черно-засохшей, где свежей. Кровь была и на смуглых ключицах, и на

шее, и на подбородке, заливала щеку, сочась из глубокого разрыва, идущего наискось от основания носа к ушной мочке. Над кровавой полосой съжившийся, будто измятый глаз тонул в желто-синем натеке. А другой глаз, исчерна-карий, блестящий от боли, был огромен и полон, как у спаниеля.

— Вот, привел... — сказал Вацлав.

— Вы извините, пожалуйста, — тоже по-русски, почти без акцента сказала девушка и улыбнулась.

Странно она улыбалась: одним глазом, одной щекой, краешком губ. Отбитая и кровоточащая половина лица утратила подвижность.

— Не я тут хозяин! — услышал я свой голос.

Зачем я это сказал? Что имел в виду? Мол, будь я хозяином, так бы вас и впустили?.. Просто я растерялся.

— Вот ванна, — говорил Вацлав. — Держите полотенце, йод, вату. Сейчас я вернусь.

Квартирный телефон не работал, позвонить в неотложку можно было только снизу.

— Надо же!.. — все еще продолжая замаскированно извиняться, сказала девушка. — Такое невежество!..

Она вошла в ванную комнату, оставив дверь открытой. Над умывальником висело зеркало. Девушка стояла перед ним, не смея поднять головы. Она еще на что-то надеялась. Затем резко вскинула голову — несколько капель крови сорвались со щеки на белизну умывальника — и поглядела прямо себе в лицо. Из здорового красивого глаза выкатилась маленькая быстрая слеза. В следующее мгновение девушка уже прижигала йодом мелкие ранки. Затем, раскрутив кран с холодной водой, она смыла кровь и стала мочить рассеченную щеку. Ей, видимо, не на кого рассчитывать в жизни, кроме самой себя, и потому без плача и жалких слов она деловито принялась спасать свое лицо.

— Ну, надо же!.. — она отняла голову от струи и снова улыбнулась половинкой лица. — А как другой? — спросила она, ощупывая пальцами вздутие виска и глазницу.

Я не понял, о ком идет речь.

— Он ведь не ушибся, правда? — допытывалась девушка.

— Он в порядке! — резко сказал за моей спиной Вацлав.

Снова пол-улыбки вспыхнуло на разбитом лице.

— Мне тоже так показалось. А вдруг он притворялся... ради меня?

— Ничего он не притворялся, — нетерпеливым, почти грубым голосом сказал Вацлав.

— Не сердитесь, — сказала девушка, — я вам тут напачкала...

— Бросьте! — буркнул Вацлав.

— Завтра я приду и все вымою.

— Хватит, а?..

— Нельзя ли... — девушка замялась. — Он, наверное, страшно беспокоится...

— Чепуха! — все с той же непонятной резкостью перебил Вацлав. — Он знает, где вы.

— Он такой деликатный... — Девушка намочила носовой платок под краном и сильно прижала к ране. — Знаете, — она таинственно понизила голос, — он итальянский граф. Правда, правда, он мне документы показывал. Настоящий граф, а держится совсем просто... — Платок пропитался кровью, девушка выжала его и опять подставила лицо под струю.

— Может, и граф, — пожал плечами Вацлав в ответ на мой недоуменный взгляд. — Итальянец — точно... Машина обита красной кожей, наверное, граф... В галстуке булавка вот с таким брильянтом, конечно, граф. Их там в Италии хоть завались!.. — что-то с Вацлавом происходило, он заводился с пол-оборота.

— А вы давно его знаете? — спросил я девушку.

— Мы вчера познакомились, в кино. — Она подняла голову, из здорового глаза излучалось доброе товарищеское доверие. — А сегодня он вдруг заехал за мной на работу. Хотел домой отвезти. Надо же!.. Я далеко живу, за городом. — Ей и сейчас было радостно говорить об этом.

Кровь медленно и неумолимо заполняла рану, так наливается водой след на болоте.

— Я пойду, — сказала девушка. — Спасибо за все.

— Погодите, — сказал Вацлав. — Сейчас придет «Скорая помощь».

— А еще раньше милиция!

— Милиция уже здесь.

— Тогда мне надо исчезнуть.

— С какой стати?

— А мой вид?.. Это может повредить...

— Графу?

Она кивнула.

— Он был сильно пьян?

— Ну, почему обязательно пьян? Просто устал человек...

— Так устал, что заснул за рулем?

Девушка промолчала. Она не знала, что хуже: разбить машину во сне или наяву, и боялась подвести своего спутника.

Донесся тревожный подвыв «Скорой помощи», словно горластый младенец зашелся в плаче-икоте.

— Пошли, — сказал Вацлав. — А то они притащатся с носилками.

— Это еще зачем? — Девушка почти испуганно устремилась к двери, ее шатнуло, прижало к стене.

— Что со мной?.. Ноги не держат...

Вацлав крепко взял ее под руку. Мы спустились на лифте. Вокруг «мерседеса» уже успела собраться толпа. Жизнь, как плохой режиссер, обставила место происшествия нарочитыми фигурами, призванными демонстрировать, что несчастный случай произошел ночью: полосатые пижамы, болтающиеся подтяжки, кое-как запахнутые халаты, бигуди, папильотки. Времени не было одеться!.. Все немного бравировали своим неприличным видом, все, кроме Вацлава, который не замечал, что до сих пор ходит в одних трусиках.

Девушка вставала на носки, вытягивала шею, прикрывая ладонью разбитую половину лица, она иска-

ла своего графа. Но его не было видно, то ли затерялся в толпе, то ли уже стал узником.

На другой стороне улицы, нос к носу, стояли милицейский «козел» и машина «Скорой помощи». И оттуда навстречу нам сразу двинулась группа людей: трое милиционеров во главе с лейтенантом, долговязый врач «Скорой помощи», санитары с носилками. Впрочем, санитары сразу поняли, что их помощи не требуется, и вернулись к машине. Толпа развалилась, заядлые автомобилисты остались у разбитого «мерседеса», все остальные окружили нас.

— Вы пострадавшая? — сказал лейтенант, рослый, красивый, сияющий белизной краг, портупеи, чехла фуражки. — Кто владелец машины?

— Разве вы сами не знаете? — осторожно спросила девушка, она по-прежнему закрывала рану рукой.

— А я хочу от вас услышать! — значительно произнес лейтенант.

Девушка колебалась, ей было стыдно перед нами, что придется врать, но боязнь за «другого» перевесила.

— Понятия не имею.

— Случайное знакомство? — особым голосом сказал лейтенант.

— Да!

— Предъявите документы.

— Пусть ей сперва помогут! — крикнул Вацлав.

— Может, вы не будете меня учить? — лейтенант насмешливо уставился на голого человека.

— Он прав, — вмешался долговязый, с красными, усталыми глазами врач «Скорой помощи». — Не вальйте дурака, лейтенант! — и девушке: — Идемте!

— Пусть мне вернут мою сумочку, — сказала она. — Там, кстати, мой служебный пропуск.

— Вы где работаете? — не удержался лейтенант, сникший после отповеди врача.

— На фабрике детских игрушек, цех елочных украшений.

— Не дурачьтесь! Ваша сумочка осталась в машине.



— Знаю. Верните мне ее.

— Рады бы, да как это сделать? Ваш случайный знакомый запер машину.

— А где он? — беспомощно спросила девушка.

Она шагнула к машине, отпугнув ротозеев, и глянула сквозь толстое чистое стекло в кроваво-красное ее нутро. Маленькая кожаная сумочка лежала на переднем сиденье.

— Мы думали, вы нам подскажите, — по-доброму вздохнул лейтенант. — Он удрал.

— Хорош гусь! — с презрением сказал врач.

— Ты знал? — спросил я Вацлава.

— Я видел... когда мы с ней входили в подъезд.

Девушка убрала руку, прикрывавшую рану. До этого деревце еще трепетало, сейчас все листья поникли. Она терпела физическую боль, смирялась с изуродованным лицом ради своего спутника, ради красивого приключения, которое он ей подарил. Они мчались вдвоем на красных сиденьях бесшумной машины, распарывая ночь лезвиями фар, а потом их постигла беда, что ж, бывает, это также принадлежит жизни, как и удача. Все имело смысл и оправданье, все можно было принять почти с благодарностью: и боль, и кровь, и шрам навсегда, если б не это низкое предательство. Он бежал, напрочь забыв о ней, но позаботившись о машине, которую завтра, трезвый, во всеоружии лжи, без труда получит назад.

Она заговорила незнакомым, уличным голосом:

— Плевать я на все хотела, мне чтоб сумка была!

Кто-то из автолюбителей раздобыл проволочную петельку. Он просунул петельку в щель между рамкой ветрового стекла и резиновой прокладкой и освободил защелку. Теперь ничего не стоило дотянуться до дверной ручки.

Девушка взяла сумочку и заглянула в нее.

— Спасибо хоть деньги целы!.. Пошли, док!..

Она снова боролась за себя, маленький, стойкий солдатик! Но раньше она спасала лицо, а сейчас душу. Лучше уйти отчаянной, циничной, пропащей, только не жалкой.

...Мы опять одни в большой, пустынной квартире. Что-то прихлынуло и отступило, не оставив по себе следа, лишь два-три пятнышка крови на умывальнике и кафельном полу ванной да тающий, чуть различимый запах духов.

— Давай выпьем сливовицы, — предложил Вацлав, — у меня, кажется, осталась бутылочка...

В четвертом часу ночи, когда мы бросили в мусоропровод пустую бутылку и она покатилась по этажам, грохоча как горный обвал, Вацлав вдруг заговорил:

— Черт, ненавижу, когда в человеке убивают праздник!.. Ты видел ее спину?.. Черт!.. Веришь, мне хотелось броситься к ее бедным, разбитым ногам и орать: «Постойте!.. Не все пропало. Я, конечно, не граф, я репортер, но вы мне прекрасны!»

Сливовица тут была ни при чем — я это сразу понял, — просто он впервые перешагнул запретную грань.

*Прага*

## ИСТОРИЧЕСКАЯ ТУМБА

В воскресенье нас повезли на экскурсию в Злату Прагу. В большой, комфортабельный автобус набились празднично разодетые, взволнованные, напряженно острящие язвенники, почечники, больные нарушением жирового обмена и воспалением желчного пузыря. Радовало и предстоящее знакомство с чешской столицей и то, что в этот необычный день нам будут прощены болезни, как грехи на исповеди. Мы пообедаем в ресторане и каждый закажет себе что хочет: хоть жирное, хоть мучное, хоть жареное под острым соусом да еще сдобренное вином или пивом. В нашем разгоряченном воображении возникали шипящие бифштексы и отбивные, антрекоты и шницели, зло наперченный гуляш и сытнейший суп с кнедличками, пирожное с невесомым желтым заварным кре-

мом и пломбир с рассыпчатым печеньем, терпковатое, типа мозельского, белое вино и тринадцатиградусное, горькое, ледяное смиховское пиво. Но друг перед другом мы, конечно, делали вид, что интересуемся лишь Национальным музеем, собором святого Стефана, Пантеоном, Карловым мостом и, чтоб не выглядеть совсем лицемерами, милой экзотикой пражских улиц в виде горячих шпикачек — их жарят прямо на ваших глазах и, густо смазав сладковатой горчицей, закладывают в белую булку с хрустящей корочкой.

Быстро промелькнула дорога, перелистав, словно альбом с открытками, аккуратные чешские ландшафты. Увитые нежно-зеленым хмелем столбы успокоительно напомнили, что от чешского пива так не толстеешь, как от баварского, которое варится на солоде.

В Прагу мы приехали к обеденному часу. Немного побродив по центру города и полюбовавшись монументальным зданием Национального музея, мы отправились в ресторан. Ни фантазмагория лукулловых пиров, ни раблезианское обжорство, ни чревоугодие Ламме Гудзака, ни безумие масленой, жирно воспетое Яном Саксом, не могли сравниться в гастрономическом неистовстве с нашим бессильным рвением...

А затем была экскурсия по городу. Сперва мы бродили по центральным, улицам, сплошь заставленным строительными лесами. Мы проходили под навесами, предохраняющими головы пешеходов от незапланированного падения кирпича или гранитной плиты. Иногда нам удавалось сделать несколько шагов по тротуару, но чаще мы шли по мостовой или деревянным настилам, ибо тротуары были завалены досками, кирпичами, ящиками с известкой и мелом, макетами с краской. Едко пахло и чуть пощипывало в носу, как в квартире во время ремонта. На редкость дружно подновлялась чешская столица! Кто-то пошутил: «Как же красив был этот город до землетрясения».

Затем мы отдалились от центра и попали в краси-

вый сквер, уступами взбирающийся вверх. Здесь на каждой скамейке целовались парочки, рядом играли дети и судачили старые женщины. И чем выше, тем жарче объятие, и задумчивей лица детей, и острее косые взгляды старух, и гид круто повернул назад, так и не доведя нас до вершины.

Мы соскользнули вниз и, покрутившись по горбатым, булыжным улочкам, оказались возле реки. И был Карлов мост с каменными, будто вымазанными сажей, величавыми статуями на перилах, и прозрачная, раздольная Влтава под ним, и челноки рыболовов, удвоенные своим отражением, причем казалось, что настоящий челнок плавает кверху дном в спокойной — ни шелоха — чистой, светлой воде, а его отражение струится в мареве горячего воздуха.

И была складская, чуть плесневелая прохлада собора св. Стефана, хотя его никогда не превращали в картофелехранилище, — высокий сумрак, обнесенный ярко алым, иссиня-синим, червенно-золотым глухим сверканием витражей. И была нежная церковь св. Лоретты, где, погруженное в собственный нестерпимый блеск, покоится «золотое солнце» — гордость пражан. И была восхитительная крутизна и кривизна Градчан, вдруг разом, за каким-то поворотом, кидающих тебя в ту самую улочку средневекового городка, где некогда исходил мощью и паром чешский Голем и пекарь посрамил короля.

Ждали нас и другие чудеса, но мы начали стремительно скисать, как молоко, которое забыли вынести в погреб. Изобильный обед тяжело лег на желудок, и усыпленные святой карловарской водичкой недуги угрожающе пробудились...

Все развинтилось, расстроилось в наших бедных организмах. Так разваливаются старые, давно не обновлявшиеся спектакли: актеры утрачивают связь друг с другом, невпопад бросают реплики, перевирают текст, фальшивят в каждом слове и жесте. Жара усугубляла наше скверное самочувствие. Солнце давило на плечи, пекло затылки, выгоняло из всех пор выпитое за обедом. Бледные, мокрые, тяжело дыша-

щие, мы уже не способны были радоваться Градчанам. Недомогание заставляло нас уходить внутрь себя, как уходит улитка в свой домик. Что нам до этого собора со всеми его башнями и шпилями, благородным ажуром стен, опирающих свою грандиозную бесплотность о стройные контрфорсы, и до этого барочного дворца с грудастыми кариатидами в мраморных венках, и до этого плоского, без оконных проемов, терпко пахнущего стариной домика под черной, как копь, черепицей, когда в каждом из нас зреют грозные тайны недугов!..

Наш гид, полный, рано обрюзгший молодой человек, с бледно-розовым лицом, обильно потеющим в глубоких морщинах лба и под очками, у основания носа, почувствовал, что мы исчезаем, оставаясь телесно возле него. Великий любитель светлого пива и жареной хрустящей картошки, он не пропускал ни одного пивного ларька и не расставался с целлофановым кулечком, распространявшим запах чуть пригорклого масла. В начале маршрута мы досаждали ему настырной любознательностью: что да как, да кто, да когда, да почему?.. О каждом здании его допрашивали так придиричиво, будто хотели это здание приобрести. Гид не понимал, зачем нам все это нужно. Больных людей выпустили порезвиться, ну, и пользуйтесь жизнью, ходите, любуйтесь, пропуская мимо ушей торопливые пояснения, — гид охотней просто помолчал бы, да ведь не за молчание ему деньги платят, — угощайтесь пивком и тонкими лепестками жареной картошечки, словом, отдыхайте, ничем себя не заботя. Так нет же! Кто построил? Когда построил? Зачем построил? Голова шла кругом!.. Гид знал, что в группе равно не было ни строителей, ни служителей культа, так какого ж черта приходит в раж при виде каждой церквушки!..

Но теперешнее равнодушие тоже не устраивало гида. Как-никак он был добрый пражанин, и, встречая в ответ на свои разглагольствования тусклый, рыбий взгляд недавних ревнителей старины, он страдал. Гид попробовал разжечь потухший костер. Он прокашлялся, налил голос металлом, а пояснения —

вдохновенной выдумкой. Все здания дружно постарели и обрели особую архитектурную ценность, у каждого оказалась необыкновенная историческая судьба, со многими связались загадочные истории — «можно рассказать, если группа настаивает». Но никто не настаивал.

В конце концов он выдохся, иссяк и замолчал. Выпив в огорченной рассеянности темного пива, он вконец пал духом и безнадежно остановился на углу какого-то перекрестка. Вокруг был прекрасный отвергнутый город, в тусклом, словно придымленном небе неистовствовало солнце, тяжелым жаром дышал поплывший асфальт, и полному молодому человеку стало смертельно жаль себя, усталого, мокрого, обреченного ломиться в глухое равнодушие озабоченных лишь своим недомоганием людей. Он сказал, насмехаясь не над нами, а над собой, над собственным бессилием: «А вон к той тумбе Швейк водил собак на прогулку», и вялым жестом показал через дорогу.

Не успел он оглянуться, как полумертвая аморфная человечья масса за его спиной обрела жизнь и движение. В обгон друг друга ринулись через дорогу язвенники, желудочники, «каменосцы», толстяки и дистрофики. Сейчас никто из нас не помнил о своих изъянах. Впивались в асфальт протекторами шин, круто тормозя, машины и мотоциклы, осадил першерона краснолицый возчик, смачно выругался вожатый трамвая, а мы оголтело мчались к заветной тумбе. И вот она перед нами, трогай, гладь ладонями шершавое каменное тело, любуйся исчербленными гранями в темных потеках от недавних собачьих визитов и нежно вспоминай румяную рожу бравого солдата, быть может стоявшего на том же самом месте, где сейчас стоишь ты.

Вот теперь нашему gidу не на что было жаловаться, он даже как-то сник перед бурей, которую ненароком вызвал.

А у меня ком застрял в горле. Никогда еще не гордился я так своим цехом. Ведь не было никакого Швейка — пусть ныне и отыскался далекий его про-

тотип, — значит, и тумба — мнимость. Но даже будь все это правдой, несть числа солдатам-балагурам, как несть числа тумбам — собачьим станциям, кого это волнует? Но стоило людям услышать, что к этой вот ничем не примечательной тумбе водил собак придуманный Гашеком brave солдат Швейк, как их овеяло сопричастностью к чуду. Воображение самого грустного весельчака наделило вымысел столь полной и сильной жизнью, что он стал веселей, реальней, зримей прекрасных зданий, старинных храмов, искусных творений человеческих рук из гранита, мрамора, бронзы. Поистине «ёмче органа и звонче бубна» слово, крепче, выносливей металла и камня слово, да и творцу всего сущего предшествовало слово!..

*Прага*

### **ЗАЧЕМ МНЕ ТАКАЯ ЖЕНА?..**

Она резко отличалась от всех официанток санаторной столовой: маленькая, чернявая, по-цыгански смуглая, на крепких, коротких ножках. Все остальные отражали вкус нового метрдотеля, борцового сложения, зафраченного молодца с гулкой пластроновой грудью и зеркально набриолиненной головой: девушки, как на подбор, были высокими длинноногими блондинками с долгим телом и осиной талией. Некоторые из них работали прежде в маленьких барах, раскиданных по кручам окружающих городок зеленых гор. Большинство же пришло сюда прямо со школьной скамьи, они не обладали ни опытом, ни умением, зато цветущий вид, гладкий золотистый загар и персиковые щеки должны были, по мнению метрдотеля, способствовать бурному выделению желудочного сока даже у больных с нулевой кислотностью. И не беда, если иная что-то прольет, уронит, окунет перламутровый ноготь в суп, перепутает блю-

да. В последнем зафраченный красавец заблуждался: больные были очень чувствительны ко всему, что касалось диеты. И, съев биштекс по-гамбургски или наперченное харчо, какой-нибудь язвенник, приписанный к «восьмому столу»: только вареное, ничего острого, — возмущенно жаловался сестре-хозяйке, что его накормили не по правилам и теперь ему будет худо. Случалось, правда, больной сразу указывал официантке на ошибку, но обычно он закатывал скандал, уже разделавшись с запретным блюдом. Сестра-хозяйка призывала провинившуюся к ответу, бранила, стыдила, иногда штрафовала.

В огромном помещении столовой то и дело вспыхивали очажки раздора — больные и сестра-хозяйка воевали с рассеянными и неловкими красавицами. Девушки сохраняли место лишь благодаря стойкой вере метрдотеля в спасительное воздействие красоты.

Даже официантки, некогда работавшие в барах, здесь не справлялись. Одно дело подать кружку пива, кинув под донце картонный кружок с надписью «Пльзень», другое — таскать огромные подносы со всевозможными блюдами да еще помнить, кому что положено.

В бурном море столовой приметно и странно выглядел затишек, где хозяйничала маленькая Милена. Колобком каталась она на своих коротких, крепких ножках и, не заглядывая в листки персональных меню, подавала каждому, что он заказывал. И никогда она ничего не уронила, не пролила, не разбила! Возможно, потому и мирился скрепя сердце зафраченный властелин столовой, что в стаю его лебедей затесался галчонок. Лебеди были менее снисходительны, они свирепо злились на свою ловкую, памятьливую подругу.

Простая и легкая душа, Милена пыталась им помочь. Она показывала, как надо размещать тарелки и судки на подносе, в какой последовательности снимать, удерживая равновесие, как балансировать подносом, чтобы не утратить центр тяжести.

— Как почуяла перевес, наклони кисть в ту же



сторону, а поднос чуть опустит, затем — плавно вверх, — объясняла Милена.

Она подымала на ладони тесно заставленный разнокалиберной посудой поднос и скользила между пустыми столиками, слегка приседая при поворотах. Поднос то взлетал ввысь на ее согнутой в локте руке, то плавно опускался, оставаясь параллельным полу. Она снимала с него тарелки, словно не заботясь о смещении центра тяжести, на самом же деле меняя наклон ладони и тем сохраняя равновесие.

Девушки пробовали ей подражать, и тарелки с грохотом летели на пол. И все же эти предметные уроки приносили какую-то пользу, куда хуже обстояло с другим: почему Милена никогда не путает, кому что подавать?

— А как же можно спутать? — удивлялась Милена. — Это ж во вред больным!

— Неужто мы хотим навредить? — обиженно говорили девушки. — Да разве всех запомнишь?

— А то нет? — еще сильнее удивлялась Милена. — На каждую из нас приходится всего по шесть-семь столиков, чего ж тут запоминать?

Девушкам сдало казаться, что Милена их обманывает, она знает какие-то секреты, но держит их про себя. Они пожаловались ее мужу Франтишеку, который каждый день приезжал за Миленой после работы на мотоцикле. Крупной кости, весь закованный в черную кожу, на тарахтящей, стреляющей голубым вонючим дымом «Яве», Франтишек производил грозное впечатление. Под кожаной курткой, чуть пониже грудобрюшной преграды, у Франтишека замечалось приметное утолщение, так называемое пивное брюхо, которое к старости становится что твоя бочка. Франтишек выпивал в будний день от пятнадцати до двадцати кружек светлого пива, по воскресеньям — до тридцати. Он был человеком порядка и уважал свои привычки. Он уже начал уважать и свое все растущее брюшко, хотя оно портило его статную фигуру да и работать мешало, Франтишек

трудился на руднике. Он уважал свою жизнь: рудник, товарищей, стадион, где он метал молот, свой дом и маленькую жену, зная, что многим она кажется невзрачной, ему не под пару. Это был простой, цельный, справедливый человек, с которым так приятно и надежно иметь дело в жизни и так скучно встречаться на страницах книг и экранах кино.

Когда официантка пожаловалась на Милену, Франтишек сильно огорчился, хотя и не подавал виду. «Разберемся!» — буркнул он коротко. Работяга, передовик, любимец товарищей, Франтишек полагал, что и у жены его безупречная репутация на работе. И вот: подружки ею недовольны, она выставлена!..

Вышла Миленка в черной вязаной кофте и черной короткой юбке. Перекинув через седло ногу, уселась позади мужа, крепко взяв его за куртку маленькими сильными руками. Мотоцикл рванулся с места, юбка задралась, высоко открыв смуглые ноги Милены с круглыми, гладкими, перламутрово отблескивающими коленями. На ветру отлетели со лба темные волосы, движение натянуло ей профиль, обозначив его чистой, тугой линией...

Выехав за городскую черту — их дом стоял на полпути между городом и рудником, — Франтишек остановил мотоцикл и повел с женой внушительный, хотя и спокойный разговор. Она ничего не могла ему объяснить. «Может, у тебя стаж больше?» — допытывался Франтишек. «Подумаешь, месяца на два!» — «Все-таки!.. Так поделись с ними опытом», — рассудительно говорил Франтишек. «Пробовала, что-то он не делится!» — «Девчата говорят, ты выставляешься», — Франтишек с трудом произнес оскорбительное слово. «Ей-богу, Франта, я не выставляюсь, работаю, и все... Может, просто чуть повнимательней», — добавляла она задумчиво, словно ей впервые пришлось на ум, почему, в самом деле, у нее получается лучше, чем у других. «Ты подумай о себе, — посоветовал Франтишек. — Ведь коллектив не бывает не прав». Высказав эту общую и бесспорную в своей банальности мысль, он решил, что выполнил долг главы

семьи, и они вновь понеслись в прохладный сумрак ущелья...

Конечно, разговор ничего не изменил ни в поведении Милены, ни в отношении к ней подруг. Не могла же она в угоду им ронять тарелки или подавать генералу с холециститом баранью отбивную, а певице с нарушенным жировым обменом — кнедлики. Франтишек понимал, что разговор оказался без толка, и молча страдал.

Но вскоре Милена почувствовала приближение материнства и, оставив столовую, перешла на легкую работу при колоннаде. Здесь, неподалеку от самого популярного «Мельничного» источника, находилось хранилище кружек, из которых больные пили целебную воду. Пронумерованные кружки стояли на полках, похожих на книжные стеллажи. Больной протягивал в окошко круглый жетон с номером и получал свою кружку. Выпив воды, возвращал кружку и получал назад жетон. Выдать, принять да еще ополоснуть кружки в часы полуденного затишья — вот и вся работа Милены. После тяжелого, утомительного труда в столовой это казалось игрой. Даже совестно было брать зарплату, почти равную той, какую получает официантка.

Теперь Франтишек пригонял своего бензинового конька к колоннаде. Ему здесь нравилось: гуляли красиво одетые, веселые и беспечные, несмотря на свои хвори, люди; было много девушек с двухцветными модными волосами, в коротких, выше колен, юбочках; по субботам и воскресеньям играла музыка, оркестр помещался в раковине под сводом колоннады, а дирижер — в окне дома напротив. Очередь возникала и таяла у продолговатого открытого окна, где мелькали смуглые руки Милены и полные, розовые, в веснушках руки ее напарницы. Другая очередь двумя ручейками стекалась к Мельничному источнику, девушки в белых косынках наполняли кружки из двух кранов. Франтишека радовал порядок, тихая благопристойность этого зрелища.

Он был жестоко огорчен, когда в один недобрый день услышал жалобы на Милену. Жаловалась на-

парница жены, а девушки из второй смены ее поддерживали.

— Уйми свою жену, Франтишек, чего она выставлется? Ордена ей все равно не дадут.

— Чего она набедокурила?

— Мы кружки по номеркам выдаем, а она глянет на клиента и сразу сует ему кружку.

— Нехорошо! — укорил жену Франтишек. — Ты же можешь спутать кружку.

— Да не путает она, чтоб ей пусто было! Пока мы с одним возимся, она пятерых обслужит. Конечно, нас все ругают!..

Франтишек оглядел бесконечные стеллажи, уставленные носатыми фарфоровыми кружками: сплошь белые и белые с рисунком, синие с золотом, желтые с орнаментом и красные с гербом города, большие и маленькие, плоские и пузатые, и ему стало как-то не по себе.

— Сколько их у вас? — спросил он.

— Тысяча четыреста шестьдесят две.

— Выходит, — странным, напряженным голосом обратился Франтишек к жене, — ты помнишь по номерам полторы тысячи кружек?

— Н-нет... — растерянное выражение появилось в темно-карих глазах Милены. — Я людей помню... Ну да!.. — обрадовалась она, видимо поняв про себя что-то. — Раз-другой выдашь кружку и уже помнишь: у этого синяя с ободочком, у того — белая с отбитым носиком...

— Но есть же одинаковые кружки!..

— Совсем одинаковых не бывает, а потом я помню, куда их ставлю. — Снова на лице ее мелькнула растерянность. — Да чего ты пристал ко мне? — рассердилась она. — Работаю как могу, никто не жалуется!

— Зато на них жалуются! — молочное лицо Франтишека пошло клюквенным румянцем. — Опять ты выставлешься!

И тут ему вспомнились малые странности, уже случавшиеся в их жизни, о которых он то ли забыл, то ли постарался забыть. Он разлюбил шашки и бро-

сил играть в карты, потому что неизменно проигрывал Милене во все игры. И когда только успела она научиться шашкам и покеру, кун-кену и бриджу? Просто смотрела, как он играет с товарищами. А потом в недобрый час он предложил ей сразиться и в два счета оказался на лопатках. Он пробовал отыграться, не тут-то было. С рассеянным, отсутствующим видом, то и дело отлучаясь в кухню по домашним нуждам, она обыгрывала его раз за разом. Доведенный до отчаяния, он стал жульничать. Она приходила с кухни и, ничего не замечая, выигрывала очередную партию. И сейчас Франтишек понял, что при странном устройстве своей головы Милена не могла не замечать его жульнических проделок, но не считалась с этим, уверенная, что все равно выиграет. Он был унижен. Ему захотелось вскочить на мотоцикл и умчаться навсегда. Но она ждала ребенка. Ответственность за будущую жизнь заставила Франтишека подавить чувство стыда. Он поступил наилучшим образом: добился у начальства жены, чтобы ее перевели к источнику; здесь уж, как ни выставляйся, кружка быстрее не наполнится.

Жизнь Франтишека и Милены вошла в берега. В положенный срок Милена ушла в отпуск и родила отличного сына, а Франтишек, не оставляя работы, поступил в вечернюю школу. Он хотел, чтоб у его сына отец был с высшим образованием! Имя Франтишека попало на страницы газеты: ведь это не просто, черт возьми, так крепко работать, метать молот дальше всех в области и еще учиться! Франтишек тихо блаженствовал. Он не посягал на владения Милены: никогда не лез, как другие мужчины, в кухню, не совал носа в холодильник или духовку, не вмешивался в хозяйственные распоряжения жены. Но он по праву считал себя главой семьи, кормильцем и поильцем, поскольку зарабатывал всегда много больше Милены, и хотел в семейном согласии выступать на полшага впереди. Так оно и бывало обычно, пока Милена не начинала выставляться. Но сейчас, похоже, с этим было покончено.

Лишь однажды на безмятежные небеса набежало

темное облачко. К этому времени Милена уже работала продавщицей в магазине «Тузекс», где торговля идет на валюту и бонны. Заехав вечером за женой, Франтишек услышал, как, обслуживая двух угольно-черных, баскетбольного роста, преувеличенно элегантных негритянских юношей, Милена лопочет на каком-то непонятном языке. Негры улыбались, обнажая белые зубы за толстыми чернильными губами. Франтишек, как и полагается жителю международного курорта, знал звучание многих языков, он сразу понял, что лепет Милены не имеет отношения ни к немецкому, ни к английскому, ни к одному из романских или славянских языков. Сомнений не было, Милена притворялась, будто болтает по-африкански, а негры смеялись над ней. У Франтишека налились кулаки. Пусть в груди у него билось сердце интернационалиста, пусть Милена сама виновата, не надо так глупо выставляться, никому не позволено смеяться над его женой. Он уже шагнул к прилавку, но тут один из негров что-то сказал Милене, она ответила с таким непринужденным, самоуверенным видом, что плюнуть захотелось, и вручила неграм большой пакет. Они благодарно поцеловали её руку своими толстыми чернильными губами и вышли.

— Что за тарабарщину ты несла? — спросил Франтишек.

— Никакая не «тарабарщина», это суахили, — спокойно пояснила Милена.

— Что-о?!.

— Суахили, язык черной Африки.

— Ты хочешь сказать, что владеешь суахили?

— Немного.

— Откуда ты знаешь язык? Вас что — обучают суахили?

И опять растерянное, почти жалкое выражение появилось в глазах Милены.

— Нет... Сюда часто заходят негры... видно, на слух...

— Ты, наверное, плохо говоришь, лучше тебе не срамиться, — посоветовал Франтишек.

Милена покорно наклонила голову.

Все же Франтишек решил посоветоваться с врачом насчет Милениных странностей. Врач успокоил его: природа в необъяснимой щедрости порой наделяет самого заурядного человека феноменальной бессознательной памятью, никак не соотносящейся с другими способностями...

Франтишек успокоился. Теперь он слегка подшучивал над курьезным свойством жены запоминать все без разбору. Он хорошо сдал экзамены за девятый класс, далеко метнул молот, и о нем снова написали в газетах. Словом, он уверенно шел в семейном согласии на полшага впереди...

Последний раз я виделся с Франтишекком нынешним летом в пивном зале «Орион». Я зашел туда тягостно жарким днем выпить лимонного сока и сразу наткнулся на него. Он раздобыл, и пивное брюхо его стало куда законченней по рисунку, а белое, молочное лицо застыло в безысходной мрачности. На столике перед ним стояла недопитая кружка и высилась горка картонных кружочков, Франтишек явно распространил воскресные обычаи на будние дни. Он, конечно, узнал меня, но не выразил даже той чисто вежливой радости, какая полагалась по нашему многолетнему знакомству. Разговор не клеился. Лишь когда я согласился выпить с ним пива — местное пиво считается полезным для желудочных больных, ибо варится на целебной воде шпруделя, — Франтишек чуть отмяк. Вскоре, увлекшись, я перешел ту норму, что считается полезной, и Франтишек вернул мне свое былое доверие. У него неблагополучно в семейной жизни, третьего дня он застал жену... за учебниками.

— Хорошо ли это?.. — бормотал он, окуная губы в пиво и не стирая с них пену. — Сидит себе и задачки решает, а?..

Я сказал, что не вижу тут ничего плохого.

— Вот и она так говорит, — нудил Франтишек. — Муж работает, молот кидает, в вечернюю школу ходит, смертельно устает... А для чего, а?.. Для семьи все, для семьи старается, бедняга, для жены и ребенка!.. Пойми, друг, я алгебру учу... А плюс

В... голова трещит, всякие сны снятся... Обо мне в газетах пишут... — он порылся в кармане спецовки и сунул мне смятую, захватанную газетную вырезку. — А она вон говорит, что от нечего делать задачки решала. Меня, мол, все нет и нет, а ей скучно!..

— Да что ж тут плохого, господи?! — вскричал я.

— Знаешь, какие она задачки решала? — понизил голос Франтишек и затравленно огляделся. — Она решала задачки на ин... — голос его споткнулся. — На инте... — спазма перехватила ему горло. Он потер его рукой, отпил из кружки, достал носовой платок и крепко высморкался. Затем, словно боясь, что ему опять прервет дыхание, выпалил: — На интегралы, чтоб я сдох!..

Я молчал. Да и чем можно помочь простому, дюжинному человеку, обреченному жить с гением?..

*Карловы Вары*

## ДЕТИ НЕ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ

О, как трудно застать кого-нибудь в Риме! Уже давно кончились летние каникулы и погас бархатный сезон на побережье, а древний город никак не соберет своих птенцов под крыло. Кому ни позвонишь: в Калабрии... в Падуе... где-то под Туринном... в Сицилии... Наконец, я наткнулся на молодых супругов-журналистов, с которыми подружился еще в Москве. Они назначили мне свидание в «Сапожке» — так называли мои друзья пивной бар близ Виа Корсо. Здесь пиво подают в стеклянных сапожках: большом и маленьком. Прелесть питья из стеклянного сапожка состоит в том, что пиво смачно, аппетитно булькает, возвращаясь после доброго глотка из голенища в головку. Над новичком принято было подшучивать: ему говорили, что сапожок следует держать носком от себя. В этом случае, когда сапожок отымался от губ, жидкость возвращалась в носок с таким мощ-



ным, звучным всплеском, что новичок вздрагивал и проливал пиво на брюки. Поскольку я уже уплатил дань первопосещения «Сапожка», мы перешли сразу к делу. Оказалось, сын Чечиони не просто обитает в горах, а скрывается там от мирского шума и суеты. Он нечто вроде отшельника, к тому же из секты молчунов. Чечиони-младший почти не раскрывает рта, он давно уже объявил, что никогда, ни под каким видом не будет высказываться об экспедициях, в которых участвовал отец.

Я так огорчился, что повернул сапожок носком вперед, и, звонко екнув, пиво рванулось из голенища на мраморную крышку стола, а оттуда мне на колени...

Мои друзья еще пережевывали неудачу с сыном легендарного механика, а я, весь в пене, как Афродита, возникающая из пучины морской, вытирался салфеткой, когда мимо нас, впритирку к столикам, вынесенным на тротуар, пропуская встречный грузовичок, прополз черный «мерседес». Он держал путь в сторону площади Венеции. Рядом с шофером, откинув прекрасную седую голову на спинку сиденья и прикрыв глаза, дремал мой любимый киноактер В. Красный сафьян обивки хорошо оттенял чистую седину густых, мягких, слегка волнистых волос, окрашивал румянцем приникшую к нему щеку, а другая щека удивляла своей неживой бледностью. И таким вдруг бедным, смертельно, безысходно-усталым показалось мне это прославленное, излюбленное миллионами поклонниц лицо!..

Лишь когда машина прошла, я каким-то обратным зрением обнаружил, что В. был в пижаме, в полосатой байковой пижаме на людной улице в центре города.

Я с недоумением посмотрел на моих друзей. Да, да, это действительно знаменитый актер В., подтвердили они, в байковой пижаме, среди бела дня, все правильно, у тебя нет галлюцинаций. И они поведали мне горестную, истинно итальянскую и отнюдь не редкую историю. Они говорили все вместе, взапуски, бесцеремонно перебивая друг друга, уснащая свой

рассказ многочисленными подробностями, подлинными и мнимыми, изобретенными тут же на месте, и все более пряными, броскими, по мере того как перед нами рос стеклянных сапожков ряд. Я передаю эту историю в очищенном, что ли, суммированном виде...

— Проснись! Ну, проснись же! — молодая женщина что есть силы колотит кулаками мужа по большой спящей спине.

Каждый день повторяется одно и то же: он так и не научился рано вставать. Сын пьемонтского крестьянина, он взял от своего успеха, славы, от всего завоеванного яростным усилием щедро одаренной натуры лишь одну выгоду: поздно вставать. Он говорил, что мальчиком всегда недосыпал. Добившись признания, он стал выдвигать продюсерам неременное условие: никаких ранних съемок.

Молодая женщина с нежностью и состраданием смотрит на спящего человека. Он нечеловечески много работает: снимается, ставит пьесы в театре, ведет детскую телевизионную передачу, заседает в различных комитетах и все время против чего-то протестует. Он заслужил эту малую награду — спокойный, долгий утренний сон до пробуждения, которое придет само, возникнет в нем как радостное возвращение к яви, к желанному напряжению дневной жизни. Но ничего не поделаешь, надо будить. Она молотит его по спине, крепкой, загорелой, присыпанной темными веснушками в стыке с шеей, трясет его за плечо, звучно бьет открытой ладонью, но все тщетно, и она начинает щипаться. Она защемляет его кожу кончиками узких пальцев и делает короткое ввинчивающее движение. Боль проникает в бездонную глубину его сна. Вначале он лишь вздрагивает постанывает, потом начинает ругаться. Вежливый каждым волокном своего мягкого, деликатного существа, он ругается как матрос. Он скрежещет зубами: «Дрянь!.. Мразь!.. Шлюха!..»

Но это еще не пробуждение, он может в любой миг юркнуть назад в сон, и она продолжает свою жестокую экзекуцию. «Проклятая тварь! Дерьмо!..»

В нем кричит не боль, а мучительное желание сохранить сон, но она знает, что в какое-то мгновение он проснется, услышит себя и будет жестоко казниться своей грубостью. Но она должна быть непреклонной. Воспитанный в строжайших правилах домостроя, он не простит ей своего опоздания, до последнего дня не простит, если откроется столь долго и тщательно хранимая тайна...

На этот раз он выдерживает даже щипки и лишь стакан ледяной воды, вылитый на согревшееся во сне тело, заставляет его вскочить. Мольба о прощении выливается из последнего сердито-беспомощного ругательства.

Едва взглянув на часы, он понял, что опаздывает. Нечего и думать о том, чтобы сделать гимнастику, принять душ, он даже одеться не успеет. И, чувствуя несвежесть рта, вялость суставов и мышц, влажное, слабое, вяжущее ночное тепло в непроснувшемся теле, он, как был, в пижаме, устремился к двери. Он сбежал по лестнице, мимо удивленного швейцара выскочил на улицу, тихую, пустынную, накрытую густой тенью буков, и упал на сафьяновое сиденье машины. Задохнувшись от бега, он лишь молча махнул рукой шоферу: гони!.. Да тот и сам понимал, что времени в обрез, и рванул с места, словно сидел за рулем гоночной машины, а не добропорядочного «мерседеса».

Привычно мелькали улицы, «мерседес» с ходу врзался в толпу пешеходов на мостовой, но, как и обычно, все оборачивалось лишь чьим-то испуганным вскриком, проклятьем, шорохом одежды и шелком пуговиц по лакированному борту, и впереди возникал просвет, и машина алчно пожирала его, чтобы вновь, на перекрестке, ворваться в мельтешащее человечье месиво. Промелькнула, как всегда оскорбив зрение, гигантская белая пишущая машинка — огромный, до слез нелепый и неуместный в Риме памятник королю Виктору-Эммануилу, и вот уже они на виа Кавура, и «мерседес», взрыдав тормозами, прочно стал у знакомого подъезда с кариатидами.

Он вихрем взлетел по лестнице, отпер своим ста-

рым ключом входную дверь, в два скачка перемахнул прихожую, ворвался в спальню и юркнул в постель под бок темноволосой, черноглазой женщине. Анна накинулась на него с упреками: неужели нельзя приходить хоть на десять минут раньше? Она вконец изолгалась, чтобы скрыть его отсутствие. Он не успел ответить, дверь распахнулась, и стройное, смуглое, длинноногое, неуклюже-грациозное, застенчивое и ликующее чудо кинулось к нему с криком: «Сонная тетеря!.. Сонная тетеря!»

Как мило и странно слились в ней строгая черная красота матери и его губастая светлоглазая мягкость! Еще щенок, увалень, скорее мальчик, чем девочка, она уже несла в себе тайну женского очарования, до сих пор не погасшего в ее матери. Преисполненный благодарности к Анне, сотворившей это прелестное, радостное существо, он поцеловал ее в плечо. И, смутившись, тут же попросил прощения у своей бывшей, но навсегда единственно законной жены. Она ласково, понимающе улыбнулась ему...

А потом был веселый завтрак втроем и рассказы дочери о школе — она талантливо копировала учителей, а он показывал, как читал бы стихотворение о козленке поэт-битник, сонный монах, крестьянин с флюсом и солдат-новобранец из глубокой провинции. Спать ему уже не хотелось, он от души наслаждался вкусным кофе и гренками, легким смехом дочери, всей милой, заурядной добропорядочностью семейного ритуала и не мог понять, почему Анна все время толкает его ногой под столом. И так же не мог понять, почему девочку поспешно, не обращая внимания на ее протестующие вопли, извлекли из-за стола и отправили в школу, хотя по болезни учителя занятия в этот день начинались на полтора часа позже.

Едва за дочерью захлопнулась дверь, Анна принялась кричать:

— Ты совсем отупел!.. Я отбила пальцы о твою костлявую ногу!..

— О чем ты?..

— Ты безбожно опаздываешь!.. Хочешь, чтоб Лиззи устроила мне скандал?..

— Да... да... — пробормотал он благодарно и смущенно и уже через минуту мчался домой на виа Корсо.

Им не везло со светофорами, и, когда он ворвался в спальню, глаза у Лиззи были большими, черными, блестящими от ярости.

— Черт знает что!.. Неужели Анна не могла прогнать тебя раньше?

— Я сам виноват, заговорился с дочерью, — смиренно ответил он, вытягиваясь под одеялом и погружаясь в привычную стихию запахов, прикосновений и тепла.

И сразу распахнулась дверь, и на руках няньки вплыла в чем-то красном, воздушном, кружевном его маленькая дочь и, рванувшись из мускулистых, загорелых рук красавицы сицилианки, с самозабвенным смехом нырнула в постель между отцом и матерью, словно между двумя рифами. Малышке было всего два с половиной года, но она уже все понимала, и попробуй отец не оказаться на положенном месте!..

— Мы видели его на перегоне от нынешней семьи к бывшей, — так закончился коллективный рассказ, — и он по обыкновению опаздывал...

— Что ж, — сказал я бывалым тоном практического мудреца, — это обременительно, но все же не смертельно.

Конечно, согласились друзья. Смертельно другое. Измученный этой двойной жизнью и вечными недосыпами, спешкой и риском в какой-то миг слабости разрушить хрупкое здание из лжи, любви и ханжеской благопристойности, он выплакался на груди милой, скромной статисточки, снимавшейся в массовке. Она напомнила ему пьемонтских подруг его юности: та же свежесть, чистота, запах скошенного луга и парного молока. Сейчас она ждет ребенка и ко всему еще обитает в предместье Рима...

*Рим*

Стендаль утверждал, что Рим можно осматривать двумя способами: «1) можно изучать все, что есть интересного в одном квартале, и затем переходить к другому; 2) или же каждое утро искать тот род красоты, к которому чувствуешь влечение, вставая поутру». Я нашел третий способ ознакомления с Вечным городом, недоступный Стендалю. Я ориентировался по большим желтым стрелам с надписью: «Унико». По какому-то странному заблуждению ума я отождествлял слово «унико» со словом «антико», причем сыграло роль не только созвучие этих слов, но и то понятие «уникальный», которое я вычитал в слове «унико», отсюда рукой подать до «особой ценности», а что может быть ценнее античных развалин? Я шел по стрелам, перебегая с опасностью для жизни улицы и площади, пронизанные ужасающим по быстроте и хаотичности, каким-то «клиническим» движением автомобилей, и выходил то к Колизею, то к термам Каракаллы, то к арке Траяна, то к Форуму, то к останкам жилья древних римлян, где еще велись раскопки.

Меня немного сбивало с толку, что частенько эти стрелы приводили меня не к античным развалинам, а к дворцам и соборам эпохи Ренессанса. Так я оказался у Санта-Мария Маджоре и у палаццо Фарнезе, так я набрел на Моисея в глубине сумрачного храма Сан-Пьетро ин Винколи. Лишь когда в Риме проездом из Испании, где он читал лекции в Мадридском университете, оказался литературовед Николай Т., «профессоре Колиа», как называли его итальянские друзья, мне открылось, что желтые толстые стрелы служат указателями не памятников старины, а одностороннего движения.

Профессоре Колиа много смеялся по этому поводу, а я думал: «Смейся на здоровье, а все-таки эти стрелы помогли мне узнать Рим».

До его приезда я был очень одинок в Риме. Еще не кончились каникулы, и все мои немногочисленные

знакомые литераторы не вернулись с морского побережья или из путешествий; кинематографисты находились в Венеции на фестивале, а единственный человек, подаривший меня ощущением того радостного доверия, что предшествует дружбе, бывший радист дирижабля «Италия» Джузеппе Биаджи умирал от рака в военном госпитале. За все пребывание здесь я лишь дважды прикоснулся к домашней жизни римлян: в первый раз я побывал в семье умирающего Биаджи, в беднейшем квартале Рима, сплошь завешенном бельем на просушку, другой раз — в доме бывшего капитана флагмана русского флота «Андрея Первозванного» близ виллы Боргезе. Хозяйка дома, нежно-хрупкого от лет и недугов, утонченно-вежливого старца, я сразу узнал по фильму «Сладкая жизнь», где он играл официанта. Снимался бывший командир прославленного корабля и в грустной комедии про ослика, премированной на фестивале, но так и не увидевшей света, ибо прокатчики не поверили в коммерческий успех фильма. В семью капитана-артиста я попал по приглашению его жены, учительницы русского языка, активной деятельницы Общества итало-советской дружбы. Но, конечно, пребывание в этом доме, где звучала старинная, сладкая бунинская речь и подавались сибирские пельмени с горошиной на счастье, не могло особенно приблизить меня к познанию итальянского быта и нравов. Да, чуть не забыл, еще был краткий, деловой визит к режиссеру Антониони, творцу «Затмения» и «Красной пустыни». Наша встреча состоялась в его огромной новой квартире, увешанной ультрасовременными полотнами известных и неизвестных, но остро одаренных итальянских художников. Перешагнув порог жилья Антониони, я не перешагнул порога его души — предмет разговора не занимал Антониони, он ограничивался минимальным количеством слов, даже не притронулся к виски, был скучен и уныл, как похилившийся крест на заброшенном сельском кладбище. Лишь раз он взорвался, да так, что мне привиделся грозный атомный гриб, когда я сказал, что у меня есть подлинники Татлина. Этот та-

лантливейший художник, почитаемый всюду, только не на родине, поразил, потряс Антониони во время его пребывания в Москве на кинофестивале. «Я завтра же лечу в Москву!» — вскричал он, и его лицо, будто скрывавшееся в тени, вспыхнуло от внутреннего света: худое, нервное, опаленное лицо, и я понял, что медленные, малодейственные, горькие до отчаяния фильмы Антониони рождаются из таких вот реактивных вспышек, а не из кладбищенской тишины.

Профессоре Колиа, глубокий знаток романских языков и литературы, блестящий лектор, жизнелюб и бражник, сказал, что берется искупить вину Италии передо мной: он покажет мне Рим и римлян по-своему, даст мне увидеть лицо и изнанку здешней жизни, понюхать быт и насвежо воспринять все культурные ценности. Мне казалось, что для осуществления такой программы необходимы месяцы, а не оставшиеся мне немногие дни, но профессоре лишь усмехнулся с выражением самодовольного превосходства.

Для начала он повел меня в музей восковых фигур, приткнувшийся под боком терм Диоклетиана. «Я знаю, что делаю», — сказал он в ответ на мои робкие сомнения в справедливости такого выбора.

Этот воскресный день выдался на редкость синим, солнечным, но не жарким, все время налетал освежающий морской ветерок, и дышалось легко. Ветерок задирает короткие юбки проституток, лакомившихся арбузами возле летнего кафе на площади Республики. Большие куски красного, сочного арбуза с черными, как тараканы, косточками им приходилось держать двумя руками, что мешало одергивать юбки; они предоставляли ветру высоко открывать их загорелые ноги, платя дань приличию холодно-испуганными вскриками притворного смущения. Их час еще не пришел, и, обходясь без профессиональных взглядов, улыбок, жестов, они напоминали школьниц-лакомок на большой перемене.

— Я вижу по твоему живому и глубокому взгляду



ду, что теперь ты с легкой душой напишешь неизбежную для всех путевых очерков банальность: «больше всего в Риме мне понравились люди», — заметил профессор...

Маленькое, из трех клетушек, тесное, убогое помещение, набитое безобразными восковыми манекенами, не было сопричастно колдовству и тайне, сопутствующим в нашем воображении дерзостному, почти кощунственному скопищу человеческих чучел. Музей восковых фигур дарит посетителей близостью к великим и грозным мира сего, возможностью глядеть в глаза тем, перед кем все потупляли взор, разглядывать порой с усмешкой черты, повергавшие в трепет народы... Но все эти сложные и волнующие переживания не имеют никакого отношения к римскому восковому заведению. Если верить экспозиции под боком Диоклетиановых терм, то все великие люди страдали водянкой, их отличала диспропорция между огромной, котлообразной головой и тщедушным, полудетским тельцем. Говорят: всё в мире на что-нибудь похоже; всё, кроме здешних восковых фигур, они ни на что не похожи и меньше всего на тех, кого должны изображать.

Когда мы выбрались на свежий воздух, я спросил профессора, зачем он повел меня в это убогое место.

— Для точки отсчета, — хладнокровно пояснил он. — Всё, что ты теперь увидишь или видел раньше в Риме, пойдет со знаком плюс. Самый безрадостный, сухой и традиционный из примитивов покажется полным жизни и огня. Самый нелепый из модернистов — талантливым и самобытным, даже гигантский «Ундервуд», памятник Виктору-Эммануилу, оскверняющий прекрасную площадь Венеции, предстанет облагороженным, почти величественным. Все люди, даже подонки, заиграют красотой человека, все неудачи и разочарования покажутся терпимыми. В сравнении с этим хамьим бесстыдством всё прекрасно и ценно в мире...

К собору св. Петра мы успели как раз в тот момент, когда у ворот Ватикана происходила смена

караула. Конечно, нам помог случай, но профессоре напускал на себя столь смиренно-лукавый вид, что можно было подумать: он специально так подгадал — минута в минуту. Необыкновенно стройные, матово-смуглые юноши в красивой, нежнейших тонов старинной одежде и больших, с грациозной лихостью заломленных беретах, упорно не попадая в ногу, сделали несложный маневр.

— Надо же! — сказал профессор. — Два столетия назад путешественников удивляло неумение папской гвардии шагать в ногу. Можно подумать, что строю их обучают прелаты, а не офицеры. Зато как красивы!.. Ведь их одел Микеланджело. Вот что значит прикосновение гения! В отличие от Рафаэля он был совершенно равнодушен к земным благам: пище, вину, одежде. Всю жизнь ходил чуть не в рубище. Но папа поручил ему одеть дворцовую стражу, и Микеланджело оказался феноменальным модельером. Надо время от времени запускать гения в быт, как кошку в амбар. Жизнь станет неизмеримо красивее...

Когда мы пришли на площадь, охваченную двумя клешнями колоннады Бернини, меня охватило знакомое томительное чувство. Сейчас профессоре обязательно скажет что-нибудь про купол св. Петра. Этот купол, созданный Микеланджело, был главным чудом среди чудес величайшего и совершеннейшего из всех христианских храмов. С детства была мне знакома долгая, трудная история строительства собора, начатого Браманте, продолженного Микеланджело, Сан-Галло, Рафаэлем... Самые волнующие страницы этой летописи — создание купола, который должен был превзойти красотой и величием знаменитый купол Флорентийского собора, созданный Брунеллеско и казавшийся современникам пределом совершенства. Решил эту задачу, конечно, Микеланджело, для него не существовало неразрешимых задач. Он создал купол, которому не было и нет равных на земле. Не счесть, сколько изображений этого купола довелось мне видеть: на рисунках, литографиях, офортах, фотоснимках. Не говоря уже о том, что его умален-

ным подобием я много раз наслаждался, любуясь куполом Казанского собора. Но каково же было мое остолбенение, когда, подъехав впервые к собору и выйдя из машины, я никакого купола не обнаружил! Фасад с портиком и всем, что полагается, вздымался ввысь и, плоско обрезанный сверху, являл вид какого-нибудь римского палаццо. А купола, величайшего, прекраснейшего, неповторимого, в помине не было. Без него же исполинский храм казался не храмом вовсе, а светской постройкой. Я ничего не понимал, сердце сжалось ужасом: уж не сошел ли я с ума?.. Тут еще мой спутник режиссер К. возьми да и скажи.

— Грандиозно?.. А купол?..

И я с малодушием андерсеновской толпы, восхищавшейся новым платьем короля, голого, как Адам до грехопадения, пробормотал:

— Да, поразительно!..

Конечно, потом я десятки раз видел купол, надеявшийся храм привычными очертаниями, но всегда издали, а чаще всего еще и сверху, например из парка советской колонии. Я пытался уговорить себя, что так и надо, но меня не оставляло смутное ощущение художественной несправедливости. Потревожить кого-либо своими сомнениями я не решался из боязни показаться смешным. Но вот час настал — профессоре сам вызвался открывать мне тайны Рима.

— А купол где? — спросил я грубо.

— Как где? — не понял профессоре.

— Купола-то нету! — нажимал я, словно он был виноват в исчезновении купола.

Профессоре озадачился, смутился, и стало ясно, что он не замечал отсутствия купола, бессознательно населяя им верх здания.

Он протер очки, задрал голову и уставился вверх с таким видом, будто требовал у кого-то незримого немедленно вернуть главу храма.

— Надо же! — произнес он с горечью. — Святой Петр без купола! Это так же невероятно, как неполноценность Париса, правдолюбие Мюнхгаузена или смирение протопопа Аввакума... Недаром же я где-

то читал, что преемники Микеланджело, отступив от его плана, испортили собор по фасаду. До чего же предвзято человеческое зрение! Я мог бы до потери сознания спорить, что купол виден во всей красе от колоннады Бернини.

— Прими это открытие в благодарность за музей восковых фигур.

— Ладно, ладно, — проворчал профессор, — еще не вечер. Пошли!..

Когда мы подымались по ступеням храма в толпе туристов, студентов, крестьян и монахов, он спросил:

— Ты, конечно, уже был в Сикстинской капелле?

— Несколькo раз.

— Фрески Боттичелли видел?

Я замялся.

— Видеть-то видел, но не вглядывался.

— Понятно. Это происходит почти со всеми... первые сто раз, — Микеланджело так захватывает, что на остальное не хватает душевных сил. Если не ошибаюсь, ты с юных лет поклоняешься Одетте Сван в девичестве де Кресси? Когда приезжал Карло Леви, ты так долго распространялся о своей влюбленности, что все заснули за столом.

Это правда. С того июньского жаркого дня, когда на песчаном волжском островке под Ярославлем я впервые раскрыл маленький томик издания Академии, случайно обнаруженный мною на книжной полке наших дачных хозяев, вошла в мою жизнь едва ли не сильнейшая влюбленность. На серо-голубом переплете было изображение молодого женского лица: «закатившиеся за приспущенные веки блестящие глаза ее, большие и тонко очерченные, как глаза боттичеллиевых флорентиянок, казалось, готовы были оторваться и упасть, словно две крупные слезы».

На страницу села бабочка с оранжевыми, в мраморных прожилках крылышками; она медленно, чуть оскальзываясь, ползла по глянцевому листу вместе со своей изящной тенью, то слепляя крылышки и становясь сухим листочком, то распластывая их в доверчивой гордости своей нарядной красотой. Порой она

закрывала текст, но я не прогонял ее, терпеливо ожидая, пока она сама покинет меня, а потом я стал фантазировать, что это душа Одетты де Кресси, и мне стало нежно и радостно, что-то новое, неведомое, хотя и смутно ожидаемое творилось со мной. Сухо шелестел обгоревшими на солнце листочками колючий куст с темно-красными, будто полированными ветками, шевелился песок, натекая меж страниц книги, вдаль, на высоком берегу, за темными деревьями проблескивали меловой белизной стены каких-то зданий: то ли дворцов, то ли храмов, бездонное синее небо опрокидывалось в изморщиненную ветром гладь реки, и как же сладко мечталось мне над страницами книги в мои неполные семнадцать лет! С тех пор я много раз отправлялся в сторону Свана, но уже не было той до боли сладкой печали, пережитой на волжском островке под сухим колючим кустом, когда во мне впервые проснулось сердце.

— Одетта казалась Свану копией Сепфоры, дочери Иофора, — толкался в ухо голос профессора, и мне впервые подумалось, что он не вовсе чужд легкого научного педантизма. — Ты можешь ее увидеть на фреске Боттичелли «Жизнь Моисея», она расположена довольно высоко и плохо освещена, вот бинокль. — Он протянул мне маленький, но, как я потом убедился, довольно сильный бинокль. — Помнишь, что погубило славного философа Хому Брута? Он не послушался тайного голоса и взглянул на Вия, тут ему и пришел конец. Микеланджело пострашнее Вия. Может быть, ты закроешь глаза, и я проведу тебя к фреске, как слепца? Ты уставишься на дочь Иофора, и все будет в порядке.

Я отклонил это любезное предложение и вошел в капеллу без повода, слегка потупив голову. Одолев искушение, стойшее жизни не только Хоме Бруту, но и жене Лота, приложил бинокль к глазам и в ошеломляющей близости увидел длинные пряди незаплетенных волос, усталый наклон головы и большие, хмурые глаза, готовые «оторваться и упасть, словно две крупные слезы». И тут во мне кто-то чужой, а быть может, я сам прежний, не до конца ис-

тратившийся в обветшалой оболочке, вдруг коротко и странно взрыднул...

Этого человека я заметил еще в галерее Дориа, куда мы пришли после Ватикана и виллы Боргезе. У нас с профессоре возник спор по поводу портрета молодой женщины в красном, приписываемого Леонардо да Винчи. Портрет этот, заключенный в массивную золоченую раму, в одиночестве висел посреди обширной стены, не терпя возле себя никакого соседства. Подобная честь была оказана лишь знаменитому портрету папы Иннокентия X. Но это произведение кисти Веласкеса спокон века почиталось главным сокровищем галереи Дориа, а вот о портрете Леонардо я не встречал упоминания ни у Стендаля, ни у других авторов. А в каталоге галереи имя Леонардо стояло без знака вопроса, как это принято в тех случаях, когда авторство того или иного мастера подвергается сомнению. Вопреки очевидности я отказывался верить, что этот сухой, жесткий, грубо завершённый по живописи портрет принадлежит Леонардо. Где поэтичность, лунность, благородное изящество и мягкость творца Джоконды и святой Анны, где Леонардова улыбка? Не помню возражений профессоре, да это уже и неважно — он вскоре покинет мой рассказ, а его место займет бродяга, обнаруживший себя впервые во время нашего спора и вновь оказавшийся возле нас, когда мы вышли на улицу. К этому времени я отчетливо чувствовал, что профессоре стремительно скисает. Это трудно было объяснить физической усталостью: худой, мускулистый, двужильный профессоре был куда выносливее меня. Но, может быть, он утомился душевно?

Бродяга что-то сказал по-итальянски, и на рассеянно-утомленном лице моего друга перемежающимися зарницами вспыхнули заинтересованность, надежда, сомнение и вновь надежда.

— Он предлагает за стакан вина открыть великую тайну: чему же в конце концов улыбалась Джоконда! — сказал со смехом профессоре. — Как ты к этому относишься?

Я пожал плечами.

— А ведь, пожалуй, его предложение соответствует нашей программе ознакомления с Римом. Во-первых, тут налицо тайна; во-вторых, тебе необходимо пообщаться с представителем улицы. Ступайте в трактир, я к вам через часок присоединюсь.

— Ты уходишь?

После краткого колебания он ответил честно:

— Только сегодня я понял, как мучительно быть гидом. Впрочем, у них, наверное, вырабатывается профессиональный иммунитет. Но для любителя это смертельно. Знаешь, до Ватикана я еще держался, но потом почувствовал, что начисто теряю способность радоваться искусству, городу, самой жизни. Необходимость показывать и объяснять убивает восприятие. Я как будто навеки терял Рим. Когда я разглагольствовал в парке Боргезе, сколько деревьев погибло во время зимних заморозков, я с ужасом обнаружил, что любимый парк потерял для меня всякую прелесть, то же произошло и возле любимых моих картин. Я стал нищим. Этот добрый человек послан мне небом. Пока он будет пороть свою ахинею, я прикоснусь к чему-то живому, теплomu, не требующему пояснений и вновь обрету способность видеть, радоваться, жить. И еще запасусь выносливостью, которой мне хватит для Капитолия, Форума, Аппиевой дороги.

— Но как же я буду с ним общаться?

— Я говорю по-русски, — очень чисто произнес бродяга.

Узкое, серповидное лицо его с темно-обрякшими, будто заплаканными, глазами и небольшими, аккуратными усиками, повторяющими изгиб верхней губы, его подбористая зяблая фигурка казались мне почти родственно знакомыми. Узкий пиджачок, обтрепанные понизу брюки, ветхое кашне, небрежно обмотанное вокруг дряблой шеи, фетровая шляпа с засаленной лентой, манера поеживаться и горбить плечи, словно его пронизывал озноб, все эти подробности одежды и поведения были явно рассчитаны на то, чтобы подчеркнуть его похожесть на кого-то, не дать окружаю-

щим удовольствоваться смутной полудогадкой. И тут меня осенило: он утрировал свое природное сходство со знаменитым комиком Тото. Возможно, он находил в этом развлечение, а скорее всего выгоду. Так нужно для его малого промысла среди иностранцев: близость к знакомому и привлекательному образу повышает его достоверность, располагает к доверию.

Мы вошли в тратторию.

Это была обычная дешевая харчевня, тесно уставленная столиками под бумажными скатертями; между входной дверью и баром торжественно высилась ваза с фруктами: сочные персики, прозрачный виноград, неправдоподобно громадные апельсины. Мы прошли на террасу, увитую диким виноградом, между пожухлых лоз виднелся грязноватый, захламленный дворик, там пили пиво за маленькими непокрытыми столиками люди в комбинезонах.

Подошел официант в белом, засаленном на животе кителе; над карманом с торчащей шариковой ручкой алело, словно орден, большое винное пятно. Он вынул ручку, под колпачком в прозрачной жидкости плавала русалка с большими грудями и зеленым хвостом.

— Спагетти?.. Сыр?.. — обратился я к бродяге.

— Только кианти, — сказал он нетерпеливо и что-то добавил по-итальянски.

Официант наклонил голову с белым, широким, припорошенным перхотью пробором в черных грубых волосах, сунул ручку в карман, отчего русалка опрокинулась кверху хвостом, и нырком удалился от нашего столика.

— Вы очень хорошо говорите по-русски, — сказал я.

— Нет, прононс хороший, а слов мало. Мой русский — почти пустой бокал.

— Странно...

— У меня такой талант. Я схватываю прононс. Музыкальное ухо. У меня отличный русский прононс, а также эфиопский, сербский и, конечно, французский, английский.



— Вы изучали все эти языки?

— Что вы!.. Откуда римские солдаты знали греческий, арабский, галльский? Они не учились, они завоевывали чужие страны и получали новый язык в придачу.

— Я что-то не припомню за последние десятилетия победоносных итальянских войн.

— Нас отовсюду выгнали. Но я был в Абиссинии, в Югославии и в вашем Донбассе. Скажу честно: у меня не было другой добычи, кроме проноса, ну, и немногих слов. Вы не сердитесь, что я присвоил ваши слова?

— Нисколько.

— Мне кажется, это вас раздражает. Давайте перейдем на английский. Вы согласны? Прекрасно! — он заговорил по-английски. — Этот язык достался мне, когда из вечного, хотя и незадачливого, оккупанта я превратился в оккупированного. Кстати, это куда приятнее...

— Почему вы все время воевали?

Официант поставил перед нами двухлитровый кувшин с красным вином и два глиняных стакана. Бродяга взял кувшин одной рукой за толстое горло, другой — под днище и, проливая — так дрожали у него руки, — наполнил стаканы. Только теперь увидел я, насколько он разрушен. Он поднес стакан к губам, вино плескалось, словно в стакане разыгралась буря, прицелился и встречным движением — головы к стакану — поймал жидкость ртом, совсем немного пролив на подбородок и рубашку.

— Я был еще студентом и что-то ляпнул в компании. На меня донесли, я оказался за решеткой. Тогда с этим было просто. Узник из меня явно не получался, я страдал боязнью замкнутого пространства. Как раз в это время обнаружилось, что Муссолини не Помпей Великий, мы безнадежно завязли в Абиссинии. При некоторых связях, которые у меня имелись, можно было обменять камеру на просторы пустыни. После нашей позорной победы я служил в Аддис-Абебе, потом вернулся в Рим. Но я уже стал незаменим как воин: чуть что, меня немедленно призы-

вали под знамена. Я человек нежный, люблю искусство, книги, ненавижу барабан, трубу, шагистику, выстрелы и особенно лай команды. Мне стало скучно, я начал пить и опустился. Потом мировая война. Я мечтал о плене, но брали всех, кроме меня. Я вернулся домой ни на что не годным и, как ни странно, старым. Меня это потрясло. Всю жизнь я был недоучившимся студентом, и вот без молодости, созревания и зрелости сразу стал стариком. — Он вдруг схватил кувшин за ручку и рывком наклонил над стаканом. Выпив, он спокойно налил из полегчавшего кувшина в оба стакана. — Придется раскошелиться еще на кувшин, — сказал он, — вы получаете две истории вместо одной.

— Согласен. Но пока что я выслушал лишь вашу историю, да и то не до конца.

— До конца. Все остальное здесь, — он щелкнул ногтем по стакану. — В «кубке забвения Рипа ван Винкля», если вы помните Вашингтона Ирвинга.

— Неужели это слабенькое вино дает забвение?

— Еще как!..

— Сколько же его надо?..

— С каждым годом все меньше. Но, к сожалению, еще порядочно. Беда в том, что алкоголь не действует на меня усыпляюще. Завидую иным пьяницам: выпил два больших коньяка или литр кианти и дрыхнет чуть не целые сутки.

Подошел официант с новым кувшином. Я и не заметил, когда бродяга успел подать ему знак. Официант разлил оставшееся у нас вино по стаканам, промокнул грязной тряпкой бумажную скатерть, вздохнул, как всегда вздыхают итальянские официанты, когда им приходится делать это лишнее, по их мнению, движение, и унес пустой кувшин.

— Знаете, я вовсе не преувеличиваю своей бедой, — почти горделиво сказал бродяга, теперь он уже не опорожнял стакан духом, а тянул вино маленькими глотками. — И так слишком много народа занимается искусством. Ну, было бы на одного пустомелю больше. Хороший пьяница полезнее для общества, чем любой искусствовед. Он поддерживает ви-

ноделие и торговлю — два древнейших и почтеннейших занятия на земле, он не переводит бумагу, не вклинивается между художником и публикой, не задуряет слабым людям мозги, он безвреден. То, чем я с вами поделюсь, отнюдь не искусствоведение, а догадка, прозрение, называйте как хотите, умозаключение точное, как в быту. Когда вы долго подглядываете за своими соседями, вы начинаете что-то понимать в их жизни... Я долго подглядывал за Леонардо да Винчи, что-то в нем меня не устраивало. Вы что-нибудь читали о Леонардо?

— Читал, и довольно много.

— Вазари, конечно, читали?

— Да.

— Он бывает иногда точен. Помните, как он описывает сеанс с Джокондой? «...Так как мадонна Лиза была очень красива, то во время писания портрета он держал людей, которые играли на лире или пели, и тут постоянны были шуты, поддерживающие в ней веселость и умалявшие меланхолию, которую обычно сообщает живопись выполняемым портретам. У Леонардо же в этом произведении улыбка дана столь приятной, что кажется, будто ты созерцаешь скорее божественное, нежели человеческое существо...» Теперь немного доверия и воображения. Вы, конечно, были в Ватикане и видели станцы Рафаэля. И вам, полагаю, известно, что Платону на фреске «Афинская школа» он придал черты Леонардо да Винчи? Поистине «дивным и божественным», как говорил Вазари, был Леонардо, сын Пьетро из Винчи. В ту пору творцы прекрасного были сильны, как молотобойцы или портовые грузчики. Я не говорю о громиле Бенвенуто, но изнеженный Рафаэль был сильным, выносливым и поразительно трудоспособным человеком. Силен как бык был маленький, сутулый, жильный Микеланджело. Но сильнее всех был Леонардо. О его мощи ходили легенды. Он гнул подковы, ломал в пальцах дублоны, забавы ради завязывал узлом кочергу. Он был воплощением величавой мужественности, первый во всем: в творчестве, образованности, всеохватности дарований, доброте,

царственном обаянии, и монна Лиза влюбилась в него, да и не могла не влюбиться. Она была женщиной нежной, загаенной и страстной, а мессир, ее муж, одним из скучнейших флорентийских обывателей. Она являлась в дом Леонардо, он шел ей навстречу в длинной одежде, отороченной мехом, на груди золотая цепь. Он кланялся ей низко и чуть растерянно, приветствуя чудо человека, заключенное в ней, и вел в мастерскую. То и дело перед Джокондой склонялись в глубоком поклоне красивые молодые люди в бархатных беретах. Это были художники из свиты Леонардо, которых современники непочтительно прозвали «леонардесками». Можно учиться у Рафаэля, подражать ему и все же быть Джулио Романо, можно благоговеть перед Микеланджело и стать Челлини, но нельзя было безнаказанно подражать Леонардо, как впоследствии Рембрандту, губительное, словно кислота, обаяние учителя съедало ученика. Эти красивые, немного женственные и вовсе не лишённые дара молодые люди оказались в вечном расслабляющем плену Леонардовой улыбки, Леонардовых лунных слов. Лишь один из учеников, не принадлежавший, правда, к Леонардовому подворью, отмеченный современниками многозначительным прозвищем Содома, встал вровень с большими мастерами Ренессанса. Леонардо говорил молодым людям какие-то ласковые слова, называя их: «Джованни, Марко, Андреа, Цезаре», — и молодые люди, напоминавшие послушников, смущаясь под внимательным и чуть насмешливым взглядом монны Лизы, исчезали.

Они переступали порог мастерской, и Леонардо говорил:

— Вы опять печальны, мадонна?

Он делал знак рукой, и скрытые за ширмой музыканты начинали играть, легкая, радостная, чуть жеманная мелодия касалась слуха Джоконды. Она смотрела на художника, сверхчеловека, божественного Леонардо, и на губах ее начинала зарождаться улыбка. Этот могучий ум, опередивший на сотни лет свое время, этот высокий дух, вместивший в себя все мироздание, не мог постигнуть простого и близкого

явления женщины, находящейся перед ним. Улыбка Джоконды начиналась легким подрагиванием в уголках губ, и ей легче было стать плачем. Леонардо не ведал своей сути, своего рода, он был девственником в окружении девственников, идеально влюбленных в учителя.

Монна Лиза занимала свое обычное место, складывала руки покорным жестом. Леонардо в задумчивости брал золотой — деньги, которых ему вечно не хватало, валялись где попало, — и коротким движением сгибал пополам, словно лепесток розы, пальцы у него были длинные, тонкие, едва ли не тоньше, чем у монны Лизы, с миндалевидными ногтями.

— Вы несчастливы, мадонна? — говорил он с прощательно наивным видом и хлопал в ладоши.

Тотчас из маленькой двери выбегал отвратительный горбатый карлик в двухцветном костюме, в колпаке с ослиными ушами, с множеством бубенчиков и начинал кривляться перед Джокондой. Довольный Леонардо чуть шурил золотые, как мед, глаза. И тут на губах монны Лизы появлялась усмешка, именно усмешка, а не улыбка, над мужчиной, который таким жалким образом думает осчастливить женщину. Помните ее улыбку, луврскую, а не воспроизведенную на этикетках парфюмерных изделий, не расслащенную его учениками и не его же, совсем другую, светло-печальную улыбку склонившихся над младенцем Христом мадонн. Вы увидите в улыбке Джоконды горечь, насмешку, жалость на грани прощения, но самого прощения нет. Это улыбка разочарования глубоко порядочной женщины, готовой всей душой, всем естеством, всем внутренним сознанием справедливости преступить запретный порог, но обнаружившей, что за порогом этим пустота.

В какое-то мгновение в голосе моего собеседника пробился усталый пафос, но кончил он без всякого воодушевления и осушил стакан.

— Это звучит особенно правдоподобно, если подтвердится догадка исследователей Леонардо, что на

знаменитом портрете изображена вовсе не почтенная матрона, а известная куртизанка.

Впервые бродяга разозлился.

— Я слышал об этом! Тухлая чепуха, бред оригинальничающих недоумков! От монны Лизы за версту несет порядочностью. Куртизанкой может быть, если хотите, леонардовский Иоанн Креститель, женственное существо, у которого единственный мужской признак — посох!..

— Мне больше по душе иное объяснение тайны Джоконды, — сказал я. — Каждому смотрящему на нее она улыбается по-своему. Поэтому люди и не могут сговориться, что же выражает ее улыбка.

— Как хотите, — сухо сказал бродяга. — Но вино я все-таки допью...

## ЛУКОВЫЙ СУП

Я немного знал Глушкова по Москве. Мы иногда встречались в Доме кино. Я знал, что у него большое смуглое лицо и что он чуточку сродни Собакевичу: здороваясь, непременно отдавит тебе ногу. Но я не знал, что у него есть свояченица, живущая в Париже, и что она готова сопровождать нас в прогулке по ночному городу.

Он рассказал мне о Нине Ивановне, так звали свояченицу, пока мы ждали ее на улице Монмартр, неподалеку от нашего отеля. Сложные пути судьбы привели ее в Париж и сделали французской гражданкой. Молодой военный врач, Нина Ивановна вместе с полевым госпиталем попала в руки немцев в самом начале войны. В лагере Дахау она познакомилась с французским коммунистом, сотрудником «Юманите» Жаком П. За год до окончания войны им удалось бежать, перейти французскую границу и присоединиться к маки. Они стали мужем и женой. После войны Жак вернулся в «Юманите», а Нина Ивановна получила место хирурга в маленькой больнице, в рабочем пригороде Ранси. Несколько месяцев назад она овдовела...

Я ждал продолжения истории, но тут витрина с радиотоварами намертво приковала внимание Глушкова.

— Вася, — послышался вдруг женский голос, и вслед за тем к тротуару причалил мышастый «ситроен». Из него, оправляя клетчатую юбку, вышла пожилая, лет под пятьдесят, женщина с бледным худощавым лицом и крашеными желтыми волосами. За толстыми стеклами очков ее зеленые глаза казались выпуклыми, как у рыбы телескопа. Они поцеловались, и Глушков представил меня Нине Ивановне.

— Поехали скорее, — сказала Нина Ивановна, — у меня что-то неладно с мотором.

Мы втиснулись в жестяную коробочку «ситроена», Нина Ивановна потянула на себя рычажок стартера и вырвала его из щитка вместе с куском тонкой проволоки.

— Всѐ! — проговорила она потеряннм голосом. — Придется заводить ручкой.

Беда была не столь уж велика, и меня удивила перемена, мгновенно происшедшая с Ниной Ивановной. И то, как лихо она подкатила, и как энергично выбралась из машины, и как по-мужски ответила на рукопожатие, — все производило впечатление большой душевной собранности. А сейчас она разом сникла, жалко растерялась, даже плечи ее устало опустились. Когда же Глушков, раз-другой крутнув ручку, завел машину, она снова приободрилась, но что-то было ею утеряно.

Мы мчались по залитому огнями ночному Парижу, а когда оказались на Елисейских полях, то словно вышли в открытое море; буйство огней стало грандиозным, огни уходили высоко в небо, ярчайший свет заливал глубину вытянувшихся вдоль тротуаров кафе, и улица не имела границ. Но, как и утром, при первом знакомстве с городом, все это было равно ожиданию, равно готовому представлению и оттого радовало, не поражая, не лишая спокойствия.

Мы долго колесили по Парижу, и бесконечный

город взял свое. Он ударял в душу то затихшей набережной Сены с запертыми, грустными ящиками букинистов; то улицей «Кошки, удрящей рыбу», такой узенькой, что жильцы могли здороваться через улицу за руку из окна в окно; то смутной громадой собора Парижской богородицы, не освещенного сегодня прожекторами, не литературного, не исторического, а просто большого и печального; то крошечным бистро с двумя столиками и старым усталым человеком над кружкой пива; то фонарем в глянцево-зелени платана; то желтыми просветами спущенных жалюзи на длинной, темной Амстердамской улице; то одинокой скамейкой, на которой двое...

Позже Нина Ивановна предложила нам полюбоваться рынком, знаменитым «чревом Парижа», благо время уже перевалило за полночь. Весь завоз осуществляется в ночные часы, днем на рынке смотреть нечего, тут нет розничной продажи, владельцы продуктовых лавок, ресторанов и бистро покупают продукты оптом.

— Я знаю там один кабачок, где замечательно готовят луковый суп, — сказала Нина Ивановна.

Но пробраться к кабачку оказалось делом нелегким. Мы металась по нешироким, темноватым улицам и всякий раз натывались на препятствие либо в виде полицейского в белых перчатках с крагами, либо в виде дорожного знака, запрещающего въезд, либо в виде огромного рефрижератора или десяти-тонного грузовика, перегородившего дорогу. Квартал, занятый рынком, странно выпадал из остального города. Хоть бы он находился на окраине, так нет, в самом центре, в окружении залитых огнями, сверкающих, по-ночному беспечных бульваров. Погруженный в полумрак, битком набитый громадными, похожими на фронтовые машинами, напоенный напряженной работой, с отверстыми зевами подвалов, лабазов, погребов, в крепких, перемежающихся запахах всевозможной снеди, он жил ни на что не похожей, таинственной жизнью. И вскоре стало казаться, что полицейские, дорожные знаки и грузовики, мешающие нам проехать, — лишь бедные символы какой-то выс-



шей, мистической силы, не желающей пускать нас в средоточие своей тайны.

Нина Ивановна разволновалась. Она все испуганнее шарахалась от очередного препятствия и гнала машину по одной из свободных улиц прочь из квартала рынка. Окунувшись в свет и словно почерпнув в нем бодрость, она вновь заезжала во владения рынка, но уже с другой стороны, и вновь натыкалась на преграду и, не пытаясь отыскать лазейку, шла на новый заход.

— Будь с нами Жак, мы бы давно сидели в кабачке, — сказала она жалобно. — Он завораживал полицейских и мог проехать где угодно.

Мне кажется, не только для нас, но и для нее явилось полной неожиданностью, когда после очередного заезда мы вдруг оказались у дверей кабачка.

Сразу напротив двери находилась стойка бара, вокруг которой толпились мясники в белых халатах, так черно и так ало, так густо перемазанных кровью, словно они не просто перегружали из машин в холодильники привезенные с бойни туши быков, телят, свиней и баранов, а сами убивали их тут же на улице в яростной борьбе. Иные сжимали в руке длинные острые ножи, похожие на пики, с запекшейся в желобах кровью. Они непринужденно подставляли острия ножей глазам других посетителей, тянувшихся из-за их спин к стойке. И хотя порой такому неосторожному копыеносцу доставался веский тумак, делалось это без злобы. Все немножко играли. Я еще днем обратил внимание на эту особенность Парижа. Все тут немножко играют самих себя. Художники Монмартра играют богему; влюбленные в скверах и парках играют влюбленных, сила и теснота их объятий порождены не только страстью, но и некоторым расчетом на внешний эффект; даже проститутки, при всей серьезности своего ремесла, немного играют проституток, отсюда их подчеркнутая фотогеничность; ну, а полицейские, кондукторы, бармены и официанты — те играют в открытую, играют свою расторопность, ладность, чисто галльскую веселость. Привычка быть на виду у всего мира, привычка вечно находиться под

обстрелом жадно любопытных глаз бесчисленных туристов выработала в парижанах эту легкую утрированность поведения, которую они и сами не замечают и которая обеспечивает им внутреннюю свободу. Иначе их жизнь была бы очень тяжела. Куда легче идти навстречу ожидаемому и давать полную волю своей живописности, чем напряженно хранить скромную важность экспонатов. А впрочем, как знать, может это тоже утомительно.

Мясники играли в добрых и беспощадных парней, опьяненных кровью и коньяком. Панибратствуя со смертью, вовсе не ими причиненной, они распространяли свою отчаянную бесцеремонность на всех окружающих: на толстого, усталого и ловкого бармена, на его подручную, рыжеватую блондинку с челкой, — она играла девушку за стойкой Манэ; на хозяина ресторана, седоволосого, моложавого, статного, — он подражал одному актеру, всегда играющему рестораторов, и оттого несколько не робел перед мясниками; не извиняясь, даже не оборачиваясь, задевали окровавленными полами халатов красивую одежду и меха роскошных дам в жемчугах и черные костюмы их изысканных спутников. Это, кстати, тоже входило в игру: в ресторане смешивались в странном и демократическом единстве окровавленные парни и элегантные завсегдатаи ночных клубов, приезжающие сюда глубокой ночью освежиться устрицами и луковым супом. Богатую публику волновало соприкосновение с дном, мясники наслаждались, коротким обманом республиканского равенства. Дамы уносили на платьях следы крови, делая вид, будто и впрямь подвергались опасности, а мясники упивались своей мнимой грозностью. Никто не фальшивил в этой игре, и все были довольны.

Между тем у нашего столика, ближнего к выходу, давно уже переминался нетерпеливый от избытка расторопности молодой официант.

— Ну, что мы закажем? — спросила Нина Иванова.

— Луковый суп, — проговорил я неуверенно.

— Это понятно. А еще что? — зеленые глаза беспомощно смотрели из-за стекол очков.

Но откуда мы знали, что принято здесь заказывать!

— Ладно! — сказала она храбро. — Вижу, что сегодня мне придется быть мужчиной. Что бы заказал Жак? Устриц, белого вина, луковый суп, сыр камамбер и салат из апельсинов. Пойдет?

Официант спросил, сколько подать устриц.

— Три дюжины! — выпалила она хрипловатым голосом гуляки и доброго малого. — Вина? Три бутылки «Кларета». Не забудь содовой, приятель!.. Эй, гарсон! — она щелкнула пальцами, и метнувшийся было прочь официант мгновенно вырос перед нами...— Сигареты «Частерфильд». И поживей, мой мальчик!..

За окнами ресторана ночная улица жила громадной, тесной, не вмещающейся в своих пределах жизнью. Рвались хриплые сигналы машин, звенели предостерегающие, повелевающие, бранящиеся голоса; то и дело на витрину кабачка угрожающе надвигалась темная масса грузовика, разворачивающегося в тесноте улиц, казалось, сейчас зазвенят стекла и, сминая толпу, грузовик подкатит к стойке и хрипло спросит пива. Дверь поминутно хлопала. Окровавленные, будто с переднего края, входили все новые мясники, а те, что уже промочили горло, с пиками наперевес устремлялись на позиции. Порой появлялись дамы в мехах, сопровождаемые пепельно-серыми от неведомой усталости мужчинами, и носился челноком мальчишка, открывающий устриц перед входом в кабачок. Он вбегал с блюдом, выложенным водорослями, распахнутыми устрицами, кусочками льда и половинками лимонов, обдавая посетителей свежим морским запахом. Назад он мчался с блюдом, отблескивающим перламутровой наготой опустошенных раковин. Но вот мальчишка оборвал свой бег возле нашего столика, и море объяло нас крепким йодистым запахом, холодом и свежестью, блюдо тяжело скользнуло на шаткий столик. Тут же появился официант с вином, хлебом, содовой водой и вмиг разлил вино по бокалам.

Я никогда не видел таких больших устриц: про-

долговатые, они напоминали восьмерку, стенки раковин, до краев налитые морем, толсты и морщинисты. Когда выжмешь в устрицу лимон, немного морской воды проливается на тарелку.

— Я боялась, что спутаю, — сказала Нина Ивановна, — но это как раз тот сорт, который любил Жак.

Двумя гребками ложки она выскребла устрицу и выпила из раковины, как из чашки, морской воды с лимонным соком. Мы с Глушковым тоже взялись за устриц, их было так много, что казалось, нам с ними никогда не справиться.

— Жак удивительно знал толк в еде. Когда мы ужинали дома, он готовил сам, провизию выбирал тоже сам. Но последнее время он все водил меня по ресторанам и требовал, чтобы я заказывала.

— Пищит!.. — смешливо сказал Глушков, глотая устрицу.

Мы выпили вина. Нина Ивановна стала расспрашивать о Москве. Энергично выскребая ложечкой устриц, Глушков поведал ей о своих успехах: он получил новую квартиру, приобрел «Москвич», его жена — сестра Нины Ивановны — работает в «Детском календаре» художником.

— У Ленки открылись художественные способности? — воскликнула Нина Ивановна. — Молодец! Выпьем за нее.

Мы выпили за художественные способности жены Глушкова.

— Приезжай к нам летом, — сказал Глушков, — мы укатим на юг и оставим тебе ключи от квартиры.

— Я думаю о том, чтобы совсем вернуться в Союз, — тихо сказала Нина Ивановна. — Меня многое связывает с Францией, но когда я называла ее второй родиной, то обманывала себя: моей родиной был Жак, его не стало, и я оказалась без родины.

— «Человек без родины — соловей без песни!» — с полным ртом продекламировал Глушков.

— Гарсон! — хриловатым мальчишеским голосом крикнула Нина Ивановна. Теперь я понимал, кого она копирует, вступая в переговоры с внешним миром,

и уже не удивлялся превращению грустно-рассеянной пожилой женщины в доброго малого. — Вы забыли сигареты.

Официант мгновенно выложил на столик жемчужно-белую пачку.

— Прошу вас, — сказала Ни́на Ивановна. — Жак курил только эти сигареты.

Она говорила на чисто русском языке, но слово «сигареты» произносила с французским прононсом.

Огромное блюдо, еще недавно такое нарядное, праздничное, сейчас стало безобразной мусорной свалкой: на нем высилась гора пустых раковин вперемешку с кожурой выжатых лимонов. Ни́на Ивановна рассеянным движением воткнула в вершину устричной горы дымящийся окурок сигареты. Она вздрогнула, как вздрагивает внезапно разбуженный человек.

— Нелепая привычка! — и добавила со слабой улыбкой: — Жак называл это оживлением вулкана.

Подскользнул официант и убрал действующий вулкан. Затем, двумя взмахами салфетки освежив стол, он с некоторой торжественностью поставил перед каждым из нас обгорелый глиняный горшочек, затянутый поверху твердой розовато-желтой коркой. Это и был знаменитый луковый суп.

Пробив сырно-мучную корку, ложка ушла в таинственную глубину горшка. Я извлек ее назад, полную густой золотистой жидкости, горячей, крепкой, острой...

Я посмотрел на Глушкова, он улыбнулся мне понимающей, красивой улыбкой. Наслаждение от вкусной пищи, которое он сейчас испытывал, перейдя из области грубо-материальной в эстетическую, одухотворило его тяжелые черты.

— Как хорошо, по-мужски вы едите, — сказала нам обоим Ни́на Ивановна. — За ваше здоровье!

Мы выпили, и в ход пошла вторая бутылка.

— Скажите, — робко, доверчиво и как-то жалковато спросила меня Ни́на Ивановна, — у меня покраснел кончик носа?

Я поглядел на ее тонкий, довольно длинный нос

с голубым, отполированным дужкой очков переносьем: под крупитчатой, неумело наложенной пудрой проступала легкая краснота, но я не посмел подтвердить этого.

— Ну вот! — сказала она огорченно. — А Жак всегда утверждал, что после третьей рюмки у меня краснеет кончик носа. Его это почему-то трогало... Как странно, умер Жак, а мне кажется, что умерли все мужчины, — быстрым движением она поднесла рюмку к губам и выпила. — Это, наверное, потому, что я уже ни для кого не женщина... Иногда мне кажется, будто я заново родилась, старый, безобразный, усталый младенец. Знаете, иногда ребенок рождается с зубами, но это не значит, что он сразу примется есть мясо, нет, он все равно сосет материнское молоко. Вот и я новорожденный с зубами: откуда-то у меня умение оперировать, водить машину, варить кофе, читать. Но я не знаю тысячи обычных вещей: сколько стоит билет в кино и палочка «эскимо», где и как платить за холодильник, купленный в рассрочку, что делать, если глохнет мотор, сколько давать на чай... Все это знал Жак, я только сейчас поняла, как бесконечно много он знал. Жак боялся, что Франция будет для меня трудна, он все взял на себя. Уже смертельно больной, он знал, что умирает, но сумел скрыть это даже от меня, врача, он хотел приучить меня к жизни, но было поздно... Фу, какой крепкий суп... — она резко выхватила из сумочки носовой платок и прижала к глазам.

— Крепкий? — повторил Глушков, и с сожалением отодвинул пустой горшочек. — А я и не почувствовал.

За сыром и десертом мы обсуждали последние парижские события: демонстрацию государственных служащих на Гревской площади, требовавших прибавки жалованья; самоубийство молоденькой работницы, бросившейся с площадки Эйфелевой башни; арест похитителей Эрика Пежо, маленького сына главы знаменитой автомобильной фирмы. Запах камамбера придавал нашим приблизительным разговорам — Нина Ивановна имела такое же смутное представление

о всех этих новостях, как и мы, — особый аромат парижской жизни.

Когда мы вышли из ресторана, в узких улицах, так тесно забитых грузовиками и фурами, как переправа на Березине повозками и пушками отступающих наполеоновских войск, еще держался сумрак, бледно просквоженный усталыми фонарями, а небо было по-рассветному белесым, с легкой голубизной.

Нина Ивановна с трудом вывела свой «ситроен» из зажима двух роскошных, будто расплющенных машин, и мы двинулись прочь из «чрева Парижа», давя устилающие асфальт листья цветной и кочанной капусты, сухую луковичную шелуху, пучки латука, просыпавшегося из корзин при переноске; порой нас подбрасывало вверх — когда под колесо попадала золотая голова апельсина, или яблоко, или грейпфрутовая бомба. Снова мы пронизали спектр запахов от нежно-фруктовых до душных, рыбных, и вырвались в чистую каштановую свежесть набережной Сены.

У подъезда отеля мы попрощались.

— Мы так и не поговорили о Жаке, — сказал Глушков, задерживая руку Нины Ивановны в своей. — Но ничего, через две недели мы вернемся из Марокко, и ты мне все хорошенько расскажешь.

— Да... — странным голосом произнесла Нина Ивановна. — А я хотела извиниться перед тобой и твоим другом, что весь вечер надоедала вам Жаком.

— Что? — выкатил глаза Глушков. — Я даже не знаю, отчего он умер и когда. Что я расскажу Лене?

— Расскажи, что он умер от рака легких двадцать седьмого января... — И «ситроен» сорвался с места.

*Париж*

## НЕОСТЫВШИЙ ПЕПЕЛ

Недавно я ездил в Освенцим, и он напомнил мне о Бухенвальде, где я был ровно десять лет назад. То-

гда я написал рассказ о бывшем узнике лагеря, оставшемся там работать экскурсоводом. Он не мог расстаться с лагерем, где сгнили лучшие годы его жизни, где погибло столько товарищей. Он сам себя приговорил быть бессрочным узником Бухенвальда, его живой памятью. Я рад, что написал о нем. Но я жалею, что не написал о человеке совсем другого рода, о бывшем служащем эсэсовского городка, расположенного через дорогу от лагеря. Тогда мне было противно о нем писать, а сейчас мне кажется, что я словно провинился перед Бухенвальдом.

Об Освенциме писали много, но, по-моему, и сейчас каждый приезжающий туда должен о нем написать. Не для того, чтобы множились в человечестве рознь и ненависть, а чтобы стучал пепел в сердце. А то вот один молодой турист из Мюнхена стоял, стоял возле горы детских башмачков, — а дальше высилась гора протезов: руки, ноги, корсеты, поддерживающие позвоночники, а еще дальше — гора ржавых ночных горшков, затем оправы от очков — гора, кисточки для бритвы — гора, мягкие женские волосы — гора, — так вот этот турист вдруг раздулся, как гофманский король дождевых червей, побагровел и громко заявил: чушь, вранье, социалистическая пропаганда!..

Названием Освенцим объединяют два лагеря: собственно Освенцим и лежащую поблизости Бжезинку. Первый являлся показательным лагерем, над ним осуществлял наблюдение Международный Красный Крест. Там была всего одна печь, считавшаяся столь же невинной, как печь любого добропорядочного крематория; расстреливали узников тайно, перед рассветом, за глухой стеной; камеры отапливались, спали заключенные на нарах. В лабораториях Освенцима на заключенных испытывали новые ядовитые вещества, но это было строго засекречено, так же как и страшные опыты над близнецами, как стерилизация, как производство сувениров из татуированной человеческой кожи. Красный Крест не знал о «научной» работе эсэсовских врачей, как и не знал, что в нескольких километрах от Освенцима на поле с чахлой расти-



тельностью раскинулась Бжезинка — гигантская фабрика смерти; бараки строгими рядами, газовые камеры, печи. День и ночь циклон душил людей, печи пожирали трупы, пепел уходил в землю Бжезинки. Но до того как комендант и создатель лагеря Рудольф Гесс обеспечил Бжезинку достаточным количеством печей, останки задушенных циклоном зарывали в землю, десятки гектаров бесплодной земли до сих пор набиты человеческими костями.

В Бжезинке не делали опытов над заключенными, их не пытали, не расстреливали, тут не существовало личной судьбы, не было и заключенного как такового, здесь было человежье месиво. Месиво копошилось на грязном полу барачков, месиво корчилось в газовых камерах, месиво поступало в печи.

В «показательном» Освенциме в заключенном разумелся человек, этого человека унижали, мучали, терзали, а иногда поощряли, томили в карцерах и в конце концов уничтожали.

Бжезинка отрицала самое понятие «человек» как некой отдельной особи. Здесь счет велся на тысячи. За время существования лагеря он «переварил» в своих газовых печах свыше четырех миллионов человек. Комендант Гесс «признал» убитыми лишь два с половиной миллиона. Он поднялся на эшафот с видом человека, над которым совершили несправедливость. Он ни в чем не раскаивался — он «честно» служил своему фюреру, — на суде не хитрил, не запирался, не заметал следов, но и не скрывал, что разочарован судьями, приписавшими ему лишние жертвы. Виселица, на которой закачался этот серьезный, исполнительный человек, до сих пор как символ возмездия стоит на границе освенцимского лагеря.

Миниатюрный Бухенвальд — прообраз остальных гитлеровских лагерей. Он возник до второй мировой войны, его первыми обитателями были немецкие коммунисты и все недовольные нацистским режимом, а также евреи вне зависимости от их политических взглядов. С началом войны лагерь стал интернациональным. Комендант Кох по праву может считаться от-

цом многих лагерных обычаев и установлений. Это он изобрел сизифов труд для заключенных, доводящий людей в короткий срок до безумия или самоубийства; это он придумал утилизировать тела убитых: вырывать золотые зубы и коронки, вытапливать жир, перемалывать кости на муку для удобрений. Его жена, зеленоглазая Ильза довела открытие мужа до совершенства: она начала набивать матрасы женскими волосами, производить изящные бювары, абажуры и книжные закладки из татуированной кожи и настольные безделушки из засушенных в песке до размеров яблока человеческих голов. Страшные медицинские опыты над заключенными тоже начались в Бухенвальде. Гесс лишь повторил их в неизмеримо большем масштабе в Освенциме.

Это не умаляет Коха как палача: Бухенвальд, расположенный впритык к Веймару, не имел пространства для расширения. Кох был первым, Гесс и другие шли по его стопам.

В гиммлеровском ведомстве считали: Кох даровит, но сорвиголова. Он был дважды приговорен к расстрелу своими же собратьями. В первый раз за то, что присвоил полтора миллиона золотых марок, конфискованных у богатых евреев, брошенных в Бухенвальд. Коху дали возможность искупить свою вину чужой кровью и направили в Люблин, где он сперва учинил резню, затем создал образцовый лагерь смерти. Его реабилитировали и вскоре наградили Железным крестом. Затем Коха командировали в Норвегию, где он расстрелял многих видных норвежских офицеров и заразился сифилисом. Болезнь он обнаружил, вернувшись в Бухенвальд, и стал лечиться у двух доморощенных врачей-заключенных. Они его вылечили и в благодарность были вывезены из Бухенвальда и расстреляны.

Но пока шло лечение, Кох наряду со всеми эссовцами-тыловиками сдавал кровь для фронтовых госпиталей. Он делал это, боясь, как бы начальство не проведало о его болезни. Фюрер был беспощадно строг в вопросах нравственности, когда дело касалось высших офицеров. В СС берут людей с одина-

ковой группой крови, и зараженная кровь бухенвальдского коменданта поступала в госпитали для эсэсовцев. Заболели сотни раненых. Не представляло особого труда установить, откуда поступает зараженная кровь. В Бухенвальд прибыла следственная комиссия. Врачи-самоучки, расстрелянные Кохом, успели доверить тайну двум-трем товарищам, и в один прекрасный, действительно прекрасный, день Кох был расстрелян в родном Бухенвальде и сожжен в печи.

Ильза Кох, судя по фотографиям, могла бы занять место в ряду психопатологических типов, иллюстрирующих известную книгу Кречмера: асимметричное, плоское лицо, тяжелый подбородок, слишком маленький нос. Но говорят, что густые, огромные неистово-рыжие волосы при изумрудном цвете глаз делали ее почти привлекательной. Она любила скакать на лошади — седло усеяно драгоценными камнями, в мундштук вделаны бриллианты, уздечка с золотой насечкой. Бывший служитель эсэсовского городка при Бухенвальде сказал мне любовно и гордо, что скачущая Кох была «прекрасна, как цирковая наездница».

С этим добрым человеком я познакомился после осмотра лагеря. Я вышел за ворота и закурил папиросу. Тут он ко мне и подошел невзрачный человечек лет пятидесяти, в заношенном, некогда зеленом, а теперь буром военном кителе без погон и знаков различия, хотя легкая зеленца на менее выгоревших местах указывала, что погоны и знаки когда-то были, в грязных фланелевых брюках и стоптанных замшевых туфлях. И еще на нем была почему-то наша солдатская пилотка, конечно, без звездочки. Он подошел, втянул ноздрями папиросный дым и, кашлянув, сказал: «Разрешите закурить». Я протянул ему пачку. Он как-то особенно деликатно тонкими нечистыми пальцами взял папиросу и попросил огонька. Я стал нащупывать коробок по карманам. Вежливо похихатывая, он попросил не тратить на него спичку, а позволить ему прикурить от папиросы. Я исполнил его просьбу.

Во власти впечатлений, произведенных на меня лагерем, я несколько рассеянно воспринял окружающее. За моей спиной тянулась колючая проволока, по которой прежде шел ток высокого напряжения; передо мной было шоссе, ведущее в Веймар, чуть слева, по другую сторону шоссе белели сквозь густую зелень какие-то домики, виднелся за поваленной оградой край неухоженной клумбы, заросшей сорняком.

— Теперь здесь не на что смотреть, — тихо и грустно произнес человек в заношенном кителе. — А какое это было чудесное местечко!

Я вздрогнул, мне почему-то показалось, что, прикурив, он ушел. Человек по-своему понял мое движение.

— Я говорю, разумеется, не о лагере. Людям плохо за колючей проволокой. Но вот городок!.. Может быть, я преувеличиваю, это простиительно для старожил.

Он работал здесь с самого основания лагеря, сперва на строительстве, затем короткое время в охране, после сторожем в ээсовском городке, что через дорогу. Ему приходилось быть не только сторожем, но и подметальщиком, и садовником, и конюшим — городок рос, и служащих постоянно не хватало. Он же на все руки: и швец, и жнец, и на дуде игрец. В человечке проснулась гордость. Он перестал искательно улыбаться, что-то холодноватое от самоуважения появилось в его стертom, сером лице, и голос зазвучал на низах пивным хриповатым достоинством. Конечно, сейчас трудно поверить, а ведь ему доводилось прислуживать самой госпоже Кох. Он держал ей стремя. Да, да, тяжелое стремя из литого золота, он клянется в том господом богом! — и человек ударил себя кулаком в грудь. А как хороша была госпожа Кох в седле: черный сюртук, белые рейтузы, лакированные сапожки. Когда она давала шпоры коню, ее красные волосы разлетались по ветру и госпожа Кох была прекрасна, как цирковая наездница!..

— К нам сюда приезжали цирковые артисты, мы

неплохо жили... У нас был даже собственный зверинец с медведями, волками, лисицами, зайцами, оленями, орлами, попугайчиками, то-то радости детворе! Нет, Бухенвальд сейчас не узнать, все разрушено, сожжено, изгажено. Вам приехать бы сюда раньше, как здесь было красиво!

Я сказал, что едва ли смог бы насладиться красотами городка — с той стороны колючей проволоки его плохо видно.

Человечек не понял, смутился и разом растерял свою жалкую спесь.

— Простите, вы не знаете, что случилось с госпожой Кох? — спросил он прежним, вкрадчивым голосом.

— Она в тюрьме, в американской зоне...

После окончания войны ее предали суду как военную преступницу. Ожидая решения своей участи, она сошлась с комендантом тюрьмы, американским майором, забеременела, и смертный приговор, который ей вынесли, нельзя было привести в исполнение. Вскоре она родила и стала матерью американского гражданина. Хотя у майора и была жена в Штатах, он не отрицал своего отцовства. Генерал Клей распорядился немедленно выпустить Ильзу Кох. Это вызвало такой взрыв общественного негодования, что Клею пришлось вернуть ее за решетку. Ильзу Кох снова судили и дали ей пожизненное заключение. Но недавно в газетах появилось сообщение, будто она была выпущена и вместе с подросшим сыном уехала в Австралию. Но мне не хотелось радовать бухенвальдского старожила, и я уверенно сказал:

— Отбывает пожизненное...

Он притуманился. Не то чтоб он так был предан Ильзе Кох, но блеск ее золотого стремени озарял его судьбу. Я представил себе, как вышла из тюрьмы несколько поплывшая от лет и сидячей жизни молодая женщина с бледным плоским лицом и поблекшими, некогда изумрудными, а теперь кошачье-зелеными глазами и огненно-рыжей копной волос. К ней подвели ее мальчика, это была их первая встреча

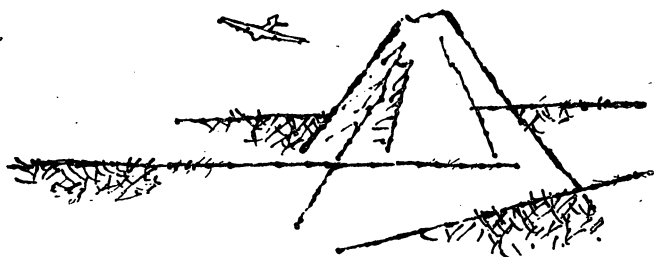
на воле, и, растроганная, она обняла худые плечи сына теми же руками, которыми некогда в лагере обнимала пленного шведа, добровольца английских военно-воздушных сил, рослого красавца с гладкой кожей, испещренной татуировкой. Тогда ей впервые пришло в голову, на что может пригодиться такая вот чистая, гладкая кожа, разрисованная кораблями и якорями, русалками и троллями; и когда швед ей надоел, она велела содрать с него красивую кожу и своими собственными руками, равно умелыми в любви и в работе, сделала бювар в подарок Гиммлеру... А мальчик прижимался к родному, надежному телу матери и плакал от неизведанного счастья защищенности. Потом они шли по солнечной, мягко затененной каштанами улице, их ждал пароход, синее долгое море, далекий австралийский берег, новая жизнь...

Подошел мой автобус, и я бросил недокуренную папиросу. Бухенвальдский старожил задумчиво поглядел на тлевший в пыли окурок, поднял его, обтер и сунул в рот...

И вот по прошествии стольких лет у бжезинских печей я вспомнил об этом человечешке. Наверное, это покажется странным: в громадности фабрики смерти, рядом с виселицей Гесса, спорившего с судьями, сколько миллионов жизней он истребил, думать о каком-то ничтожестве, собирателе окурков, настолько малом винтике гитлеровского рейха, что его и к уголовной ответственности не привлекли. Но мне этот подонок представляется серьезной опасностью. Он и ему подобные — это та почва, та плесень, на которой произрастали гитлеры и гессы. В своей готовности принять любое зло только потому, что оно есть, обожествить любой кровавый режим только потому, что у него сила, видеть лишь золото стремени и не замечать печной сажки, воняющей человечиною, они поистине страшны. Страшнее тех новоявленных фюреров, которые тонкими голосами возвещают в разных концах света о своем пришествии. Ибо только собиратели окурков, стремянные Ильзы Кох могут сделать крикунов носителями рока.

Эти холопы сильной власти, шептуны-сказители,

повествующие о зверушках и цветочках, о сволочном уюте на краю смертного рва, глядишь, и впрямь заставят поверить новых жителей земли, что в концентрационных лагерях сидели преступники, что век Ильзы Кох блистательней наших скромных будней. Не из подобного ли источника черпает свое знание о минувшем молодой мюнхенец, объявивший Освенцим социалистической пропагандой?..



Видения Азии





ИЛ-18 во все четыре винта мчался навстречу солнцу, мы летели на восток, от Карачи, столицы Пакистана, к Рангуну, бирманской столице, скрадывая и без того недолгий осенний день. Совместные усилия самолета и солнца окончательно доконали день, когда мы пошли на посадку в Рангуне. Погасла кровавая полоса на западе, и самолет стал погружаться в черный мрак, скупо помеченный желтыми и красными огоньками; затем эти светящиеся точки исчезли, и возник вертикальный зыбкий, струящийся блеск на маслянистой черноте большой воды. Мы отмахнули воду прочь и, вновь обретя в глубине под собой россыпь огоньков, стали резко, упруго терять высоту и, наконец, мягко стукнулись колесами о бетонные плиты посадочной площадки...

За дверцей самолета воздух был влажно и жарко густ, он не вдыхался, ватным кляпом забивал рот и дыхательное горло, не проникая в грудь. Кобальтовое давяще низкое небо казалось раскрашенным под ночь дерзкой и неумелой рукой ребенка. Темно-синий купол крошечными булавочными уколами просверкивали звезды. Край неба в той стороне, где угадывалась мелькнувшая сверху большая вода, взры-

вался оранжевыми зарницами, их слабеющий отсвет достигал аэродрома, выбеливая тела самолетов. Возле трапа столпились местные люди: смуглые солдаты в шортах, девушки в длинных, до земли, голубых юбках, плотно обтягивающих крестец и бедра; грузчики в рубашках хаки, вместо штанов длинная тряпка, обернутая вокруг ног, так называемая лонджия. И вдруг я почувствовал, что стремительно утрачиваю способность радоваться их своеобразию и все окружающее оборачивается бредом: и неестественно кобальтовое небо, и тревожно яркие зарницы, и рыбы тела самолетов, и проминающийся под ногами, зноем дышащий асфальт. Это ощущение напоминало по безысходности приступ клаустрофобии и вызвано было нестерпимой паркой духотой. Мне показалось, что сердце, которому я сознательно и упрямо не давал спуска после инфаркта, сейчас остановится, как мотор без горючего.

Я внутренне заметался, а снаружи меня всего склеило липким потом испуга, и тут я увидел своего спутника, точнее — руководителя, ибо мы вдвоем являли собой делегацию Союза кинематографистов и он был главой делегации. Мгновенно угадав мое смятение, он сообщил, что влажность воздуха составляет здесь девяносто восемь процентов, в помещении аэровокзала будет прохладнее, а гостиничные номера (нам предстояло ночевать в Рангуне) наверняка оснащены эйркондишен. Он дал мне ориентацию в окружающем и перспективу — пропало ощущение безысходности, меня сладостно отпустило, полновесно и ровно забилось сердце, довольствуясь тем ничтожным количеством кислорода, которое содержалось в тяжких испарениях...

Помещение аэровокзала дарило прохладой лишь в первые минуты, и мне пришлось прибегнуть к такому трюку: время от времени я выходил на воздух, в его безумную душную влажность, и, возвращаясь назад, вновь обретал короткое облегчение.

Не слишком густо населенный пассажирами аэровокзал кишмя кишел обслуживающим людом. По залу ожидания метались поджарые юноши в клетчатых, полосатых, реже одноцветных мужских юбках —

доброхоты, рассчитывающие на случайный заработок: поднести багаж, посадить в такси, выполнить какое-нибудь поручение. За длинной фанерной перегородкой, вдоль которой выстроилась почти недвижимая очередь пассажиров, подлежащих проверке, толпились чиновники. Они проверяли сертификат, билет на самолет, паспорт в целом, отдельно выездную и въездную визы, разнося полученные данные по нескольким grossбухам, затем придирчиво выискивали ошибку друг у друга, просматривали заполненную пассажиром еще в самолете анкету и на слух заполняли еще несколько анкет, перевирая фамилию вновь прибывшего и горестно удивляясь тому, что она стала не такой, как в паспорте.

Плаваясь в застылой огненной духоте аэровокзала и уже лишенный возможности выскочить наружу, чтобы затем по контрасту ощутить обманную прохладу, ибо меня не отпускали цепкие щупальца контроля, я все более утрачивал реальность происходящего. Фантастические фрески, украшавшие зал ожидания, стали живой средой странного действия, в котором и я невольно участвовал, а шоколадные, эбеновые, ореховые контролеры отлично вписывались в настенные пейзажи, без натяжки соседствуя с крылатыми конями, джиннами и драконами. И вдруг рядом оказалась тоненькая девушка в голубой юбке, одна из тех, что встречали нас у трапа; на виске у нее, возле удлиненной расщелины глаза, полнившейся янтарём райка и малой желтизной белка, золотилась пыльца мимозы, и ее пухлые коралловые губы стали отдавать мне какие-то нежные приказания. Совсем обалдев, я почему-то схватился за чемоданы, и это бессознательное движение оказалось справедливым, ибо свершилось временное и пространственное смещение. Таможенный досмотр обнаружил бедное содержимое моих потрепанных чемоданов, я слышал обращенные ко мне непонятные вопросы и что-то наугад бормотал в ответ. Доброе вмешательство молодой женщины с виском, задетым кистью мимозы, и властное — руководителя делегации распахнуло передо мной какие-то двери, и огромность пустынного зала прохладой опоя-

сала лоб. И тут со всех сторон набежали худые, бо-соногие, большеглазые, прелестные дети.

Звонко шлепая узкими босыми ногами по полу и что-то лопоча, дети окружили пассажиров. Возле меня оказался мальчик лет двенадцати в рваной шелковой кофточке и тряпице вокруг ног. Он хотел поднять мой чемодан, но это оказалось ему не по силам. Тогда, напрягшись всем цыплячьим тельцем, он попытался рывком оторвать его от земли, но чемодан пересилил, и маленький носильщик ткнулся в него носом. Он тут же вскочил, огромные глаза его закатились от горя, став белыми, как у слепца, страдальчески скривились сухие, собравшиеся гармошкой, бледно-лиловые губы. У Пинтуриккио есть портрет итальянского мальчика; меня до слез трогало это детское лицо, словно только что вышедшее из рук Творца, так чиста и первозданна его живая, радостная плоть, изящно мягки черты, нежны скромные краски. Но мальчик Пинтуриккио примитивен и груб рядом с этим рангунским мальчиком. О, несравненная утонченная человечность иных восточных лиц, когда плоти почти нет, когда одна лишь прозрачная оболочка духовности! Таким было лицо моего мальчика: беззащитное перед миром, выражающее эмоцию в ее чистой изначальности, тонко трепещущее от напряженной неосознанной внутренней жизни, лицо маленького бога...

Уходя из Бирмы, колонизаторы оставили здесь нищету, неграмотность, болезни и левостороннее движение. И еще они оставили довольно много желтых разбитых автобусов, которые до сих пор являют основу городского транспорта. Один из таких автобусов поджидал нас у дверей аэровокзала. Его детская цыплячья желтизна не соответствовала дряхлости разрушенного корпуса без единого стекла в окошках, с сорванными дверьми и драной обивкой сидений, откуда жестко торчали пружины. Шофер в трусиках сел за руль, уходящий стойко вертикально в пол автобуса, положил худые ноги в сандалетах на педали; автобус содрогнулся всем составом и покатил в собственном грохоте, треске, бряцании, в звонах и паль-

бе глушителя сперва по шоссе, выхватывая фарами из темноты тяжелые, зеленые с желтизной, мясистые пальмовые веи, изумрудные ветви других деревьев, которые в быстроте нашего движения напоминали стволами и кронами сосны, рослые красные цветы, растущие прямо обочь шоссе, редкие — ведь дело шло к полуночи — фигуры прохожих, затем по широкой окраинной улице, обстроенной живописными коттеджами в глубине садов.

Но вот влево золотым столбом, вонзившимся в чистое звездное и лунное небо, засияла, засверкала высвеченная прожекторами пагода Шве-дагон, главное чудо Рангуна, она была похожа на гигантский колокол. И тут же нарочито медленно, заставив нашего водителя резко затормозить, под носом у автобуса продефилировала группа молодых людей: парней и девушек, равно одетых понизу в юбки и сандалеты, но, если пренебречь этим малым своеобразием одежды, ничем не отличающихся от своих европейских сверстников; исполненные того же молодого томления и душевной смуты, что так отчетливо читалось на доверчивых полудетских лицах; той же неясной обиды на старших, загадавших столько мучительных загадок, страшась своей человеческой ответственности за огромный, грозный мир и не ведающие, что ответственность эта уже легла на их плечи.

Мимо пагоды, похожей на Шве-дагон, такой же золотой и колоколообразной, только куда меньших габаритов, обставленной крошечными, будто игрушечными пагодами, мы проехали к набережной Рангун-ривер, где, отделенный от воды сквером, находился Стрэнд-отель, белоколонный, с внушительным подъездом, возле которого дремало несколько поджарых парней. Они атаковали нас, свирепо предлагая свои услуги, но отдельные швейцары и гардеробщики отеснили их от наших чемоданов.

А потом я оказался в номере с душем, лившимся прямо на белый кафельный пол, и обещанный мне эйркондишен взревел реактивным самолетом, и под его грозный шум я уснул, счастливый тем, что хоть на миг прикоснулся к рангунской жизни...

А утром, позавтракав с помощью оравы официантов, мы смело окунулись в блестящий зной столицы, оказавшийся, к удивлению, милостивей ночного безвоздушия.

К жаре так же нельзя привыкнуть, как и к холоду: у большинства прохожих в руках зонтики для защиты от палящего солнца. Множество народа занято в зонтичном промысле: одни торгуют подержанными зонтиками, другие занимаются ремонтом, третьи — изготовлением спиц.

Как-то страшновато делается, когда глядишь на пожилого человека, свершающего на дьявольском солнцепеке свой терпеливый труд. Под ним раскаленный асфальт, над ним беспощадное солнце. Здесь ни стены, ни заборы, ни рослые деревья, в ветвях которых гомозятся, исходя тревожной, странной колоратурой, поджарые большеклювые родственники нашего воронья, не дают и слабой тени, солнце бьет по всей ширине улиц, проникая всюду, в каждый паз, каждую щель. Пожилой человек колотит камнем по длинной кривой спице, лежащей перед ним на тротуаре. Горяч тротуар, горяча спица, горяч и неудобен камень потному кулаку, крупные капли стекают с темного чела, в пазухе одежды виднеется коричневое с шафрановым оттенком тело, почти черные ноги покрыты беловатой сетью, словно они растрескались от жары и суши.

На центральных улицах ремесленники притиснуты к стенам домов, на второстепенных они владеют всем тротуаром, затрудняя пешеходное движение: тут стригут и бреют, готовят на жаровнях рисовую кашу или лапшу, лепешки и мучные катыши, воздух насыщен запахом пригорелого растительного масла и чего-то пряного, сладковатого; ремонтируют велосипеды и зонтики, чинят обувь и одежду. И поразительно много уличных писцов, составляющих исковые заявления, всевозможные жалобы. Как ни странно, но это свидетельство того нового, что пришло в жизнь страны после освобождения. Раньше бирманцы были на чисто лишены каких бы то ни было гражданских прав. Им и в голову не могло прийти выразить несогласие

с чем-либо, недовольство, предъявлять какие-либо претензии, бедняк не решался судиться даже с бедняком, опасаясь мздоимства судей неправедных. А теперь люди прониклись гражданским самосознанием, они научились отстаивать свои права.

И, склонив умудренные головы, уличные грамотеи в поте лица покрывают глянцевиные листы бумаги крючковатыми бирманскими буквами. И очередной счастливый обладатель по всем правилам составленной грамоты неторопливой поступью, как сознающий свое значение гражданин, направляется к красной кирпичной громаде Дворца правосудия, господствующей над центром города...

Архитектурно Рангун разностилен. Преобладают дома обычного европейского типа: иные с бюргерской, тяжеловесной добротностью, но чаще светлые, с легкими колоннами, как принято в приморских городах. Некоторые государственные учреждения располагаются в огромных многокорпусных кирпичных дворцах, другие — в дворцах, отмеченных национальным колоритом. Порой вполне современное здание венчает башня, напоминающая дагобу, или крыше придана многоярусная пирамидальность, завершенная острровершком — «шикхара».

Город очень живописен. Рослые деревья осеняют широких улиц прямизну, жарко цветут орхидеи в скверах, парках и дворах, золотые пагоды возносятся над темной черепицей крыш, и есть величие в дворцах, и радость глазу в перспективах, и нарядно празднична набережная Рангун-ривер. И ведь город — это не только камень и зеленые насаждения, это толпа, это уличное движение, это шумы, вернее же, то трудно определяемое в слове единство всех впечатлений, которое и создает лицо города. Не понять Рангун, если не видеть его рикш-велосипедистов, развозящих в прицепах колясочках домашних хозяек с кошелками, чиновников с портфелями, врачей с кожаными сумками, школьных учителей, торговцев, служителей культа; его разрушенных канаречного цвета автобусов, обвисших гроздьями пассажиров; его хлопотливых пернатых обитателей, чья колоратура



все истончается, по мере того как разгорается утро, и вдруг переходит в истошную визготню; его, как молния, быстрых темноглазых ребятишек; девичью тонкость и гибкость его юношей; детскую хрупкость его женщин...

Но это лишь центр Рангуна, зримый в мимолетности утренней прогулки. А ведь есть другой Рангун, чьи густые, в золотом обводе дымы уходят в прозрачное небо — Рангун пролетарский, город заводов и фабрик, маслобоек и лесопилен, судоверфей и железнодорожных мастерских, разнообразных кустарных производств: здесь ткут и шьют и тачают обувь. Рангун — крупнейший торговец, отсюда вывозят нефть, свинцовые и цинковые руды, хлопок, кожи, рис, лен. Окраины столицы густо застроены легкими домиками из бамбука и дерева, там обитают рабочие и ремесленники, портовые грузчики, шоферы и железнодорожники...

Не так-то много увидишь в торопливой пробежке по затопляемому солнцем городу, когда боязнь опоздать на самолет, а равно жара, становящаяся нестерпимой, гонят домой — в отель. Но я должен хоть прикоснуться словом к нескольким встречным людям, сохранившимся в памяти, ибо теперь я не могу жить, не думая о них, связанный с ними теми негласными обязательствами, которые, верно, и превращают двуногих обитателей земли в человечество.

Один был старым, проигравшимся в пух и прах бродягой. Во всех землях люди находят, чем обострить жизнь. В Европе — это шарик крупье и карты, в Марокко — шашки, в Грузии — нарды, в Японии — механическая рулетка, у московских пенсионеров — домино, в Рангуне — игра в камушки. Я не знаю, в чем суть игры, знаю лишь, что она яростно азартна, остра и горька, как сама жизнь, она заставляет мужские лица мертвенно бледнеть, вызывает смех и слезы, а главное, помогает человеку расправляться с временем, которого ему отпущено так мало, а все равно некуда девать. И пусть игра идет на гроши, накал страстей тут не меньше, чем в Монте-Карло. Пожилой человек проиграл все до последней полушки.

Сперва он кричал, ругался, выворачивал рваный карман истлевшей, просоленной потом рубашки, видимо прося о реванше в долг, но, получив отказ, с проклятиями заковылял прочь, и две маленькие слезы побежали наперегонки по его щекам, и вдруг он встряхнулся всем телом и будто скинул наваждение. Он широко улыбнулся, приветствуя солнце и землю, прекрасную, несмотря на постигший его крах, и, царственно развалившись у подножия какого-то монумента, на самом солнцепеке, обхватил руками затылок, одну ногу вытянул, другую удобно подогнул и предался беспечному дневному сну...

Другой был крошечным, голым, пронзительно визжащим мальчуганом лет трех, не больше. Он визжал, потому что уличный цирюльник брил его наголо опасной бритвой, чуть смочив водой каракульчу детских волос. Он визжал и бился в руках матери, придерживающей его за плечи, и все пытался спорхнуть с доски, уложенной на подлокотниках дряхлого парикмахерского кресла. Малыш очень страдал, тупая бритва больно корябала нежное темя. Мать без устали ворковала над ним, призывая к терпению и благодарности: красота и гигиена требуют жертв. Полголовы уже было обрито, и маленький каторжник считал, что этого вполне достаточно. Боже, как неистово рвался он из тонких материнских рук, как заходился, захлебывался, икая и давясь, будто и не в плаче, а в коклюшном приступе! Тут наши взгляды встретились. Малыш обнаружил, что за ним наблюдают. Он перестал вырываться, затем, раз-другой икнув, прекратил плач. Он словно осознал, что является предметом серьезной, нелегкой заботы, привлекающей к нему внимание посторонних людей, и решил стать достойным высокого своего положения. Круглые темно-коричневые глаза горделиво и важно уставились на меня. Тупая бритва с противным, скрежещущим звуком снимала черные завитки, обнажая синеватую гладь, но голый человечек стал нечувствителен к боли...

Третий был невысоким щуплым человеком средних лет. Он мылся под краном посреди узенькой пыльной улочки, неподалеку от школьного двора, где

ребята в майках с наспинными номерами играли в футбол. Он, верно, только что пришел с работы, его руки были по локоть испачканы машинным маслом, разводы масла радужились на скулах, шее и ключицах. Фыркая, покрхтывая от удовольствия, он смывал с себя трудовую грязь и пот, а его жена-невеличка с желтой пыльцой на маленьком личике поливала ему на спину. За этим радостным умыванием с восторгом наблюдали курчавые шоколадные близнецы, такие крошечные, что сердце щемило.

Футбольный мяч перелетел через ограду и запрыгал по мостовой прямо к водопроводному крану. Глава семьи с птичьим, горловым вскриком устремился к мячу. Он хотел отбить его назад, но лонджия связала движение, он не дотянулся до мяча и чуть не упал. Серdito поддернув юбку, он прицелился и ловким ударом отправил мяч за ограду. Как возликовали малютки близнецы, гордясь своим изумительным отцом, как мило смутилась мальчишеской удачью мужа маленькая женщина с желтым личиком, как скромно обрадовался сам победитель, что не посрамил себя перед семьей и соседями.

До чего прекрасен и чист человек в своей естественности, в том, что не навязано ему извне, а является жизнью его натуры, его чувств! Тогда он, как зверь, даже в неловкости не бывает некрасив, тогда он, как зверь, равен скрытому своему совершенству...

И еще были лодочники, огарнувшие нас крикливой, буйной стаей, когда мы неосторожно подошли к лодочной пристани на мутной, бурой, с глинистым отливом, изморщенной ветром Рангун-ривер. Они наперебой предлагали нам свои услуги: путешествие, переправу, прогулку. Они с равной готовностью брались доставить нас в Бенгальский залив, Индийский океан или в ближайший ресторан-поплавок.

Неподалеку от города река впадает в Мартабанский залив, и горловина устья весьма широка. Ветер дул с того берега, смутно различимого вдаль, и лодка, державшая туда путь, казалась недвижимой. Тщетно гребец взмахивал длинными веслами, раздвоен-

ная, как ласточкин хвост, корма приподымалась над водой, затем рушилась в бурю, и лодка оставалась на том же месте. И как-то скучно было глядеть на единственного старика пассажира, растерянно прижимавшего к груди большую плетеную корзину. Впрочем, если б лодка птицей неслась по зеркалу вод, нам все равно пришлось бы отказаться от прогулки из-за отсутствия времени, а равно и денег.

— Но! — сказал лодочникам на хорошем английском языке мой руководитель.

— Но! — повторил я на английском похуже.

Не знаю, какой комизм проглянул лодочникам в нашем ответе, но их прямо-таки скорчило от смеха. То ли чрезмерная поспешность этих двух отказов, то ли некоторая непривычность произношения, то ли тень испуга на наших бледных северных лицах повергли их в неопишное веселье. Складываясь пополам, проваливаясь в собственные животы, они на все лады повторяли: «Но! Но!», произнося это как «Нё! Нё!» Они рассказывали о нас другим лодочникам, опоздавшим на представление, и тыкали тонким пальцем с оранжевым ногтем в нашу сторону. Они продолжали хохотать и выкрикивать: «Нё! Нё!», расходясь по своим лодкам, усаживаясь в кружок для игры в камушки, принимаясь за горячую лапшу, которую как раз сняла с очага старушка в пестрой шали. В этом не было ни злобы, ни издевательства, просто начудили чужестранцы, так что сил никаких нет, отчего ж не посмеяться? Мне понравился их смех, легкий смех свободных веселых людей...

Как ни мимолетна была наша прогулка, мы все-таки опоздали на самолет. Расторопностью представителя Аэрофлота, бледного, потного, энергичного и надорванного, как герой бунинского рассказа «Соотечественник» — брянский мальчонка, ставший заправилкой в тропиках, — мы были пристроены на какой-то местный старенький самолетишко, летевший в Бангкок. Там мы должны были стыковаться с «боингом» голландской компании КЛМ, державшим курс через Манилу на Токио.

Канитель паспортно-таможенного досмотра, долгое ожидание старта в герметически закупоренном, раскаленном нутре самолета, короткий, словно у истребителя, разбег, крутой, штопором, подъем, и вот уже под нами расстилаются залитые водой рисовые поля, которые сверху кажутся выложенными квадратами слюды...

Меньше чем через три недели мы снова оказались в Рангуне, теперь уже по пути домой. И все повторилось снова: духота, контроль, дети, накинувшиеся на чемоданы. И был среди них замечательный мальчик с лицом маленького смуглого бога. Сильно откинувшись — как только не хрустнул слабый позвоночник! — он потащил в камеру хранения чей-то большой чемодан. Я стал думать об этом мальчике и о наших недавних соседках по токийскому отелю, седоволосых, румяных, промытых в каждой морщинке руководительницах герлскаутов, сплошь гренадерского роста, с огромными, оплывшими в щиколотках ногами, затянутыми в красивые, тонкие чулки, об этих устрашающе много едящих и пьющих дамах, что съехались в Токио со всего света для обсуждения вопроса, как осчастливить детей мира, и о допущенных на их вечера в качестве наблюдателей рослых, розовых, чуть склеротированных, туго накрахмаленных руководителей бойскаутов, и о термоядерной бомбе стал думать я, как дорого ее сделать и как дешево в сравнении с этим вырастить ребенка, помочь ему раскрыть в себе чудо человека, и о том, насколько маленький носильщик красивее, лучше, ценнее самой совершенной мегатонной дуры, и о том мире, где мы живем, и о том, как мы живем, думал я, навсегда расставаясь с Рангуном.

**ФУДЗИ**

Меня разбудила стюардесса. От непривычки спать лежа в самолете я долго не мог сообразить, где нахожусь. Я таращил глаза на большое, в серебристой

пудре лицо, нависшее надо мной, на бронзоватые, как переспелая пшеница, волнистые волосы, на белые плоскости, служившие фоном этому милому от заботливости девичьему лицу, и не понимал, дар ли это, обещанный мне в предбытии, или сон на грани пробуждения. А затем я увидел маленькую декоративную пилотку, потонувшую в густых бронзовых волосах, и понял, что все это простая самолетная явь, сулящая мне лишь горячий кофе, джем, масло и булочки.

— Мы уже подлетаем, — по-английски сказала стюардесса, — вам надо успеть позавтракать.

Я вскочил. Рослая стюардесса сильным движением объятия забрала разом всю мою постель, запихнула куда-то наверх и вернула сиденьям привычный вид. Я пошел по широкому проходу к умывальнику. Сухое, свежее тепло наполняло огромный, недвижимый и неслышный, почти пустой «боинг» голландской компании КЛМ. Кроме нашей делегации, здесь находилась лишь индийская семья: коренастый, с толстым подбородком, лежавшим поверх крахмального воротничка, глава семьи; жена, тучная, красивая, с седой прядью вкось черной головы и с красным кружочком посреди лба, как будто ее клюнул аист, в белом, воздушно-легком сари и царственно полуспущенной с плеч шали; ее стройная, лишь набирающая тело юная дочь, в синем блестящем, как рыба чешуя, сари, с открытой нежной спиной и крошечной, чуть видной точкой над орлиным, тонко-горбатым носом, словно ее клюнула птичка колибри. Поэтому нам достались все заботы, радости и льготы, положенные сотне пассажиров, все внимание двух рослых красавиц стюардесс, вскормленных пищей богов, вспоенных молочными реками в кисельных берегах. Мы спали лежа: три соседствующих места заботливые руки добрых великанш превращали в одно ложе, затем нам в постель подавали на выбор ледяное пиво, пепси-колу, оранжад, содовую воду, и моя великанша спросила нежно и смущенно, поскольку это выходило за рамки профессионального общения:

— Откуда вы? Мы с подругой никак не можем решить.

— Из России, — ответил я.

— «Из России с любовью»? — чуть улыбнулась она, обнаружив знакомство с фильмами о Джемсе Бонде и склонность к иронии.

Последним я пренебрег и взял с собой в сон лишь ее улыбку...

...Справа, по ходу самолета, пылал безмерный закат. Казалось, из распоротого тела неба хлынула кровь и захлестнула слабую голубизну. Мы летели над плотной массой облаков, напоминающей заснеженное, сугробистое поле, и по его седой, тусклой синеве растекался багрец. Я пожалел, что пропустил рассвет и зарождение восхода. Вскоре кроваво-красное растворилось в блистающем золоте, какие-то алые недвижные вихри вскипели над снежным и теперь сплошь розовым полем, выплыл нестерпимо сияющий, добела раскаленный диск и ослепил, сжег глаза.

Было странно, когда из этой драгоценной, осиянной чистоты мы вдруг нырнули в серую, влажную, непроглядную муть и копошились в ней вплоть до самой земли, нежданно обнаружившейся мокрым асфальтом и ярко-зеленой травой под шасси самолета.

Над Токио шел нудный мелкий дождик, он шипел на прозрачном целлофановом плаще нашей переводчицы Мидори, барабанил по зонту нашего хозяина Токада, вот уже сколько часов поджидавших нас в аэропорту. Первые, чуть неловкие слова приветствий, жалобы на погоду, испуганное сообщение о надвигающемся тайфуне, и вот прозвучало впервые то, что стало как бы лейтмотивом нашей поездки, озабоченное, значительное, равно готовое обратиться в ликование или печаль:

— А вы видели Фудзи?

Сколько раз звучал потом этот вопрос, сколько тревог, огорчений, разочарований доставило нашим милым, гостеприимным хозяевам упорное нежелание величайшей горы Японии — некогда огнедышащего вулкана — показаться нам.

День приезда потратился на устройство в отеле, ночь — на тайфун. Мы не могли уснуть под дьявольский свист ветра и стон оконных стекол, охлестываемых ливнем. Но то было лишь предвестием урагана. Тайфун налетел на город в сухой бледности расцвета, завыл истошно на одной нескончаемой ноте, взметнул опавшие листья и весь сор с тротуаров и мостовых, вытянул деревья в сторону своего полета, уложил травы газонов, наделив их тревожным вороненым блеском, сорвал с цепей урны, опрокинул кадки с пальмами в летнем кафе под нашими окнами, покатил через широкую площадь какие-то бочки, повлек останки мертвых растений, куски содранной с крыш жести и в воздухе большую сероголубую птицу, в тщетном изнеможении работавшую против него крыльями. На площади не было ни души, затем в дальнем ее конце промелькнуло несколько пожарных машин.

Бесчинство тайфуна в твердокаменной сердцевине города обернулось бедствием на окраинах столицы и в малых селениях. Здесь сметало хрупкие домики из бамбука и бумаги, валило ограды, вырывало с корнями старые деревья и, будто палицей, крошило ими строения. Прорвало дамбу, и океан хлынул в места человеческого обитания, целые кварталы были разрушены, целые селения затоплены, погребены под песчаными завалами, на шоссе опрокидывались автобусы и грузовики...

С утра городской транспорт не работал, и наша переводчица Мидори, жившая далеко от центра, смогла лишь среди дня добраться до нас частью на метро, частью пешком под жестоким, саднящим, но уже безопасным ветром — последышем улетевшего вдаль тайфуна.

Я твердо знаю, что в оставшуюся мне жизнь не забуду Мидори, ее тонкой, спортивно крепкой фигуры, жестких прямых черных волос и черных широких бровей арками над темными узкими глазами, менявшими цвет от медового до угольной черноты, ее большого рта с улыбкой всегдашнего доброжелательства ко всему миру и нежно умягчающим русские слова



произношением, ее легкую, естественную, как дыхание, доброту, ясно и точно схватывающий суть явлений разум.

— Ой! — сказала она, появляясь в нашем номере. — Извините, пожалуйста, что я опоздала, совсем не на чем было приехать, такой страшный тайфун! — И добавила из желания порадоваться самой и порадовать нас: — А двадцать седьмой тайфун свернул в сторону, в океан, он не придет в Токио, и, может быть, сегодня мы увидим Фудзи.

Но Фудзи мы так и не увидели, проведя остаток дня на финале чемпионата страны по древней борьбе сумо, где десятипудовые, раскормленные, как каплуны, голозадые великаны в черных поясах с кошельками, хранящими низ живота, после бесконечно долгих церемоний и взаимных приветствий в молниеносной схватке пытались вытолкнуть друг друга за край крошечной арены под яростные вопли болельщиков. И, влюбившись в юного гиганта, иокодзуна Тайхо с добродушным, курносым рязанским лицом, которому так не шла традиционная, торчком вверх, косичка — магэ (мать борца — русская женщина), я не хуже самого заядлого сумо-фана орал: «Шайбу!», когда он в повторном поединке против могучего иокодзуна Касивадо отстоял свое звание чемпиона. И я совсем не помнил о Фудзи...

Но нам не давали о ней забыть. О Фудзи напоминали гравюры Хокусаи; величайший японский художник прошлого века сделал тридцать шесть цветных видов Фудзи, но не исчерпал своей очарованности синим вулканом и сотворил еще сто монохромных гравюр. И тут он не нашел утolenия и продолжал вводить мотив Фудзи в другие свои пейзажи.

Даже в приключенческом фильме знаменитого Куросава «Рай и ад», на который нас водили, Фудзи играла решающую роль в раскрытии преступления. Похищенный злодеями мальчик нарисовал бесхитростный пейзаж, открывавшийся ему из места заточения. На рисунке были крыши домов, просинь воды и перечеркнутая узкими облаками Фудзи. Умный следователь, доверяя строгому реализму детского

художественного творчества, по ракурсу, в котором изображена Фудзи, точно рассчитал, где находился маленький художник, и открыл логово преступников.

И Мидори и Такада-сан не скупилась на утешения, что позже, во время поездки по стране, мы непременно увидим Фудзи. Мой руководитель, развернувший напряженную деятельность — три японца не могли сойтись вместе, чтоб он тут же не организовал форума или хотя бы симпозиума, — несмотря на всю свою загруженность, заметил озабоченную печаль хозяев. Он просил их не горевать: мы можем наблюдать Фудзи каждый день в его служебном кабинете в Москве, где на стене висит прекрасное изображение горы, гравированное на меди, — дар японских кинематографистов советским коллегам.

Вскоре мы выехали в Киото. Официальной целью поездки была встреча с тамошним очень крупным сценаристом, пишущим о седой старине, а также ознакомление с древней столицей Японии, где снимаются исторические фильмы, но я догадывался о добром заговоре хозяев, затеявших эту поездку, чтобы мы увидели Фудзи. Там, где железная дорога круто сворачивает от залива Сагани, нам откроется Фудзи.

Мы сели в удивительный, напоминающий ракету поезд с мягкими, подвижными самолетными сиденьями, с отличным буфетом и эйркондишен, и он понес нас по высокой насыпи, дающей такой крутой уклон на поворотах, что и движение наше уподобилось самолетному, когда по одну сторону земля становится на дыбы, а по другую разверзается пустота. Отмахивая по двести километров в час, мы не успели еще приспособиться к этому необычному движению, напоминающему земной полет — бобслей, когда Мидори, пряча в милой улыбке неуверенность, сказала: «Подойдите к тем окнам, сейчас появится Фудзи». Но за окнами были лишь какие-то строения, куцы дали, ограниченные туманом, ставники для разведения рыбы, будто шоколадные «серебряные» бумажки, наклеенные на зеленую плоскость равнины. Надо всем этим простиралось голубоватое, нечистое небо, на-

поенное испарениями, и в нем без очертаний, выделяясь лишь пухлым белым подбоем, застыли облака. Они-то и скрыли Фудзи. Мы долго не отходили от окон, пытаясь в каких-нибудь небесных тенях, в облачных расщельях, в молочном мерцании белесо размытого солнца проглянуть Фудзи, а потом Мидори сказала печально:

— Пойдемте в буфет.

— Что это вдруг?

— Скучно, — сказала она, по обыкновению смягчая слово, так что оно прозвучало: «скушьно».

Мы пошли в буфет и пили там крепкое, тринадцатиградусное японское пиво, заливая его ледяной горечью боль несвидания с Фудзи...

А на обратном пути Фудзи вновь обманула нас, скрывшись за стеной дождя.

И в последующие дни, то налитые солнцем, то пасмурные, то чередующие осеннюю хмурость с золотыми просветами, Фудзи всякий раз находила, чем прикрыться от нашего взгляда. Дело принимало серьезный оборот. Мы уже многое успели, многое видели, обсудили, завязали дружеские связи с японскими сценаристами, режиссерами, критиками, продюсерами, хранящими в припухлости узких глаз терпеливую печаль: в последние годы кинопроизводство в Японии неуклонно и грозно сокращается. Эти люди были благодарны нам за интерес к их работе, поискам, планам, за приглашение в Москву на дискуссию и международный кинофестиваль. Но Такадасан не давал усыпить себя видимостью успеха: ведь Фудзи мы до сих пор не видели. Он решил лично отвезти нас в Хаконе, лучшее в Японии место для любования Фудзи.

И вновь поезд-ракета помчал нас в простор страны. От станции до отеля, расположенного на взгорье, мы добирались автобусом. Густейший туман, только и ждавший нашего появления, чтобы войти в силу, принялся стремительно пожирать окрестность: сперва он поглотил далекие синеющие горы, затем поросшие лесом холмы за шоссе, по которому мы только что ехали, озеро Асиноко, просверкивающее

сумеречно вечеряющий воздух, вскоре туман подступил вплотную к балюстраде, окружающей асфальтированную площадь перед отелем, наделил прозрачностью деревья с распланными кронами. Все же мы отважились на маленькую прогулку в надежде, что туман рассеется так же вдруг, как и скопился, и в вечернем небе, полном тихих звезд, засверкает снежная вершина Фудзи.

Мы шли прямо в туман, оседавший скользкой влагой на плащах, холодивший дыхание; из густой, ватной мути выплывали навстречу нам рыбы глаза автобусов; вспарывающий треск мотоциклов с невключенными фарами оборачивался мгновенным промельком узкого, как лезвие, темного тела. Потонувший в тумане мир был перечеркнут туго натянутой проволокой. Эти тяжи обнаруживали себя в последний миг: то на уровне колен, то груди, то глаз. Они страховали от ветра телеграфные столбы, деревья, кусты. Все растущее из земли имело наклон в сторону озера, туда же будто незримой рукой за листья, как за волосы, были оттянуты кроны деревьев. Видать, тут частенько задувают сильные ветры. Без проволоки обходились лишь чахлые осенние цветы — Мидори собрала бедный букетик — да шлептуховые грибы, вся остальная природа, словно подкупольный акробат, была обеспечена лонжей.

Мы не ушли далеко, туман начал заглатывать отель, и пришлось повернуть назад.

Такада-сан сказал, что разбудит нас на рассвете, как только покажется Фудзи. Он не пришел, и цвело зрелое утро, и в столовой ждал завтрак, когда мы, до дна исчерпав сон, спустились вниз. Туман таял за окнами, возвращая все украденное вчера, сейчас он освобождал холмы, затем покинет далекие синие горы, очистит горизонт, и мы наконец-то узреем Фудзи. Возле балюстрады прохаживалась знакомая индийская семья: закутанный в шотландский плед глава семьи сжимал в руке старинную подзорную трубу, у матери и дочери было по перламутровому театральному биноклю.

Из ресторана в вестибюль отеля и обратно сно-

вал взволнованный не улыбочивый Такада-сан. Он то и дело вступал в переговоры с зафрахтованным метрдотелем, казалось, он просит приготовить Фудзи каким-то особым способом. Заметив нас, он трепетно улыбнулся и помахал смуглой рукой. Сошла вниз Мидори, она приделалась, ей очень шло тугое, в обтяжку, черное платье и темные ажурные чулки, на груди у нее лежала коралловая нить. Она нарядилась для встречи с Фудзи.

Но, увы, встреча эта не заладилась с самого начала. Когда, покончив с завтраком, мы вышли из отеля, к балюстраде уже было не пробиться, вся площадь оказалась запруженной невесть откуда взявшимися рослыми пожилыми дамами.

Богатые англичанки и американки в старости становятся лошадьми, такими же большими, грубыми, крепкими в хребте, крестце и конечностях, с такой же тяжелой, медленно и надежно жующей челюстью, уснащенной большими желтыми зубами, с такими же толстыми жилами в холловых частях тела, и в этом лошадином образе слоняются по всему свету, занимая лучшие номера в отелях, лучшие столики в ресторанах, лучшие места в поездах и самолетах, заслоняя собой красивые виды, здания, древние руины и заглушая сиплым ржанием музыку сфер. Вот и здесь, между нами и готовящимся явлением Фудзи возник такой табун, но не было лошадиного обаяния, кротости покорного взора и милого лошадиного запаха. Глаза пучились за толстыми стеклами, ярко накрашенные губы источали назойливый шум, а телá — скипидарный запах из смеси старости с крепкими духами, и я даже радовался, что Фудзи упорно не появлялась.

Какое-то смещение воздушных масс порой вызвало робкую надежду, и все дружно прикикали к биноклям, а индус — к подзорной трубе, но характерные очертания усеченного конуса так и не возникали ввыси. Но вот сдвинулась тяжелая сизая туча, нависшая над горизонтом, и повлеклась по небу сверху вниз и чуть наискось, будто соскальзывая со склона высоченной горы.

— Я вижу Фудзи! — заявил мой руководитель.

Тут и я увидел могучую, крутую падь, сизо-лиловую, грозную, совсем такую, как ожидалось. Такада-сан забормотал что-то расстроено-сердито.

— Что он говорит?

— Он говорит, это не Фудзи, а просто — как это? — паришивая грозовая тучка, — пояснила Мидори.

— Но до чего ж похоже на склон горы! — вскричал я, уже начавший различать — сила внушения! — кратер с белым венчиком снега.

— Да, очень похоже, — покорная улыбка легла на большой рот Мидори. — Но все-таки паришивая тучка.

Все новые и новые тучи отслаивались вдали от сизо-лилового громазда, накрывшего даль, небо раздевало себя, как луковицу, но чувствовалось, сегодня нам не достанется чудо, хранящееся за всеми одежками.

— Идемте, — сказала Мидори. — Такада-сан зовет на озеро.

У меня мелькнула диковатая мысль, что мы будем пытаться водой достичь Фудзи. Нет, мы шли туда, чтобы, глянув на красивое, изумрудное озеро, отправиться домой, но уже иным путем: по канатной дороге над вулканом Овакудани, без усталости плюющемся канареечно-желтой серой и горячим паром из многих дыр, затем на маленьком — в два вагончика — поезде и, наконец, на экспрессе. Такада-сан выбрал этот сложный и долгий путь, потому что до конечной станции подвесной дороги мы сохраняли шанс увидеть Фудзи. И тут мой руководитель сказал, что он-то уже видел Фудзи. Мы были потрясены, я меньше других. Он пояснил свою мысль: коль скоро увиденный им край тучи являет собой точный образ горного склона, он вправе считать, что видел Фудзи, тем более что успел в воображении дорисовать величественный лик священной горы Японии.

Но Такада-сан остался глух к этой софистике и, горестно ударив себя худой смуглой рукой в грудь, сказал что-то детским от обиды голосом.

— Такада-сан говорит, что он отчаянный человек, — перевела Мидори.

— Что он задумал? — спросили мы с беспокойством.

— Ничего... Он просто — как это? — весь в отчаянии.

Надо сказать, кабина подвесной дороги как нельзя более располагает к отчаянию. Нить жизни кажется тонкой и непрочной, как и канат, по которому скользят ролики кабины. Ты не на земле — вон как далеко она под тобой с травой и кустами, с двумя обнюхивающими друг дружку дворнягами ростом с мышей, с ярко-желтым серным карьером и опрокинутой вверх колесами вагонеткой величиной с детскую игрушку; но ты и не в небе — оно над тобой с облаками и тучами, а ведь небо тоже твердь, то есть опора, а ты нигде, ни в чем, между небом и землей, в средоточии ненадежности.

А Фудзи так и не показалась...

В канун нашего отъезда я всерьез задумался над странным упорством священной горы — быть может, дело не в ней, а в нас?..

В возрасте Христа, охваченный суеверным предчувствием скорой кончины, я устремился в Кисловодск спасти разрушенное здоровье. С неделю, если не больше, я изнурял себя нарзанными ваннами, веерным душем, походами на «Красное солнышко» и «Храм воздуха», фанатично соблюдал режим, не пил и не курил. Вкус к жизни оставил меня. Я не участвовал в пикниках и экскурсиях и с поникшим взором равнодушно слушал похвальбу тех, кому довелось увидеть Эльбрус. Но однажды, прискучив этим ватыным, парниковым существованием, я выпил холодного пива на «Красном солнышке», навернул карский шашлык в «Храме воздуха» с отличным кахетинским вином, а вечером, забрав сестру-хозяйку и добрый запас коньяка, закатился в горы. Когда под утро, усталый, невыспавшийся, с тяжелой от похмелья и курева головой, я тащился в санаторий, в синеве во всем своем царственном величии встал снежный,

блистающий шатер Эльбруса, словно приветствуя мое возвращение к себе.

А что, если и сейчас я в чем-то изменил себе, покривил душой? Нет, я доверчиво открывался всему виденному, был искренен и добр с окружающими. Быть может, мне следовало меньше заседать и больше бесчинствовать? Но пусть судьба накажет меня одного. За что же карать Руководителя? Ведь он-то, несомненно, был равен и верен себе, он «ни единой долькой не отступился от лица»! Впрочем, как-никак он был награжден уверенностью, что видел Фудзи...

И настал день нашего отъезда. Последняя бутылка пива, выпитая в баре вестибюля под лошадиный топот и ржанье могучих среброкудрых матрон — воспитательниц герлскаутов, съехавшихся в Токио на всемирный конгресс, последний взгляд окрест за дверями отеля, чтобы навсегда запечатлеть в душе красивую просторную площадь и телевизионную вышку — копию Эйфелевой башни, последнее мелькание улиц в сером дождичке, последние прощальные слова, последняя печаль последних улыбок, и мы улетаем...

Япония исчезла очень скоро, дождевые тучи задернули страну, когда мы находились еще на малой высоте. В самолете было так сумеречно, что зажгли электрический свет. А через некоторое время в иллюминаторы хлынуло солнце, мы вырвались в беспредельную чистую синь. Из туч, чья изнанка казалась, как и обычно, застывшей лавой, светло и сказочно вздымался столько раз виденный на картинах, гравюрах, рисунках, фотографиях и ни разу в яви снежный конус горы. Он был так ясен, так чист и светел, как это бывает только в мечтах и снах. Неправдоподобно близкий и убедительный, как мираж, высидся он под боком у самолета. На что же похожа вершина Фудзи? На слившийся в серебристое кольцо хоровод ангелов? На хрустальное обиталище ушедших невинных душ? На себя самое?..

Фудзи явилась, Фудзи слала нам прощальный привет, Фудзи свидетельствовала, что все было хорошо и мы были хороши...



Несколько часов мы летели в пустой синеве, населенной лишь бездушным и тоже каким-то пустым блистанием солнца, а под нами расстилалась буграстая корка, белесая с прожелтью и просинью, похожая на застывшую лаву. Затем мы рухнули в эту корку, оказавшуюся податливой, как взбитые сливки, и долго купались в непроглядном сливочном мессе, пока не открылись темноватые окна. Не хватало взгляда, чтобы проглянуть разверзшиеся в них глубины. В бесконечной дали что-то синело, то ли еще одно — нижнее — небо, то ли земля, чье зеленое убранство высинилось расстоянием. Синева гофрировалась, на ней появились частые светлые полосы, и у каждой полосы белые усики. По мере того как рассеивались облака, все больше синего гофрированного пространства разворачивалось под нами, а на нем все больше светлых полосок с усиками. Внезапно мой иллюминатор задернуло молочным пологом, а по ту сторону прохода в иллюминатор хлынуло слепящим золотом солнце, уши туго заложило пробками — самолет лег на крыло, начиная снижение. Зажав нос пальцами, я с силой выдохнул воздух и очистил уши. Вновь надсадно, с отзвоном, заревели моторы «бойнга», а за иллюминатором в прозрачно-расчистившемся воздухе, в котором истаяла последняя тощая дымка облаков, лежало море в застылых морщинах, а на нем неподвижные, как на фотографии, корабли.

Новое снижение самолета наделило движением замерший мир под нами: внакат пошли волны, вскипая под носом кораблей, укрощенно обтекая борта, вспениваясь за кормой.

А затем открылся берег, высокий, обрывистый, изрезанный клиньями заливов. Море трудолюбиво плело толстый белый шнур и обтягивало им береговой излом. Эта большая холмистая земля, уходящая в голубой туман, была Китаем, море, омывавшее ее, Южно-Китайским морем, а вскоре мы увидели и

остров Гонконг, где нам предстояла посадка.

Теперь мы шли так низко, что по воде скользила наша тень, напоминая осеннюю прилипчивую муху. Тень промелькивала над лиловатой протемью водорослей, над желтизной отмелей, в ней дрожала рябь, и казалось, что она шевелит крылышками. Вскоре мы увидели город во впадине между голыми холмами и начали стремительно приближать к себе белые стены и темные крыши и вдруг, наклонившись левым крылом к морю, будто щелчком отбросили его прочь. А через несколько минут он снова возник на краю всхолмья, и мне подумалось, что это другой город, но нет — та же Виктория, на которую мы, пренебрегая географической точностью, нередко распространяем название Гонконг, принадлежащее острову, равно и всему английскому владению под боком у Кантона. Мы снова пустились наутек от столицы Гонконга, и нас занесло далеко в море, так что берег стал едва различим, тут мы одумались и повернули вспять. Но теперь город принялся дразнить нас. Вот он возник скоплением белых зданий на остром мысу и сразу исчез за сероватыми горбами, приоткрылся совсем с другой стороны острова и сгинул, как не бывал, а затем раскрылся весь, большой, плотно обставший бухту, растекшийся по расщелинам и западкам, пустивший щупальца кварталов по склонам окрестных взгорий, и вдруг шмыгнул под крыло самолета. Как и всегда, с большой высоты город был похож на пустые соты, ждущие заполнения. Чрезмерно геометричный, словно расчерченный по линейке, он казался ненастоящим, ненаселенным — огромный макет из папье-маше. Мы развернулись и вновь пошли над крышами Виктории, но куда ниже, и пропало сходство с макетом, город ожил, наполнился молекулярным движением уличных толп, машин, автобусов.

Мы шли на посадку со стороны пролива, отделяющего город от материка, но никаких признаков аэродрома не было заметно. А затем обнаружилась узенькая бетонная дорожка, вдающаяся в море. Ка-

залось чудом угодить на эту дорожку нам, таким большим, приютившим под крыльями чуть не весь Гонконг. Но самолет дерзко устремился к серой ниточке и, умалившись, вписался в ее ужину, ладно приземлился и, подрагивая на стыках бетонных плит, подрулил к стеклянному красивому зданию воздушного вокзала.

Взлетно-посадочная дорожка аэродрома находилась в море, а сам аэропорт — посреди города. Отсюда виднелась бухточка и лодочная пристань, сотни мелких суденышек, весельных и парусных, грудились у причала; на берегу сутулились низенькие домишки, а дальше поблескивали жестью бидонвилли, заполняя собой балку у подножия лысого холма. Бидонвилли слали жесткий консервный блеск с разных сторон, за чертой города голытьба воздвигала свой жестяной, лоскутный уют.

А сама столица хоть куда! Ее обличье создают многоэтажные дома современного лаконичного стиля, прямые улицы, нарядные витрины. Город в центральной части обделен зеленью, его окружают сухие, выжженные холмы, но он черпает живописность в своем расположении меж серых взгорий и отовсюду синеем, сверкающим морем, в строгости рисунка, в деловой напряженности уличного ритма. Это на редкость целеустремленный город, тут всё движется на повышенных скоростях: пешеходы, автомобили, общественный транспорт. Тут каждый прохожий имеет цель, не видать фланеров, беспечных зевак, мечтателей, хмельных шатунов. Все в деле, все в борьбе с быстротекущим. Двухэтажные битком набитые автобусы мчатся, словно на гонках, с поразительной юркостью лавируя среди бесчисленных легковых машин, «пикапов», тупоносых грузовиков, мотороллеров, велосипедов. Таксисты совершают чудеса ловкости, проникая в игольное ушко. Улицу вскачь пересекла темнокожая нянька с детской коляской, похоже, она опаздывала на деловое свидание...

Как это непохоже на зловещий образ города, который я носил в себе! Я стал припоминать все плохое, что слышал или читал о Гонконге. Хорошее об

этой стране мне довелось слышать лишь в далекие дни детства, когда на весь мир раскатилось эхо яростной гонконгской забастовки. С тех пор Гонконг напоминал о себе лишь чем-то темным, дурным. Во время второй мировой войны Гонконг почти без сопротивления был сдан англичанами японцам, а после крушения японской военной машины столь же героично вернулся к прежним хозяевам.

В Гонконге базируется крупнейший в мире разбойный флот таинственной, гибельно-опасной пиратши, которая урезает своим сообщникам языки, заподозрив их в предательстве, и головы, когда предательство состоялось. Откупившись от преследования долларами, капитан Флинт в юбке отправляется в Монте-Карло поражать ко всему привычных крупье баснословными проигрышами, а пиратский флот, не осеняя себя черным флагом с костями, на всех парах вновь выходит в море на лихой промысел.

Здесь представители страны, творящей руками невежественных школяров «культурную революцию» — беспримерное надругательство над великой древней культурой семисотмиллионного народа, — ведут грандиозную торговлю опиумом с подонками всего света, но преимущественно Соединенных Штатов Америки. Ежедневно тут совершаются миллионные сделки на отравление человеческого организма, разрушение человеческой личности, но, быть может, помимо нечистой наживы, этим преследуется высокоидеологическая цель: подрыв здоровья и силы бумажного тигра?..

Здесь процветают опиумные курильни, заведения, где к услугам наркоманов кокаин, морфий, героин, гашиш и те синтезированные дурманящие и медленно убивающие вещества, которые ласково называют «пилюльками».

Здесь не счесть публичных домов, здесь распространена мужская и детская проституция, идет бойкая торговля живым товаром. Гонконг — земной рай авантюристов, джентльменов удачи, фальшивомонетчиков, сутенеров, скупщиков краденого, грязных дельцов, спекулянтов, наемных убийц, преступников всех мастей и рангов. Но дневной, сурово-

оживленный, на редкость порядочный облик города не дает прочесть тайнописи скрытой жизни, гибельных излишеств и преступлений. Спокойно врезались в бледно-дымчатое небо четкие контуры высоких зданий, мирно белели на синей глади паруса рыбаков, дремали на рейде большие корабли, и я чувствовал себя обманутым. В нынешнюю зрелую, неромантическую пору человечества массовое преступление, еже часно творящееся в этом городе-вертепе, носит корректную, чуждую какой-либо живописности маску английского клерка.

Тут мне захотелось пить, и я вспомнил, что компания БОАК в неизъяснимой щедрости своей должна угостить нас прохладительным питьем, пока чинят забарахливший мотор «бойнга». Я прошел в здание аэровокзала и сразу забыл о жажде.

Светлое стеклянное помещение было насыщено таинственными лунными существами. У них были такие долгие стройные тела на длинных, как ходули, но безукоризненно женственных ногах, что прямо оторопь брала. Казалось, их вырастили в специальных оранжереях под наблюдением ученых, отмерявших им солнце и влагу, и все вещества, из которых произрастает человеческое тело. И художники находились возле их созревания, творя им безукоризненную форму. Девушки носили сильно приталенные сюртучки и прямые короткие юбки синего или темно-алого цвета, узенькие пилотки чудом держались на черных гладких волосах, над самым ухом. Глаза их были подведены темной тушью, а смуглые лица и вишневые, в лиловость, губы — в своем родном цвете.

Мой руководитель, отечески снисходительно отметивший нежную, слабую грацию маленькой служащей рангунского аэропорта, равнодушно прошедший мимо бледно-розовой, словно просвечивающий солнцем фарфор, прелести тайландских женщин, сухой, диковатой, горчащей красоты филиппинок, тончайшего очарования миниатюрных японок, сейчас глядел недоуменно, почти испуганно.

— Видали?.. А?.. Это уже чересчур!.. — сказал он разбитым голосом,

И правда чересчур... Надо было долго приглядываться к ним, чтобы обнаружить у иной легкую нечистоту кожи, у другой избыток белой кости зубов или чрезмерную голенастость. Но это не портило девушек, лишь придавало им очаровательную эскизность. Служба воздуха была представлена куда щедрее, чем требовалось для скромного местного аэропорта. Изредка то одна, то другая девушка подходила к микрофону, помещенному в стене за стеклянной крышкой, и нежно-хриповатым, томным голосом объявляла о прибытии, отбытии или задержке самолета, и это звучало как признание в любви. Когда же девушка произносила: «Мистер такой-то, вас просят пройти туда-то», — становилось горячо и неловко, будто подслушал чужой секрет: столь намекающе-интимно звучала джазовая хрипотца низкого, шепчущего голоса. Но настоящая жизнь этих сирен творилась в иных пределах. Они частенько удалялись в телефонные будки и, прикрыв устье трубки узкой ладонью, что-то шептали туда, улыбаясь своими вишнево-лиловатыми губами, и сложная, терпкая жизнь угадывалась на другом конце провода. Порой в помещении аэровокзала возникали очень деловитые, чрезмерно элегантные молодые мужчины с проборами, как рассёк ножа, смуглыми бритыми щеками и тонкими усиками; они вступали в короткие переговоры с девушками, затем, отразившись своей элегантностью в зеркалах и стеклянных дверях, быстро исчезали. И за всем этим ощущалась вторая, скрытая жизнь Гонконга.

Пока я пребывал в нежном трансе, навеянном лунными созданиями, в мире свершились перемены: пала быстрая южная ночь, и город зажег огни. Мне посчастливилось видеть электрическое половодье Елисейских полей; иллюминацию Стокгольма, исполненную игры и тонкого вкуса; щедрое, избыточное, чуть ребячливое световое пиршество Афин; таинственные огни Константинополя; странное, чуть двусмысленное, будто из-под земли, свечение Касабланки; пестрящую тысячами веселых разноцветных фонариков, мельком, круговертью неоновых реклам, отнюдь

не девственную ночь Токио, но ничего подобного ночному бесчинству Гонконга я не видел.

Неприметные в знойном мареве дня, неоновые трубки на крышах и стенах домов налились кроваво-красным и ядовито-зеленым. Но дело не в их обилии, не в том даже, что они рекламировали сомнительные удовольствия, порнографические фильмы и представления, что женские ноги, бедра, бюсты победно воцарились над городом, не в том, что грязными маками зажглись красные фонари позорных домов, что курильни, игорные заведения, не таясь, предлагали людям падение во всех видах, сколько в особой разнузданной контрастности огней, световых пятен, в срамности красного, гнилости зеленого, их нарочитой, вульгарной резкости, во всем массивованном наступлении на хрупкие человеческие устои. Даже бедняцкие припортовые кварталы испускали свои порочные огоньки, и в бидонвилях обнаружилась грешная жизнь, и дальше в междугорье и на лысых холмах заварился нечистый ночной праздник.

Тютчев первый из русских поэтов открыл, что ночь не задергивает, а раздергивает полог над миром. Так и в столице Гонконга: ночь распахнула истинное, свирепо-порочное лицо города.

## ТАИНСТВЕННЫЙ ДОМ

Многих жителей древней японской столицы волновало, кто унаследует господину Ито, тихо угасавшему от старости и недугов в своем красивом и пустынном холостяцком доме. Господин Ито был менялой и, подобно всем менялам, еще и ростовщиком, ссужавшим деньги под проценты, принимавшим в заклад драгоценные камни, изделия из золота и серебра. Господин Ито был богат, но не так богат, как иные его коллеги, и он был человеком справедливым и не слишком прижимал своих должников.

За несколько дней до кончины к умиравшему явились двое: старик и юноша. Они пробыли с господи-

ном Ито до последнего его вздоха, закрыли ему глаза, с подобающими почестями предали тело земле, затем старик уехал, а юноша остался. Это и был наследник. Акира Кавашима, так его звали, приходился внучатым племянником покойному меняле.

Видимо, этот сухощавый, молчаливый, с потупленным взором юноша, не достигший двадцати лет, хорошо усвоил немногие уроки, преподанные ему умирающим. На удивление всем, он повел дело твердой, умелой рукой, но так же совестливо, как его двоюродный дед.

Акира Кавашима не завоевал сердец сограждан, подобно умершему. То ли он был лишен благодного дара общения, то ли в необъяснимой гордости пренебрегал окружающими. Старик мог и пошутить с клиентом, мог добро и устало улыбнуться, спросить о здоровье и даже угостить чашкой сакэ после выгодно свершенной сделки. Его наследник не переступал пределов ледяной деловитости. Он сидел в своей конторе, прямой, будто меч проглотил, и тонкая кожа век туго обтягивала глазное яблоко, оставляя лишь внизу узкую щелочку. Но этот полуспящий взгляд был зорек, как у сокола. Его пальцы, такие длинные, что казалось, они наделены лишним суставом, сухие и сильные, бережно, ласкающе касались весов, на которых взвешивают золотой песок и слитки, пузырьков с ядами, необходимыми для определения достоинства драгоценных металлов, высоких стопок монет разных стран и тонкой кисточки, какой он подписывал деловые бумаги, беспощадные, как судьба. Если клиент начинал спорить, он замирал, словно Будда, налив тело недвижимостью, положив руки на колени и смежив веки, лишь чуть приметный трепет ресниц выдавал кипящее внутри него чувство. Если же клиент переступал границы вежливости, он медленно протягивал руку, брал золотой и сгибал его мгновенным и жутковатым движением пальцев: большого, среднего, указательного. Обычно спорщик тут же замолкал.

О нем ходили странные слухи. Как-то ночью несколько молодых самураев, выпивших слишком мно-



го сакэ, увидели на глухой улице возле монастыря его одинокую фигуру. Решив напугать чванного менялу, они с громкими криками кинулись на него, потрясая оружием. Акира Кавашима шагнул за угол монастырской стены и вмиг исчез. Запозднившийся монаше уверял солдат, будто только что видел, как по высокой белой гладкой стене прополз гигантский черный жук и скрылся по ту сторону.

Пугало людей и его умение подойти так незаметно, что казалось, он возник из воздуха. И ему дали прозвище Ниндзя, что значит «человек-невидимка».

По народному поверью, ниндзя владеют даром незримости, способностью проникать сквозь стены, взбираться по отвесным кручам, двигаться со скоростью, недоступной человеку, они умеют дышать под водой, плевком убить неприятеля, освободиться от любых оков; острейший слух позволяет им подслушивать тайные сговоры, а кошачье зрение — видеть в кромешной тьме.

Но как бы удивились жители столицы, если узнали, что юный меняла Акира Кавашима и в самом деле ниндзя!

Его отец, и дед, и прадед, и прапрадед были ниндзя. Их клан обитал в лесах Центрального Хонсю, и в каждой семье от отца к сыну передавалось окруженное строжайшей тайной, овеянное легендами древнее искусство ниндзяцу. Мальчика тренировали и школили с десятилетнего возраста. Его обучали терпению, ниндзя должен уметь часами сохранять неподвижность камня, сутками отсиживаться под водой, дыша сквозь бамбуковую трубочку или полые ножны меча; он должен уметь задерживать дыхание, как самый выносливый искатель жемчуга. Мудро и жестко тренировали его тело и все органы чувств, доводя их до того совершенства, каким они обладали, пока человек не развратился в излишествах и лени.

В семнадцать лет Акира Кавашима был хозяином своего тела, он мог вынуть из суставов фаланги пальцев, потом кисть, локоть, плечо. Рука становилась словно пояс халата, хоть узлом связывай. Разняв се-

бя таким образом, ему ничего не стоило высвободиться из кандалов и пут, пролезть в игольное ушко. Акира безукоризненно владел неслышной поступью ниндзя, когда, быстро и плавно переставляя ногу за ногу, скользишь словно по гладкому льду. Он научился бесшумно просовывать в чужие двери слуховую трубку из бамбука, снабженную раздвижным «лепестковым» раструбом. Научился карабкаться по отвесным стенам с помощью веревки, снабженной крюком. Научился двигаться в темноте, осязая окружающее длинным щупом и, обнаружив врага, поражать его «плевком дракона» — отравленной иголкой, которую он с силой выдувал из трубки щупа.

Он умел принять удар меча пятем, заключенным в особый браслет, и, защебив лезвие, одним движением обезоружить противника и тут же другой рукой, вооруженной кастетом «тигриная пасть», разорвать ему висок.

Он с гордостью и изяществом носил нелепую на взгляд непосвященного боевую одежду ниндзя: черный бесформенный балахон с капюшоном. Балахон этот, лишая человеческую фигуру привычных очертаний, делает ее неприметной.

Сейчас клан ниндзя находился в упадке. В пору кровавых феодальных распрей, борьбы за верховную власть клан, постоянно призываемый то одной, то другой враждующей стороной, процветал. Но с тех пор как род Токугава, обязанный ниндзя своим торжеством, твердой рукой взял власть в стране, для клана настали черные дни. Конечно, и сейчас невидимок использовали на войне в качестве лазутчиков, шпионов, разведчиков, обращались к ним и знатные лица с разными деликатными поручениями, но это не шло ни в какое сравнение с героическим прошлым. И все же клан свято берег свое искусство, уповая, что еще придет пора расцвета.

Когда умер богатый меняла, отказав свое имущество внучатому племяннику, клан приказал юноше продолжать прибыльное дело, чтобы по мере надобности оказывать родичам денежную помощь. Ему мучительно не хотелось менять лесное приволье на

скучную, сидячую городскую жизнь, но повиновение — столь же непреложный закон клана ниндзя, как и соблюдение тайны. Нарушителю смерть.

Акира тосковал в городе. Как прекрасно было просыпаться под шорох ветвей, вдыхать нежно-влажный от росных испарений лесной воздух и сладко чувствовать свое освеженное сном и уже тоскующее по жестким упражнениям тело! Как прекрасно было, умывшись ключевой водой и поев рису, вступать в день, наполненный истинно мужским трудом, нападения и защиты, бороться, драться на мечах, стрелять в цель, бегать, прыгать, карабкаться по кручам скал!..

В городе ему все было чуждо. Он не любил ни своего опрятного прохладного, но тесного, как клетка, дома, ни сада, с обязательными куртинами, декоративным кустарником, родником и неизбежной каменной вазой — строго вычисленный беспорядок, дающий горожанину мнимое причастие к девственной природе. Он не любил прикасаться к деньгам и старался не глядеть в жадные, заискивающие, несчастные лица своих клиентов. У него не было точек соприкосновения с согражданами, кроме деловых. Он не пил, не курил, презирал липкую, профессиональную нежность гейш, без судороги отвращения не мог думать о ласках продажных женщин. Он был равнодушен к искусствам и к богу, не посещал храма. Поэзия его жизни была в другом — защита, нападение.

Он жил так, будто его посадили под воду с тоненькой дыхательной трубкой, едва дающей воздух легким, и не на часы, дни или даже годы, а навсегда.

Но он должен был терпеть свою участь, ибо терпение входит в статут ниндзяцу. Он нужен клану здесь, и, сжав темные губы, затянув тонкими, как птичья пленка, веками шоколадные глаза, он терпел свой иску.

Ему следовало позаботиться о безопасности. Никакие приемы не помогут ему в малом пространстве дома, если на него нападут. А напасть могут: чтобы ограбить и чтобы просто оскорбить, насмеяться, ведь

его ненавидели, он чувствовал это тонким холодком по коже. И он решил превратить свой дом не в крепость — о нет, какой крепостью может быть жилище из дерева и бумаги! — а в гибельную ловушку для всякого, кто осмелится проникнуть сюда незваным. Он погрузился в расчеты и чертежи. Ниндзя Кавашима, живя замкнуто и одиноко, мало знал людей, поэтому он не мог знать и самого себя. Его не удивило, что в неправдоподобно короткий срок он стал отличным финансистом и повел дело своего родственника так, будто прошел специальную школу. Без малейших сомнений и колебаний поставил он себе сложнейшую строительную задачу, для которой требовалось серьезное образование, долгий опыт, воспитанный старшими талант. Он наивно полагал, что должен уметь делать все, что делают другие люди.

Не меняя ничего во внешнем рисунке дома — он хотел, чтобы его намерения остались в тайне, — Кавашима стал перестраивать его изнутри. Прежде всего он обеспечил себе бегство — и для спасения, и для замана. Он создал третий этаж под самой крышей и систему люков, дающую возможность без лестниц вмиг соскользнуть с верхнего этажа в подвальный. Здесь он вырыл погреб-тайник. Часть дома он снабдил двойными стенами, куда упрятал лестницы, в коридоре настелил вибрирующие, «поющие» полы, и это было единственным, что не принадлежало его собственной фантазии. Поющие коридоры существовали в домах многих феодалов, справедливо опасавшихся нападения. Он сделал фальшивые двери, за которыми зияли провалы, и настоящие двери, скрытые в стене. В пересечении коридоров он постелил циновки, под которыми ночью распахивались колодцы. На дне каждого колодца острием вверх торчал двулезый меч. Дверные притолоки рушились на голову непрошеному визитеру, раздвижные стены подымали трезвон, стоило к ним прикоснуться. Он работал один, без помощников. Два года по ночам перестраивал он свой дом, решая архитектурные и технические задачи, способные поставить в тупик крупнейших знатоков зодчества и механики. Но в своем

неведении усилием воли, разума, инстинкта, нечеловеческим упорством, терпением и сосредоточенностью ниндзя он сотворил архитектурное чудо, которому суждено было через века удивлять и восхищать посетителей. Подобное можно было сделать, лишь не догадываясь об ограниченности человеческих возможностей.

Заблуждался он лишь в одном, что люди ничего не знают о его работе. Бог вещь как, но все жители столицы проведали о доме-ловушке, и не было здесь вора, грабителя, любителя дерзких авантюр, который рискнул бы посягнуть на покой ниндзя.

Отстроив дом, Акира Кавашима женился. Он взял дочь писца, жившего по соседству. Она была ничуть не лучше, но и не хуже многих девушек квартала: свеженькая, ласково улыбающаяся, с крошечными руками. Акира выбрал ее, потому что она была из бедной семьи и ему не грозил отказ. В течение трех лет жена принесла ему трех дочерей, и Кавашима, мечтавший о сыне, затосковал еще сильнее. Сыну, мужчине, он мог бы передать свое втуне пропадавшее искусство, а что ему делать с дочерьми?

По ночам, гонимый тоской, он покидал жену и начинал бродить по дому. Он доставал из тайника черный балахон и набрасывал на себя. Прохладная шелковая ткань приятно касалась обнаженного тела. Он крался по коридору, и поющие доски молчали, так воздушен был его семенящий шаг. Мягким, кошачьим прыжком переносил он себя через отверстые люки, молниеносно угадывая их носком выдвинутой вперед ноги. Эти защитные действия рождали ощущение смутной тревоги, постепенно обретавшей четкий образ притаившихся поблизости врагов. Да, они были рядом, он слышал их сдавленное дыхание, угадывал сжавшиеся в комок тела, до дрожи отчетливо представлял, как потеют ладони, сжимающие рукояти мечей, и сам покрывался легкой испариной. И вдруг, повинуясь внутреннему толчку, кидался в бегство. Он носился по этажам, проскальзывал в люки, съезжал по гладким столбам, взбегал по тайным лестницам, вжимался в стены, распластывался на полу.

Игра увлекала его. Теперь, выходя на свои ночные странствия, он вооружался кинжалом, веревкой с крюком, кастетом «тигриная пасть». Он мог взлететь к потолку и повиснуть там летучей мышью, мог с разбегу перемахнуть через ширму, кинуться в колодезь навстречу двулезому мечу и в последний миг, зацепившись крюком, повиснуть на волосок от гибельного остря. Игра обретала риск, он ощущал резкие, сильные толчки крови в жилах и радовался этой подделке под опасность и жизнь.

Затем, спрятав балахон и боевое снаряжение в тайник, возвращался к жене. Она спала тихим сном, высоко держа маленькую, красиво причесанную голову на деревянной скамеечке. Он брал ее спящую, почти любя за безответность, покорность, за то, что она ни о чем не догадывается, даже об этой вот близости. Но она не спала, лишь притворялась спящей, угадывая, что ему это нужно. Она все знала о его ночных метаниях по дому в черной страшной одежде, об этих яростных вспышках, продолжавшихся дрожью в его узком, сильном, горячем теле, и понимала, что живет с дьяволом. И девочка-женщина с фарфоровым личиком, ласковыми губами и крошечными, слабыми ручонками чувствовала свою избранность. Часто ли на долю женщин выпадает любовь дьявола? Она сознавала безмерность своей греховности и, набожная по природе, перестала молиться и ходить в храм. Ей нет и не будет прощения. Но ни на какие дары небес не променяла бы она короткие жесткие ласки и поцелуи сухого горького рта.

Нельзя вечно пить из чаши самообмана. Акира Кавашима страстно мечтал о нападении, так хотелось проверить ему себя и свой дом. Он молил судьбу, чтобы враги его исполнились отваги, неодолимой алчности, самозабвенной дерзости. Ему нужно было чувство истинной опасности, как измученному жаждой глоток воды. И ему нужна была победа, настоящая, не воображаемая, когда, наметавшись призраком по дому, обманув воображаемых врагов, он, пустой и разгоряченный, медленно стягивал балахон. Хоть бы

капелька крови пролилась, капелька горячей, солоноватой, липкой живой крови!..

Его начинал раздражать тот неуловимый человек, которым был он сам. Ведь ниндзя — это не только защита, но и нападение. И порой во время своего бегства от несуществующих врагов он из беглеца превращался в преследователя. Он сам хотел догнать и поразить черный призрак. Ему казалось, что вот-вот он его настигнет, за тем углом, на той лестнице, в том коридоре. Все быстрее, неистовей становился гон, он выхватывал меч — никого, невидимка снова ускользнул. И он чувствовал унижение. Как тягостно человеку быть и оленем и охотником в одном лице! Он почти ненавидел себя...

Ни с чем не сравнимая тревога охватывала его в дни полнолуния. Огромное оранжевое светило, не дожидаясь угасания зари вечерней, всплывало над холмистым горизонтом, кидая на землю струистый, таинственно-тусклый свет, и на улицах появлялась процессия празднично разодетых, сонных, немного испуганных детей, ведомых священниками в пышном облачении. В центре шествия валко двигалась колесница, запряженная жемчужно-палевыми коровами с маленькими тупыми мордами. В ребра ему вступало сладкое, щемящее возбуждение. Увлекая за собой весь город, процессия проходила мимо его дома, держа путь к городскому озерцу, где детей поджидали украшенные разноцветными фонариками корабли. Луна оставалась единственным властелином города. Она быстро, зримо глазу, подымалась ввысь, стеклянно зеленея и наполняя сад своим острым, холодноватым светом. Тени резко очерчивались, наливались черной тушью и обретали странную подвижность. Каждый порыв ветра вызывал в саду лихорадочное мелькание теней, отзывавшееся в доме прострелами лунных бликов. И это доводило его трепет, его мучительную и сладкую тревогу до исступления. Ведь каждая тень — он-то знал это — могла укрывать врага, могла стать врагом, прикинувшись тенью.

В одну из таких ночей напряжение жизни и неутоленности стали невыносимы. Он вдруг понял, что

ему некого бояться, кроме самого себя, и повел игру в открытую. Раздвинув сёдзи, он впустил луну во все этажи своего дома. И с луной вошла его тень и легла на белую плоскость стены. Он двинулся вперед, тень скользнула ему за спину. Он приник к стене, тень исчезла, он кинулся вперед, тень ринулась обочь по светлой ширме. И тогда он бросился в погоню за своей тенью. Никогда еще шаг его не был столь воздушен, стремителен, упруг, никогда еще не швырял он себя с такой легкостью вверх и вниз, никогда еще не владел так полно своим совершенным телом. То, что прежде томило его мучительной раздвоенностью, сейчас обернулось счастливым двуединством: щит и меч, олень и охотник...

Вверх и вниз, вверх и вниз, бесшумно по певучему коридору, взлет по стене, соскольз в нижний этаж, промельк в узкую щель, прыжок в люк к последнему пределу. Падая в провал ловушки, оц отшвырнул прочь веревку с крюком. Без нее отсюда не выбраться, крика никто не услышит, а домашние ведать не ведают о существовании тайника. И он рассмехался, торжествуя победу над собой. Затем выхватил короткий меч, круговым движением вспорол себе живот и услышал, как шмякнули на пол внутренности. Он не понял, что падает, он лишь увидел, что тень исчезла со стены...

...Мы ходим по дому, сохранившемуся в неприкосновенности с той давней поры, когда его строитель проносился черным привидением по комнатам, коридорам, лестницам, тайникам. Все так же яростно лакают на лестничных ступеньках и перилах, на рамах раздвижных стен, так же туги и чисты сёдзи, свежи бумажные ширмы. Коридоры все так же подают негромкий сигнал тревоги, едва к ним прикоснется нога, неожиданно разверзаются пропасти, возникают скрытые за перегородками лестницы, распахиваются этажи, которых нипочем не угадаешь снаружи. Нас ведет миловидная девушка в синей юбке и белой кофточке. Скромно-радостная улыбка ненароком расцветает на ее красивых, нежно припухлых губах. Это служащая бюро путешествий, гид и хозяйка таинст-



венного дома, которым она владеет сообща со своим дядей. Оба они потомки ниндзя Акира Кавашима. Дядя ее — священнослужитель, тихий, кроткий человек, он любит уединение, молитву и старается не встречаться с посетителями дома-музея.

Но мы все-таки смутно заметили этого застенчивого человека, когда на выходе замешкались с переобуванием. Темным облачком, неясной тенью промелькнул он из молчавшего на этот раз коридора в молельню, вдруг возникшую в стене золотым телом Будды, дрожащим пламенем светильников, чадом курений и сразу сгнувшуюся.

Что это — смиренная манера служителя церкви; желающего умалиться до незримости, или что-то наследственное?..

*Киото—Токио*

## СОДЕРЖАНИЕ

Вместо предисловия. Ю. Нагибин	5
<b>НЕ ДАЙ ЕМУ ПОГИБНУТЬ</b>	■
Не дай ему погибнуть. Киноповесть	9
<b>ПО СЛЕДАМ ОДНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ</b>	■
Бессрочная вахта	101
У майора Эйнара Кристеля	109
В стране Амундсена	121
Архив Самойловича. Глаза Шелагина	139
<b>МОМЕНТАЛЬНЫЕ ФОТОГРАФИИ</b>	■
Мадемуазель	149
Художник	154
Среди хищников	156
Чайки умирают в гавани	161
И всюду страсти роковые ..	166
Александр I	177
Несчастный случай	183
Историческая тумба	191
Зачем мне такая жена?.	196
Дети не должны знать	205
Улыбка Джоконды	211
Луковый суп	227
Неостывший пепел	236
<b>ВИДЕНИЯ АЗИИ</b>	■
Рангун	247
Фудзи	258
Гонконг	270
Таинственный дом	276

*Нагибий Юрий Маркович*

**НЕ ДАИ ЕМУ ПОГИБНУТЬ.** М., «Молодая гвардия», 1968.  
288 с.

P2

Редактор *Н. Гнездилова*  
Художник *В. Носков*  
Худож. редактор *Н. Печникова*  
Техн. редактор *В. Савельева*

Сдано в набор 22/IX 1967 г. Подписано к печати 7/II 1968 г. А04129. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага типографская № 2. Печ. л. 9 (усл. 15,12) + 1 вкл. Уч.-изд. л. 14. Тираж 100 000 экз. Цена 59 коп., с суперобложкой 62 коп. Т. П. 1967 г., № 302. Заказ 2056.

Типография издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», Москва, А-30, Сушеvская, 21.

